

Серия
«Первая
монография»

Е.Ю. ЗУБКОВА

**ОБЩЕСТВО
И РЕФОРМЫ
1945 - 1964**

Об авторе



После нашумевших статей о Маленкове и Хрущеве, очерков, посвященных оттепели (в книгах "История Отечества" и "Наше Отечество"), монографию Елены Юрьевны Зубковой ждали. Ждали с нетерпением единомышленники, ждали и оппоненты. Трудно было предположить, что готовая рукопись, получившая безусловное одобрение, пролежит в разных издательствах два года. И уже на подходе вторая книга – "Послевоенное общество: Россия и Германия", а первая с обидным опозданием все-таки начинает свою научную жизнь. Уверен, что долгую.

Е. Ю. Зубкова закончила Московский историко-архивный институт (ныне – Российский государственный гуманитарный университет). В 1986 г. в Институте истории СССР АН защитила кандидатскую диссертацию о проблемах социального развития города и села в 60–70-е годы (научный руководитель – профессор С. Л. Сеньявский). Казалось, впереди запрограммированная научная карьера. Как у всех...

Но времена меняются. Все вокруг нас пришло в движение и все мы в него втягивались. Я, например, до сих пор вспоминаю совместную с Еленой Юрьевной работу в "команде В. А. Козлова" (ее результатом стала книга "Исторический опыт и перестройка"). Кто-то добавит к этому творческий взлет Совета молодых ученых, когда его возглавила Е. Ю. Зубкова, или ее сценарии для капустников, собиравшие, как в памятные 60-е, полный зал академического института. Ее публикации встречают с откровенным интересом и часто со столь же откровенным непониманием, даже протестом. То, о чем пишет Зубкова – для многих непривычная история, история жизни ушедших и ныне живущих поколений наших соотечественников. И поэтому касается она в общем всех и каждого. Это направление исторических исследований (социальная история) еще только начинает свое развитие в России. Не так давно в Институте истории была создана группа по изучению менталитета российского общества, в которой сейчас и работает Е. Ю. Зубкова.

Г. А. Бордюгов

Серия
"Первая
монография"
под редакцией
Г. А. БОРДЮГОВА

Ассоциация
исследователей
российского
общества
XX века

Е.Ю.ЗУБКОВА

ОБЩЕСТВО И РЕФОРМЫ 1945—1964

Послесловие
академика П.В.ВОЛОБУЕВА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«РОССИЯ МОЛОДАЯ»
1993

Спонсор издания —
Jesus College University of Cambridge

Председатель Совета учредителей серии —
“Первая монография” А. И. Ушаков

Автор передает свой гонорар в фонд развития серии “Первая монография”

Зубкова Е. Ю.

3 91

Общество и реформы 1945—1964. (Серия “Первая монография” под редакцией Г. А. Бордюгова).— М.: ИЦ “Россия молодая”, 1993 — 200 с

ISBN 5—86646—043—2

Эта книга о том, чего уже нет, - советском обществе, - и одновременно об одном из самых интересных и драматич.ых этапов его истории — послевоенном. В отличие от работ, концентрирующихся на рассмотрении послевоенной советской истории как изолированных политических действий “верхов”, в данном исследовании предлагается анализ сложного комплекса взаимодействия различных слоев общества и власти. В книге прослеживается динамика общественных настроений и сознания применительно к вопросам прошлого и будущего страны, официальной и неформальной системам ценностей, отношения к власти. Автор ставит задачу не просто рассмотрения агонии сталинизма и начального этапа преодоления его наследия, а выявления объективных и субъективных предпосылок продвижения в этом направлении.

Книга основана на архивных документах, до недавнего времени недоступных для исследования, а также материалах “устной истории” — обобщении многочисленных интервью, взятых автором у людей, переживших то время.

Рассчитана на специалистов и всех, интересующихся историей.

© Е. Ю. Зубкова, 1993

© Редактор серии Г. А. Бордюгов, 1993

ISBN 5—86646—043—2

© Оформление ИЦ “Россия молодая”, 1993

ВВЕДЕНИЕ

С чего начинается познание прошлого? Еще несколько лет назад ответ на этот вопрос казался таким очевидным: мы хотели знать правду. Факты. И в общем получили то, что хотели. И лишь теперь, едва выбравшись из-под “девятого вала” исторических сенсаций, с удивлением и даже некоторой досадой обнаружили, что ясности понимания новое знание не прибавило. Может быть, кому-то стало только чуть больше. И уж наверняка совсем “обидно за Отечество”, в истории которого все так нескладно, трагично, нелепо... Но так ли?

Пройден исторический цикл. Привычное понятие “советский период” неожиданно обрело конкретные хронологические очертания. Но вопрос о том, оказались ли мы внутри замкнутого круга или обрели новую точку отсчета, по-прежнему остается открытым, с неизбежностью возвращая нас к необходимости повторения пройденного. Россия вновь оказалась в разломе времени, и эта сегодняшняя реальность провоцирует вполне закономерный интерес к прошедшим переломным, реформационным эпохам. Живой инструментарий настоящего по-своему корректирует наше знание о прошлом. Уже мало кто склонен рассматривать реформы как серию волевых актов — более или менее удачных — и все чаще в профессиональном лексиконе историков мелькает понятие механизма осуществления реформ. А вместе с тем сам процесс принятия тех или иных политических решений получает уже более адекватную его содержанию историческую интерпретацию.

Однако практика настоящего, опрокинутая в прошлое, приводит подчас к известным искажениям в оценках реформационных возможностей того или иного периода истории России. Причину такого рода искажений составляет момент экстраполяции современных тенденций развития общества, его потенциала на прошлый период.

В действительности же каждое время имеет свой “предел времен”, который может быть реализован, исходя из наличных условий базового уровня. Этот предел образуют факторы как объективного, так и субъективного свойства. В числе последних — комплекс явлений политического, социально-психологического, духовно-нравственного порядка, который в обобщенном виде может

быть выражен через понятие социально-психологической (или шире — общественной) атмосферы.

Социально-психологическая атмосфера — это тот реально существующий фон, на котором происходит развитие общественной жизни. Этот фон даже в относительно спокойные времена никогда не бывает нейтральным абсолютно, поскольку именно в нем скрыты внутренние пружины общественного развития. Ожидания, настроения, мысли, чувства людей — все эти составляющие общественной атмосферы — передают “дух” времени, его неповторимое своеобразие, колорит.

Состояние общественной атмосферы служит надежным индикатором для определения состояния общественной системы в целом: нормального или кризисного, относительно устойчивого или переломного. Социально-психологический фон, изменяясь под воздействием внутренних и внешних обстоятельств, создает механизм прессинга, подталкивающий управляющий центр к принятию решений того или иного рода. Естественно, это давление возрастает по мере демократизации общества. Особенно интересно проследить влияние социально-психологического прессинга на переломных этапах общественного развития, например при переходе от диктатуры к более либеральным формам правления. В этом смысле советский опыт конца 40—60-х годов предоставляет совершенно уникальный материал для анализа.

Интерес историков к послевоенному периоду развития советского общества всегда был избирательным. Избирательность имела хронологическую и проблемную направленность. В этом смысле больше всего “повезло” эпохе Н.С.Хрущева, которая привлекала внимание профессионалов еще в 60-е годы. Правда, для советской историографии, особенно 70-х годов, опыт этого времени служил скорее полем для критики “волютаризма”, нежели объектом действительно научного анализа. Серьезные разработки, начатые в 60-е годы, в силу изменения общей политической ситуации в стране, остались до конца нереализованными. Поэтому основная масса литературы, посвященная 50—60-м годам советской истории в 70-е и в первой половине 80-х годов выходила за рубежом(1).

С конца 80-х годов наметились новые тенденции в развитии отечественной историографии. Появились статьи и книги, написанные на ставших доступным (хотя сначала и довольно узкому кругу специалистов) архивных документах. Одна из таких книг была создана авторским коллективом бывшего Института марксизма-ленинизма под руководством Н.А.Барсукова(2). Исследование посвящено XX съезду КПСС, события вокруг которого находятся в центре внимания авторского коллектива, однако далеко не исчерпывают содержание книги. Ее разделы, неравнозначные по своему содержанию, предлагают большой фактический мате-

риал и могут рассматриваться как попытка нового осмысления реформационной практики 50—60-х годов.

Новым явлением в развитии исторической мысли последнего периода стало появление большого количества переводной литературы по советской истории. В 1990 г. вышла двухтомная монография Дж.Ботфа “История Советского Союза”, а в 1992 г. — книга Н.Верта “История советского государства. 1900—1991”, в которых событиям послевоенных лет принадлежит довольно значительное место(3).

Помимо общих работ (и гораздо раньше последних) в течение 1988—1989 гг. был опубликован целый ряд статей, затрагивающих отдельные проблемы послевоенной истории. Часть из них составили сборники: “Иного не дано”, “Осмыслить культ Сталина”, “Страницы истории советского общества”, “Никита Сергеевич Хрущев: материалы к биографии” и др.(4).

Несмотря на разность подходов и оценок, эту литературу отличает одна характерная особенность — историко-политологическая направленность большинства исследований с неизбежным в этом случае преобладанием интереса к высшим политическим сферам, судьбе лидеров. Власть с “другой стороны” представлена здесь в гораздо меньшей степени. Избирательным вниманием отмечены и отдельные хронологические вехи послевоенного периода: как правило, это пиковые точки смены лидера — 1953, 1964 годы — и сопутствующие им события. Подход по-своему логичный и вполне оправданный, но не всегда исторически достаточный, образующий хронологические пустоты, в которых исчезает ощущение непрерывности живого процесса.

В одном из таких “провалов” оказался период 1945—1953 годов, по-настоящему еще не осмысленный ни отечественными, ни зарубежными историками. Разработка этого периода ведется пока главным образом по отдельным тематическим и проблемным направлениям, некоторые из них, например аграрная история, имеют под собой давнюю и устойчивую традицию(5). Единственный вышедший еще в СССР обобщающий труд по этому периоду — одиннадцатый том “Истории СССР с древнейших времен до наших дней”, хотя и стал событием в историографии начала 80-х, на сегодняшний день вряд ли может удовлетворить запросы специалистов(6).

Традиции советологии послевоенного времени в 70—80-е годы наиболее успешно развивали американские и английские историки: ими были опубликованы оригинальные исследования по советской истории 40—50-х годов, которые в целом сохранили политологическую и экономическую направленность(7). Изданный в 1985 г. коллективный труд американских историков “Влияние Второй мировой войны на Советский Союз”(8) стал первым опл-

том комплексного исследования последствий войны для советского общества. В книге есть специальная глава, посвященная социальным итогам войны (ее автор — Ш.Фитцпатрик). Глава, написанная преимущественно на обобщенном статистическом материале, анализирует возрастные, профессиональные изменения в составе населения, национальные и миграционные проблемы. Социально-психологические аспекты развития советского общества в книге не рассматриваются. Главным препятствием на пути более детального и глубокого анализа послевоенной жизни Советского Союза — и это отмечают авторы книги — являлся недостаток архивных материалов, которые стали доступными лишь в последнее время.

Изучение истории общества, или социальной истории, помимо привлечения новых источников требует и особого ракурса исследования, особой методологии. Эта методология в основных принципах примыкает к традиции французской школы “Анналов”, самые яркие представители которой — М.Блок и Л.Февр — еще в 20-е годы предложили свое понимание истории как “науки о человеке”, “исторической антропологии” (9). В отечественной историографии это направление исследований успешно развивалось, благодаря трудам А.М.Барга и А.Я.Гурсвича (10), которые продолжили традицию “Анналов” — причем не только в методологическом, но и проблемном ключе, поскольку касались главным образом проблем западноевропейского феодализма. Поэтому применительно к истории новейшего времени принципы “исторической антропологии”, разработанные на материале средневековья, требуют известной корректировки, особенно с учетом изменения источниковой базы.

С точки зрения предметного подхода исторические исследования, занятые изучением общественной атмосферы и общественного самосознания, ближе всего стоят к социальной психологии. В этой области сложился большой и серьезный комплекс литературы, который включает в себя ставшими уже классическими труды Г.Тарда, Г.Лебона, Л.Войтоловского, В.Бехтерева и других психологов (11), а также современные социологические и психологические разработки (12). В качестве отдельного направления можно выделить работы по исторической психологии. Книга Б.Ф.Поршнева “Социальная психология и история” и сборник “История и психология” заложили основы этого направления в 60—70-е годы (13). Однако в дальнейшем историко-психологические разработки практически не затрагивали отечественной проблематики в той же мере, как и проблем новейшей истории России.

Сложилась, таким образом, довольно своеобразная историографическая ситуация. С одной стороны, существует большой комплекс литературы, посвященный условно проблемам социальной

истории, который, однако, не касается послевоенного периода истории России. С другой стороны, можно говорить о самостоятельном круге литературы по советской истории 40—60-х годов, в котором отсутствуют специальные исследования историко-психологической (причем в плане анализа массовых процессов) направленности. Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой попытку преодоления этого историографического парадокса.

В то время как отечественные исследования в основном обходили область социальной психологии, в зарубежной историографии интерес к подобным работам постоянно возрастал и он, в свою очередь, стимулировал поиск новой источниковой базы для этих исследований. Документальные лакуны заполнялись материалами “устной истории”. В 1967 г. была создана “Ассоциация устной истории США”, аналогичные исследования получили развитие в ФРГ. Среди последних выделяется проект по изучению социальной культуры Рурской области в 1930—1960-е годы, осуществленный под руководством Л.Нитхаммера(14). Первые результаты этой работы были опубликованы в 1983 г.

Отечественная традиция в области “устной истории” долгое время поддерживалась почти исключительно энтузиазмом краеведов. Проводились и целенаправленные опросы людей, как правило связанные с осуществлением больших исследовательских проектов, например, при собирании документального материала для “Истории фабрик и заводов” в 30-е годы, или для истории движения “за коммунистический труд” — в 60-е. Тем не менее эта работа носила преимущественно эпизодический характер и только с конца 80-х годов — с возникновением специальных лабораторий “устной истории” — можно говорить об оформлении самостоятельного научно-практического направления в этой области исторических исследований.

Существующая источниковая база, которая может быть использована для изучения социально-психологических процессов, характеризующих жизнь советского общества двух послевоенных десятилетий, обладает рядом особенностей, определяющих характер и границы исследования в целом. Источники, которые легли в основу настоящей работы, неравнозначны по своему содержанию и значению.

Безусловный приоритет в данном случае следует отдать свидетельствам современников — как тем, что отражают “горячие” впечатления, так и ретроспективным оценкам. С конца 20-х до середины 60-х годов в СССР отсутствовали специальные публичные службы, занимающиеся изучением общественного мнения, общественных настроений. Однако негласный контроль такого рода все-таки существовал и проходил он по ведомству Наркомата внутренних дел (впоследствии МВД и КГБ), а также Управления

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В этой книге использованы материалы УПА, хранящиеся в Российском Центре хранения и использования документов новейшей истории (РЦХИДНИ) и Центре хранения современной документации (ЦХСД). Среди документов Управления (отдела) пропаганды и агитации следует прежде всего выделить сводки и информации о настроениях населения, поступавшие в ЦК из различных регионов страны. Обычно эти сводки составлялись в связи с проведением каких-либо политических акций и пропагандистских кампаний. Идеологическая заданность подобных документов, призванных продемонстрировать "всенародную поддержку" этих мероприятий, безусловно влияет на характер отраженных в них мнений. Однако наряду с положительными высказываниями сводки под оговоркой "нездоровые настроения" содержали информацию о критических мнениях людей, о негативных реакциях и эмоциях.

Содержательные возможности этой группы источников расширяет другая, близкая первой по характеру: перечни вопросов, заданных лекторам и пропагандистам во время лекций, собраний, совещаний. С помощью этих вопросов можно не только выделить круг проблем, которые больше всего волновали аудиторию, но и — в отдельных случаях — определить состав слушателей (работники промышленных предприятий, сельские жители, студенчество, творческая интеллигенция и др.).

В течение всего послевоенного времени ЦК КПСС получал большое количество писем с предложениями и замечаниями граждан по различным вопросам внутренней и внешней политики. Оригиналы этих писем в большинстве своем не сохранились, но иногда они представлены в виде сводок и другой обобщающей информации. Самый большой комплекс писем представлен материалами обсуждения проектов программы КПСС и Конституции СССР.

Помимо документов отдела пропаганды и агитации в книге использованы материалы секретариата, Общего отдела ЦК КПСС, редакции журнала "Коммунист" и Коллекции рассекреченных документов. Материалы Общего отдела, так же как и отдела пропаганды и агитации, содержат информацию о реакции населения на важнейшие события политической жизни страны, например: "дело врачей", смерть Сталина, "дело Берия", XX съезд КПСС, июньский пленум ЦК 1957 г.

В составе фондов ЦК КПСС отложились документы, исходящие из других ведомств и организаций: Совета Министров СССР, Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского флота, Главного управления по охране военных и государственных тайн в печати, Верховного Суда РСФСР. В

этой группе особо следует выделить материалы КГБ, представляющие собой докладные записки в ЦК КПСС — о забастовках и волнениях на предприятиях, о распространении листовок антиправительственного содержания, о слухах и разговорах, циркулирующих в народе.

Другой комплекс архивных документов, использованных в настоящей работе, представляют фонды Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ): это письма читателей трех наиболее заметных литературных изданий 50—60-х годов — журналов “Новый мир” и “Октябрь”, а также “Литературной газеты”. Читательская почта газет и журналов всегда выступает как важный фактор общественного мнения. Документальные фонды РГАЛИ хранят эпистолярные источники в виде оригиналов, а наиболее интересный и полный комплекс корреспонденции находится в фонде редакции журнала “Новый мир” (письма читателей только за 1948—1964 гг. составили более 200 архивных дел). Это по-своему уникальный источник, позволяющий воссоздать систему духовных и политических ориентаций современников “оттепели”, проследить особенности формирования института общественного мнения, для выражения которого в 50—60-е годы “Новый мир” был главной трибуной.

Наряду с фондами бывших партийных архивов и РГАЛИ в книге частично использованы материалы фондов ВЦСПС и отраслевых профессиональных союзов, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ). В основном к ним относятся материалы, характеризующие условия жизни рабочих, настроения в рабочей среде, т.е. источники, отражающие жизненный уровень населения и субъективные оценки его состояния.

Архивные документы, сохранившие свидетельства современников, дополняют материалы личного происхождения, которые были опубликованы: дневники, мемуары, переписка. Мемуарный ряд открывают воспоминания Н.С.Хрущева(15). Этот источник, отличающийся информационной насыщенностью, представляет весьма интересный материал для историко-психологического анализа, тем более, что Н.С.Хрущев — это первый советский лидер (за исключением Л.Д.Троцкого), решившийся на публичную откровенность. Отрывочные свидетельства людей, работавших в разное время вместе с Хрущевым — Г.И.Воронов, Н.Г.Егорычева, В.Е.Семичастного, П.Е.Шелеста и других(16) — безусловно, дополняют коллективный психологический портрет высшего руководства страны, но уступают мемуарам Первого секретаря по уровню содержательности. Исключение составляет сборник бесед с В.М.Молотовым(17), человеком, имя которого связано с целой исторической эпохой и чьи взгляды во многих чертах отражают мышление этой эпохи.

В конце 80 — начале 90-х годов стали выходить из печати мемуары “семейного круга”, т.е. членов семей советских руководителей — А.Г.Маленкова, С.Н.Хрущева, А.И.Аджубея(18), предлагающие довольно своеобразный взгляд на историю и роль того или иного политика. Это попытка соединить личные впечатления со взглядом постороннего наблюдателя, что далеко не всегда удается — уже в силу уязвимости самой исходной позиции. Поинтому представлена история реформ в воспоминаниях людей, которые не принадлежали к ближайшему окружению руководства, но работали непосредственно на него. Первыми в этой группе мемуарной литературы появились книги Ф.М.Бурлацкого и Г.А.Арбатова(19). В них свидетельства очевидца корректируются взглядом аналитика, и картина времени, таким образом, получает известную законченность, хотя вопрос о принципах отбора фактов и в этом случае остается открытым.

Если мемуары политиков и их окружения представляют жизнь высших сфер, то отражение более широких общественных процессов следует искать в другом круге мемуарной литературы — например, в мемуарах литераторов — писателей, поэтов, журналистов. Воспоминания и дневники Ф.А.Абрамова, Э.Г.Казакевича, В.Я.Лакшина, В.В.Овечкина, А.Т.Твардовского, К.М.Симонова, К.И.Чуковского, И.Г.Эренбурга и других(20) — это рассказ не только о литературной жизни 40—60-х годов, но и об общих проблемах истории страны, о зарождении в обществе новых тенденций и явлений, которые станут символами “оттепели”.

Свой взгляд на проблемы “оттепели” предлагают люди, в той или иной степени находящиеся в оппозиции к властям — участники правозащитного движения и других направлений отечественного инакомыслия. С подобной точкой зрения можно познакомиться в мемуарах П.Г.Григоренко, А.Д.Сахарова, А.И.Солженицына(21).

В целом комплекс мемуарных источников представляет самые разные стороны и оценки советской действительности 40—60-х годов. Субъективный характер мемуаров, который традиционно считается недостатком этой категории исторических источников, в данном случае, напротив, выступает в роли условия, необходимого для обеспечения задач исследования, т.е. изучения образа мыслей и чувств людей той эпохи.

К мемуарной группе источников примыкает другая, особенно дорогая мне как автору: это материалы интервью с людьми, пережившими то время и предложившими свой взгляд на события прошедших лет. Среди моих собеседников — журналист Ю.С.Апенченко, академик П.В.Волобуев, публицист, критик И.А.Дедков, журналист, ученый О.Р.Лацис, писатель В.Л.Кондратьев, историк Ю.П.Шарапов, десятки людей, пожелавших ос-

таться неизвестными, но чьи оценки, мнения, суждения, просто рассказы о своей жизни помогли мне понять и почувствовать то драматичное и весьма непростое время. Не будь этих живых свидетельств — вряд ли состоялась бы эта книга.

Среди источников следует также назвать произведения художественной литературы. Их присутствие в данном контексте отнюдь не случайно: в художественной литературе (а также публицистике, критике) находят отражение такие особенности жизни общества, которые не фиксируются другими категориями источников. Происходит это по крайней мере по двум причинам. Во-первых, в силу действия законов жанра: отражение духа времени — на общественном и личностном уровне — всегда было главной задачей литературы, что прежде всего касается литературы, принадлежащей перу очевидцев (такова, например, “лейтенантская”, “деревенская” или “городская” проза 50—70-х годов). Во-вторых, уникальность художественной литературы как исторического источника определяется ее особой ролью в жизни российского общества. Литература всегда была в нем чем-то большим, чем областью художественного творчества. В силу специфики организации политической жизни, литература наряду с решением чисто художественных задач, несла и огромную дополнительную нагрузку в качестве канала общения между людьми и нередко — общественной трибуны.

Конечно, с исторической точки зрения интерес к разным литературным произведениям не может быть равнозначным, хотя общий литературный фон нужно иметь в виду для выделения качественных характеристик состояния общественного климата. Но поскольку в поле анализа находятся не собственно литературные, а более широкие — общественные — процессы, то для историка прежде всего важны те литературные произведения, которые вызвали наибольший резонанс в обществе. Такие произведения художественной литературы можно рассматривать в качестве своеобразной “визитной карточки” времени. За послевоенный период — это “Районные булны” В.Овечкина, “Оттепель” И.Эренбурга, “Не хлебом единым” В. Дудинцева, “Один день Ивана Денисовича” А.Солженицына и др. Эти книги — и по мнению современников, и по более поздним оценкам — находятся в ряду общественных явлений — в силу не столько художественных достоинств, сколько определяющей реакции на формирование и развитие общественного мнения в стране. В систематизированном виде литературные памятники 50—60-х годов представлены серией книг “Оттепель”, подготовленной С.И.Чупринным (22). Издание помимо литературных произведений включает хронику важнейших событий — с комментариями и оценками современников, создающими атмосферу и дух того времени.

Атмосфера общественной жизни послевоенных лет нашла свое отражение и в материалах официального характера (опубликованных документах КПСС и правительства), а также периодической печати. Прессе в данном случае принадлежала роль транслятора официальной политики и поэтому материалы печати были призваны не столько отражать общественные настроения, сколько формировать их. И тем они интересны, потому что воссоздать палитру общественных настроений (с той или иной степенью полноты) возможно только на основе учета всех доступных видов источников.

Уточнение о степени полноты важно, поскольку картина общественных настроений в послевоенный период складывается главным образом из тенденций развития этих настроений, констатации их наличия или отсутствия, тогда как установить степень распространенности тех или иных мнений часто весьма сложно, а то и вовсе невозможно. Однако, даже зафиксированные в виде тенденций и импульсов, эти настроения позволяют проследить изменения общественного климата на протяжении всего периода с середины 40-х до середины 60-х годов.

А период этот был динамичным и противоречивым, знающим азарт атак и трагедию отступлений, надежды реформационных начинаний и разочарования от реализации тупиковых проектов. Столь же противоречивой были и динамика общественных настроений за этот отрезок времени. Ее "кривая" опирается на несколько критических точек, обозначающих подъемы и спады духовной активности общества: 1945, 1948, 1953, 1956/57, 1964 годы. Эта динамика определила структуру книги.

Хронологическим вехам принадлежит роль опорного каркаса, логических точек, замыкающих каждый конкретный период в единое целое и дающих ориентировку на конкретные события. В центре внимания книги — судьба реформ, или точнее, судьба начинаний и попыток этого периода, имеющих целью изменить функционирующие общественные механизмы, трансформировать их в соответствии с потребностями времени. Процесс социальных преобразований — это всегда результат общественный, в том смысле, что в процессе этом участвуют различные общественные силы. И у каждой своя роль — главная или эпизодическая, ведущая или пассивная — из переплетения которых складывается историческое действие, проступает событийный ряд.

Поскольку до сих пор историки и политологи были в основном заняты анализом действий управляющего центра, властей, участие в процессе социальных преобразований нижнего уровня (общества) почти не рассматривалось. А между тем общественные настроения с точки зрения их влияния на содержание и результа-

тивность реформ являются фактором не менее важным, чем позиция и намерения руководства.

Общество и реформы — суть ключевые слова, определившие главную идею книги. Общество и реформы — это конструкция, каждая часть которой выступает не как самодостаточный объект изучения, а только в ее зависимости от другой. Отсюда — на первом плане не события как таковые, а рефлексивный ряд, реакция на события в среде современников, отражение их общественным сознанием и трансформации последнего. Внимание современников фокусируется на тех проблемах, которые на какой-то момент времени субъективно воспринимаются как первоочередные, “болевые”. Именно существование подобных “болевых” проблем провоцирует потребность в реформах, которые в свою очередь каждый раз ограничены “пределом возможного”. Выяснение этого “предела” — тоже одна из задач книги.

Вопрос о перспективах послевоенного развития, о потенциале прогрессивных перемен — это прежде всего вопрос о социальном носителе, о тех общественных силах, которые были бы не только заинтересованы в подобных переменных, но и смогли бы их инициировать, провести в жизнь. В связи с этим возникает необходимость вычленения из всей совокупности субъектов общественных отношений (общества) достаточно устойчивых социальных групп, которые отличались бы общностью социального статуса, мышления, уровня жизни, т.е. признаков, влияющих на фактор включенности данной социальной группы в общественно-политическую систему. Естественно, выделение подобных социальных групп носит условный характер, в нашем случае ограниченный дополнительно состоянием источниковой базы. Поэтому здесь, по-видимому, неизбежен путь несколько более обобщенного (чем хотелось бы) подхода — в одних случаях, и переход на микроуровневый срез исследования — в других.

Для выяснения механизма влияния общественных настроений на процесс выработки и принятия политических решений необходимо прежде всего учитывать состояние умов политически и интеллектуально активной части общества. Как правило, это удастся сделать посредством анализа читательской почты, настроений читательской аудитории газет и журналов. Разной степенью политической активности отличаются и различные возрастные категории населения (в данном случае представители молодого поколения, как правило, более мобильны и отзывчивы). Разноплановые интересы представляют жители города и села, что также учитывалось в случае достаточности источниковой базы. Наконец, существуют общественные типы, чьи настроения могут играть ключевую роль на конкретных исторических этапах. В первые по-

слевоенные годы это были, например, фронтовики, а после 1956 года на авансцену общественной жизни вышли "шестидесятники".

Тема и содержание книги требуют еще одной необходимой оговорки: многие ее сюжеты затрагивают жизнь ныне живущих людей. Возможно, личный опыт и личные наблюдения читателя в чем-то (или даже в целом) не совпадут с оценками и выводами, предложенными на ее страницах. Это неизбежно. История у каждого своя. Но есть в конкретных судьбах людей нечто общее, что определяет судьбу времени, судьбу эпохи. Об этом и хотелось бы написать.

Появление этой книги стало возможным благодаря содействию многих людей, чей профессионализм, личный опыт или просто практический совет помогли мне осуществить задуманное. В этой связи не могу не высказать здесь слова признательности моим старшим коллегам, работающим в Институте российской истории Российской Академии Наук. Хочется также выразить благодарность сотрудникам Российского центра хранения и использования документов новейшей истории (РЦХИДНИ) и Центра хранения современной документации (ЦХСД) за предоставленные материалы и помощь в работе. Моя признательность — редакции журнала "Свободная мысль", на страницах которого появились первые фрагменты этой книги.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Авторханов А. Загадка смерти Сталина: Заговор Берия. Frankfurt a.M., 1976; Hyland W., Shryock R. The fall of Khrushchev. N.-Y., 1986; Kelley Donald R. The politics developed socialism: The Soviet Union as a prize — industr. state. N.-Y., 1986; Meissner V. Russland unter Chruschtschow, Munchen, 1960; Tarachys D. The soviet political-agenda: Problems a. priorities. 1950 — 1970. London, 1979 и др.
2. XX съезд КПСС и его исторические реальности. М., 1991.
3. Бюффа Дж. История Советского Союза. В 2-х тт. М., 1990.
Верт П. История советского государства. 1900 — 1991. М., 1992.
4. Много не дано. М., 1988; Осмыслить культ Сталина. М., 1989; Страницы истории КПСС: Факты, проблемы, уроки. М., 1988; Страницы истории советского общества: Люди, проблемы, факты. М., 1989.
5. Волков И.М. Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы: Колхозы СССР в 1946—1950 гг. М., 1972; Зеленин И.Е. Совхозы СССР. 1941 — 1950 гг. М., 1969.
6. История СССР с древнейших времен до наших дней. Т.11. М., 1980.
7. Dunmore Timothy. Soviet politics. 1945 — 1953. London, 1984; Hahn Werner O. Postwar soviet politics: The fall of Zhdanov a. the defeat of modernation. 1946 — 1953. London, 1982; Werth A. Russia: The postwar years. N.-Y., 1971 и др.
8. The impact of world war II on the Soviet Union. Rowman & Allanheld, 1985.
9. Блок М. Апология истории, или ремесло историка. М., 1986, Февр Л. Бой за историю. М., 1991.
10. Барг А.М. Эпохи и идеи: Становление историзма. М., 1987; Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. 1988. N

1; Он же. История и психология // Психологический журнал. 1991. Т.12. N 4; Он же. Средневековый мир: Культура безмолвствующего большинства. М., 1990.

11. Бехтерев В.М. Предмет и задачи общественной психологии как объективной науки. СПб., 1911; Викторов П.П. Учение о личностях и настроениях. М., 1903; Войтоловский Л.Н. Очерки коллективной психологии. В 2-х ч. М.-Пг., 1924 — 1925; Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1896; Он же. Психология социализма. СПб., 1908; Тард Г. Общественное мнение и толпа. М., 1902.

12. См., например: Возьмитель А.А. Формирование и изучение общественного мнения. М., 1987; Грушин Б.А. Массовое сознание. Опыт определения и проблемы исследования. М., 1987; Ольшанский Д.В. Психология массовых политических настроений // Психологический журнал. 1989. Т.10. N 6; Парыгин Б.Д. Общественное настроение. М., 1966; Рахманин В.С. Общественная психология и революционный процесс. Воронеж, 1987 и др.

13. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966; История и психология. М., 1971; Бельский И.Г., Шкуратов Б.А. Проблемы исторической психологии. Ростов н/Д, 1982.

14. "Die Jahre weiss man nicht, wo man die heute hinaetzen voll": Faachtauserefahrungen im Ruhrgebiet. 1930 — 1960. Berlin—Bonn, 1983.

15. Хрушев Н.С. Воспоминания. Ч. 1 — 2. N-У., 1982.

16. Воронов Г.И. От "оттепели" до застоя // Известия. 1988.

17 ноября; Направлен послом... // Огонек. 1989. N 6; О Хрущеве, Брежнев и других // Аргументы и факты. 1989. N 2; Семичастный В.Е. Незабываемое // Комсомольская жизнь. 1988. N 7; Шелест П.Е. Брежневу я так и сказал: "Ты плохо кончишь". // Театральная жизнь. 1989. N 17 и др.

17. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф.Чуева. М., 1991.

18. Маленков А.Г. О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992. Хрушев С.Н. Пенсионер союзного значения. М., 1991; Аджубей А.И. Те десять лет. М., 1989.

19. Бурлацкий Ф.М. Вожди и советники: О Хрущеве, Андропове и не только о них... М., 1990; Арбатов Г.А. Затянувшееся выздоровление. 1953 — 1985. Свидетельство современника. М., 1991.

20. Абрамов Ф.А. А люди ждут, ждут перемен. Из дневниковых и рабочих записей // Известия. 1990. 3 февраля; Казакевич Э.Г. Слушая время. Дневники, записные книжки, письма. М., 1990; Лакшин В.Я. "Новый мир" во времена Хрущева: Дневник и попутное. 1953 — 1964. М., 1991; Овечкин В.В. Статьи, дневники, письма. М., 1972; Симонов К.М. Глазами человека моего поколения: Размышления о И.В.Сталине. М., 1989; Твардовский А.Т. Из записных книжек. 1953 — 1960 // Знамя. 1989. N 7 — 9; Чуковский К.И. Из дневника // Знамя. 1992. N 11 — 12; Эренбург И.Г. Люди, годы, жизнь. Соч. в 9-ти т. Т. 9. М., 1967.

21. Григоренко П.Г. В подполье можно встретить только крыс. N-У., 1981; Марченко А. Живи как все // Знамя. 1989. N 12; Сахаров А.Д. Воспоминания. М., 1990; Солженицын А.И. Бодался теленок с дубом: Очерки литературной жизни. Итса-Press, 1975 и др.

22. Оттепель. 1953—1956: Страницы русской советской литературы. М., 1989; Оттепель. 1957—1959. М., 1990; Оттепель. 1960 — 1962. М., 1990.

ГЛАВА 1. 1945—1947: НАДЕЖДЫ

“И самая большая боль, самое горе горькое в нашей жизни было как раз сознание, что от усталости военной, от насады послевоенных лет мы не удержались сами на той нравственной высоте, которой достигли на войне и которую сами себе со-творили, несмотря на бездушие и препятствия безнравственной, преступной верхушки нашей...”

(В.АСТАФЬЕВ)

1. Война как социально-психологический феномен

Литература по истории Великой Отечественной войны настолько обширна, что существует уже не только собственно историография проблемы, но и историография ее историографии. Десятки томов и сотни книг посвящены описанию военных операций и штабной деятельности, выяснению причин первых поражений и последующих побед, изучению военной промышленности и организации работы тыла. История войны, основанная на точных сводках производства танков и самолетов, подсчетах обоюдных потерь, перечислении взятых и оставленных городов, рассуждениях о стратегических выигрышах и ошибках — это, безусловно, необходимая история. Но это — история военная. А у войны есть еще и социальное лицо. социальная история, которая не складывается из описания отдельных подвигов на фронте и примеров трудового героизма в тылу. И не просто потому, что “на войне бывало всякое”. А скорее так: всякое на войне бывало потому, что война — это жизнь. Не перерыв в жизни, как это может показаться (и как войну часто воспринимали современники), а сама жизнь; только другая, не похожая на довоенную, но тесно с ней спаянная — и духовно, и физически.

Такая социальная история войны пока еще слабо прочитывается в исторических трудах. Но она зафиксирована — во фронтовых письмах, дневниках и солдатских мемуарах, в документальных книгах А.Адамовича, Д.Гранина и С.Алексиевич(1), в огромном комплексе писем, интервью, кинохроники, собранном К.Симоновым, в военной прозе писателей-фронтовиков В.Некрасова и В.Астафьева, В.Быкова и Б.Васильева, Г.Бакланова и В.Кондрать-

понятия, как толпа и армия, называя последнюю "одухотворенной толпой" (5), то Г.Тард ставил армию по психологической организации выше толпы, опираясь на тот же принцип духовного единения людей, принадлежащих к армии (6).

И "армия", и "казарма" — как модели общественной организации, подчиненные строгой дисциплине, представляют собой идеальные объекты для управления. Причем "казарма", где личностный фактор практически сnivelирован, в этом смысле даже более удобна. Почему же сталинский режим настойчиво культивировал именно армейский дух, никогда не позволяя обществу до конца замкнуться и обособиться в одну гигантскую "казарму"? Этому фактору, думается, есть свое психологическое объяснение. Психология режима создала особую модель управления, в которой объекту всегда была предоставлена известная (легко фиксируемая и изменяемая) доля свободы. И не ради доброго помысла, а в целях создания страховочного механизма: ограниченная свобода объекта управления позволяла "доводить" принятое наверху решение до уровня оптимального, чего бы не произошло, будь это решение строго и до конца детализованным и запрограммированным, а значит, и потенциально тупиковым. "Сталинский человек при власти был, с одной стороны, "только исполнителем", — пишет М.Гефтер. — С другой стороны, этот же человек в пределах разрешенного ему исполнительства был всемогущ! Это странное совмещение исполнительства со всемогуществом в установленных рамках создавало особый, ударный импульс жизни" (7).

Другое дело, что наряду с "ударным импульсом жизни" одних существовала и вполне обыденная, "казарменная", психология других; в этом сложность субъективной реальности общественных отношений тех лет. Из противоречий этой реальности вырос известный парадокс первого периода войны: общество, всем строем духовной жизни — и психологически, и идеологически — долгое время готовившееся к предстоящему нападению, испытало психологический шок, было на время парализовано и не способно к должному отпору. Почему так произошло?

Шоковое состояние первых дней и месяцев войны было связано даже не столько с фактом "внезапного нападения", сколько с известиями об отступлении Красной Армии. Вот к этому и не были готовы — ни общество в целом, ни армия, ни сам Сталин. Начался трудный период психологической перестройки, в процессе которой из разрозненных общественных элементов стало постепенно складываться нечто целое, имя которому "воюющий народ". Процесс этот не был одномоментным. Рассуждения о том, что все встали, как один, считает, например, историк Г.Бордюгов, всего лишь очередная мифологема: "Одни пошли сражаться за социализм. Другие думали вовсе не про социализм, а про Отече-

ство. Третьи — службисты, люди системы — были парализованы. Четвертые в первые же дни, недели и месяцы как бы “извергли” то, что накопилось в народе” (8).

Первая реакция руководства страны — попытка создать максимально управляемую армию, построив ее на строго казарменных принципах, потерпела неудачу (9). Что понять нетрудно: казарму просто нечем было вооружить (хотя этот вопрос является спорным). А для того, чтобы идти в атаку на танки с одной трехлинейкой, политрука впереди и пулеметчика за спиной оказалось мало. Понадобилось нечто совсем иное, что вытекает только из природы человеческого духа, — способность к риску и самопожертвованию. Паралич власти и стратегическую несостоятельность штабов компенсировали духовным порывом народа, стоившим ему миллионных жертв: такую цену пришлось платить за недееспособность системы.

Но это — ретроспективная оценка, которая имеет в целом косвенное отношение к тому, что происходило в мыслях и душах людей, когда они по призыву или добровольно уходили на фронт, восвали, терпели поражения и побеждали. Можно понять тех ветеранов, которые не хотят мириться с навязываемым им суждением о том, что все их усилия на войне сводились к защите режима, к поддержанию системы, которая — не будь они столь упорны — рухнула бы сама собой. Подобные суждения не только нравственно ущербны, — они некорректны прежде всего исторически, поскольку игнорируют главное — взгляд на войну самих фронтовиков. Он, этот взгляд, тоже не был единым и устойчивым: война по-разному виделась окопнику и штабисту, штрафнику и гвардейцу. Но было в восприятии войны нечто общее, что роднило всех; со страниц фронтовых писем и дневников война часто предстает не в привычном героическом ореоле, а по-житейски обыденно, как “просто трудная работа”, на которой даже самое страшное — смерть — становится “бытом”. И люди постепенно привыкали к этой новой жизни и уже не она, а прежняя, довоенная казалась им необычной и почти недостижимой.

Поэтому и желания солдат “чаще всего были самые простые, — рассказывает, например, фронтовик М.Абдулин, — выспаться, помыться в бане, пожить хоть недельку под крышей, получить из дома письма. Самая большая мечта была: остаться живыми и поглядеть, какой будет жизнь” (10). Об этом думали солдаты на войне. Когда же она отодвинулась в прошлое, само восприятие военных лет поднялось на новый уровень. Война, писал в этой связи писатель-фронтовик В.Кондратьев, “вспоминается воевавшими хорошо, потому, что все страшное и тяжелое в физическом смысле как-то смилось в памяти, а осталась лишь духовная сторона, т.е. светлые и чистые порывы, присущие войне справедли-

вой, войне освободительной" (11). И как итог: "Война оказалась для нас самым главным делом нашего поколения" (12). О том же и В.Астафьев: "На исходе лет вдруг обнаруживаешь: что и было в твоей жизни, чем можно гордиться, о чем печалиться, это она — война" (13). Признание, имеющее прямое отношение не только к опыту войны, но и к реалиям послевоенной жизни, на фоне которой — так сложилось — война выделялась как нечто несравненно более яркое, а главное, нравственно высокое. Духовный настрой военных лет во многом был уникальным; и не потому только, что он рождался в ситуации истинно экстремальной, а прежде всего потому, что сама эта ситуация с необходимостью меняла прежние приоритеты в системе государственных и человеческих отношений.

Парадоксально, но цена человеческой личности поднялась именно тогда, когда были потеряны целые армии, а жизнь солдата, казалось, уже вообще ничего не стоила. Психологический поворот, не в последнюю очередь обусловивший и перелом в ходе войны, думается, выросал на основе преодоления этого парадокса. Война предоставила редкий шанс материализации гражданского чувства народа, которое десятилетиями культивировалось приспособленным к задачам режима, и было привязано к весьма абстрактным, либо далеким от практической жизни понятиям. А здесь оно обрело плоть и кровь конкретной цели — защиты Отечества — сомкнувшись в этом главном своем смысле с исторической традицией прошлых веков. Тогда человек ощутил себя гражданином. "На войне я был до необходимости необходимым, — вспоминал герой рассказа В.Кондратьева "Знаменательная дата". — И не всяким меня заменить можно было. Вот предположим, что вместо меня на том левом фланге с тем же ручником другой солдат. И уже уверенности нет, что он немца задержит — и глаз другой, и смекалка, и характер послабже, может... Там такое чувство было, словно ты один в своих руках судьбу России держишь" (14).

Психологическая природа того, что обычно называют гражданским чувством, здесь передана удивительно точно: идет внутренняя переоценка своего "я", которое вырастает до уровня общественной самооценки ("я был до необходимости необходимым"). А если так, то закономерно увеличивается степень внутренней свободы личности; не случайно многие фронтовики впоследствии вспоминали, что на войне они чувствовали себя более свободными, чем в мирное время. Но свободными от чего?

Известная фронтовая поговорка "война все спит" — это ведь тоже о свободе. Причем в условиях, когда функции и зона действия формального контроля за поведением человека (со стороны государственных органов, общественных институтов) сдвинуты, границы между такими понятиями, как свобода и вседоз-

воленность, могут стать легко проницаемыми. На войне подобная ситуация не была типичной. Произошло нечто иное: место формального контроля (который ранее был преобладающим) занял самоконтроль и неформальный контроль со стороны малых социальных групп, объединенных одной землянкой или одним окопом. И как правило, этот неформальный внешний и внутренний контроль — с точки зрения развития личности, ее мироощущения, выбора поступков — был гораздо более действенным, чем государственная система тотального надзора. Во всяком случае, К.Симонов писал, что поговорка “война все спишет” не приобрела тогда всеобщего распространения и что она “при всей своей соблазнительности, редко находила уста, которые произносили бы ее с сознанием правоты, прямо и гордо. Она не стала символом веры, больше того, очень часто уже во фронтовых условиях, она попадала под огонь весьма увесистой критики и в итоге не стала нашим военным бытом, а только пеной этого быта”(15).

“Дух свободы”, о котором до сих пор вспоминают фронтовики, это все-таки нечто совершенно иное, чем “свобода быта” на войне. И несравненно более важное для оценки послевоенной ситуации. “Как очевидец и как историк свидетельствую, — пишет М.Гефтер, — 41-й, 42-й множеством ситуаций и человеческих решений являли собой *стихийную десталинизацию*” (выделено мной — Е.З.) (16). И в другом месте поясняет свою мысль: “в тяжелых испытаниях войны возродился — вместе с чувством личной ответственности за судьбы отечества — и личный взгляд, вернее, зародыш личного взгляда на то, каким ему, отечеству, надлежит стать уже сейчас и тем паче в будущем”(17).

Формирование нового взгляда на себя, на мир, на судьбу страны проходило не только под влиянием возросшего чувства личной ответственности, но и в результате осмысления новой информации, которую несла с собой война. Война стала еще и своеобразным каналом общения между людьми, жизненные пути которых в мирное время редко пересекались: на войне встретились деревня и город, недоучившиеся студенты и недавние ээки. Для некоторых горожан (особенно из интеллигентных семей) было, например, открытием, что деревня жила на одних “палочки”, а колхозники нередко вынуждены были отдавать необходимое, чтобы прокормить город. По Указам от 12 июля и 24 ноября 1941 г. было освобождено из мест заключения свыше 600 тыс. человек и 175 тыс. из них сразу мобилизовано в действующую армию(18). По отношению к общей численности армии — это не так много, но для образования потенциального источника новой информации, фактически скрытой от большинства, — вполне достаточно.

Вообще, свидетельствуют фронтовики, разговоры на фронте были весьма откровенными, даже невзирая на представителей

СМЕРШа и прочих "наблюдателей". Правда, политические сюжеты, как правило, оставались за рамками этих разговоров. О чем же все-таки говорили? — "Ругали начальство, как всегда. Почему нет самолетов, почему не хватает снарядов и вообще откуда весь бардак? Но была какая-то терпеливость и понимание, что нет-нет, но наверное, будет"(19).

Как солдаты отзывались о Сталине, о руководстве страны? — "Да никак. Боялись? Нет, солдаты перед лицом смерти были как на исповеди, ничего не боялись. Сталину и высшему руководству мы тогда верили больше, чем своим командирам"(20). Процесс "стихийной десталинизации", начатый войной, не сомкнулся в сознании большинства воевавших с именем Сталина, а потолок критики, как правило, упирался в дивизионное начальство, редко поднимаясь выше и, как исключение, переходя от персональных оценок к политическим обобщениям. Поэтому делать вывод о том, что война открыла глаза народу на сущность режима, было бы исторически неверным. Сама по себе война не изменила в целом отношение к режиму: кто раньше считал его справедливым, еще больше (особенно после победы) уверился в его правоте, у кого и раньше не было иллюзий — их не прибавилось. Психологический эффект войны, как представляется, заключался в другом. Война пробудила в человеке способность вариативно мыслить, критически оценивать ситуацию, а не принимать все сущее как единственную данность. Именно эта способность представляла потенциальную опасность для режима, который был рассчитан в сущности на субъекта, мыслящего в ограниченных пределах дозволенного. С войны же пришел мной человек, который на многое смотрел другими глазами, видел то, чего раньше не замечал, и сомневался в том, что еще не так давно считал самым собой разумеющимся. Процесс психологической переориентации личности ускорился на последнем этапе войны, когда советский солдат перешагнул границу своей страны и соприкоснулся с другой культурой — политической, духовной, экономической. В результате с войны вернулся человек, обладающий опытом и знанием сравнения — что уже немало.

"Контраст между уровнем жизни в Европе и у нас, контраст, с которым столкнулись миллионы воевавших людей, был нравственным и психологическим ударом", — вспоминал К.Симонов(21). В его пьесе "Под каштанами Праги", написанной в 1945 году по "горячим" впечатлениям, есть одна сцена, в которой чешка говорит русскому полковнику: "Вы не должны любить Европу. Вас должны раздражать эти особняки, эти виллы, эти дома с железными крышами. Вы ведь отрицаете это?" На что следует ответ собеседника: "Отрицать можно идеи, отрицать железо, ю крышу нельзя. Коль она железная, так она железная"(22). При-

нятие этой “железной” истины, несмотря на всю ее очевидность, требовало огромной работы: психологический шок должен был постепенно смениться новым видением жизни, в основе которого лежат не идеологические шоры, а реальные факты. В таком мировосприятии любая ситуация получает шанс на вариативность, а значит она в какой-то степени становится зависимой от индивидуального выбора.

Вместе с осознанием вариативности бытия и ценности личного выбора война привнесла в мирную жизнь и другое начало, обусловленное особенностями армейского быта: привычку к командованию и подчинению, строгую дисциплину, безусловную силу приказа. “И еще одно плохое пришло с фронта, — напишет об этом фронтовой корреспондент писатель В.Овечкин, — приказал и все, и наплевать, что думают о тебе подчиненные” (23). На закрепление этой традиции работала государственная структура и политические институты, поэтому после войны именно для ее развития создавалась атмосфера “наибольшего благоприятствования”. Однако и дух свободы, рожденный войной, не мог в этой атмосфере просто раствориться, исчезнуть бесследно: невозможность такого рода “простого” исхода создавала определенный противовес попыткам властей вернуться к довоенному порядку вещей без каких-либо изменений. Насколько серьезным было это противодействие?

Психологическая природа противостояния как формы выражения мыслей и поступков людей вытекает из сущности самой войны. Пожалуй, только на войне психологическая конструкция “мы — они” существует в чистом виде обоюдного неприятия. Императив “убей его!” был главным принципом науки ненависти, которую на войне прошли все. “Они” воспринимались не просто как другое сообщество, а как сообщество безусловно враждебное. Каждый член этого враждебного лагеря подлежал обезличке, т.е. выступал не как отдельный человек, а только как часть общего “они”: естественные человеческие отношения просто не выдержали бы этого взаимоуничтожающего противостояния. “Они” замыкаются во враждебную внешнюю конструкцию, ничего общего не имеющую с той, что объединяется понятием “мы”. “Мы” вырастает из этой абсолютной противоположности и в силу этого тоже является абсолютным, т.е. включает в себя общество в целом, всех его членов, рядовых граждан и руководителей, фронт и тыл. Граница между “мы” и “они” проходит не внутри общества, а за его пределами. Ощущение психологической цельности общества (в котором нет внутренних врагов) у многих наших соотечественников породило определенные надежды на то, что военный мир станет и миром гражданским.

В действительности психологическая ситуация после войны складывалась несколько по-иному: “они” были побеждены и, зна-

чит, прекратили свое существование в качестве объекта противостояния. Сама же конструкция “мы — они”, принявшая к тому времени форму духовной организации жизни, осталась. На месте “они” образовался вакуум. Психологический подтекст развития послевоенных событий протитывался по мере того, как заполнялся этот вакуум. Процесс этот протекал достаточно сложно в зависимости от того, как складывались послевоенные жизненные ориентации, формировались текущие требования и перспективные притязания различных общественных групп.

2. Победа и победители

Проблема перехода от войны к миру — и в экономическом, и в социальном, и в психологическом плане — так или иначе стояла перед всем обществом, перед каждым человеком. Но, пожалуй, в наибольшей степени она затрагивала интересы тех, кто был совершенно оторван от мирной жизни, кто четыре года жил как бы в другом измерении, т.е. интересы фронтовиков. Тяжесть потерь, материальные лишения, переживаемые за малым исключением всеми, для фронтовиков усугублялись дополнительными трудностями психологического характера, связанными с переключением на новые задачи мирного обустройства. Поэтому демобилизация, о которой так мечталось на фронте, для многих обратилась серьезной проблемой. Прежде всего для самых молодых (1923 — 1927 годов р.ж.), т.е. тех, кто ушел на фронт со школьной скамьи, не успев получить профессии, обрести устойчивый жизненный статус. Их единственной профессией стала война, единственным умением — способность держать оружие и воевать. Кроме того, это поколение больше других пострадало численно, особенно в первый военный год. Вообще война до известной степени размывала возрастные границы, и несколько поколений, заполняя свои человеческие потери, соединились фактически в одно — “поколение победителей”, создав таким образом новый социум, объединенный общностью проблем, настроений, желаний, стремлений. Конечно, эта общность была относительной (на войне тоже не было и не могло быть абсолютного единства воевавших), но дух фронтового братства, принесенный с войны, еще долго существовал как важный фактор, влияющий на всю послевоенную атмосферу.

Часто, особенно в публицистике, фронтовики называют “неодекабристами”, имея в виду тот потенциал свободы, который несли в себе победители. Потенциал этот, как известно, не был реализован — во всяком случае напрямую — в первые послевоенные годы, будучи задавлен господствующим режимом. При этом почти никогда не возникает вопрос: а были ли фронтовики

вообще способны реализовать себя как активную силу общественных перемен именно в первые годы после окончания войны? Вопрос этот представляется весьма серьезным; не только в смысле "измерения" запаса прочности потенциала свободы, но и с точки зрения установления момента времени, когда возможные прогрессивные реформы могли бы опереться на достаточно широкую общественную поддержку. Если продолжить аналогию с декабристами (а такая аналогия, несмотря на всю условность, вполне научно обоснована*), то здесь момент времени несет ключевую нагрузку; восстание декабристов отделяет от окончания войны 1812 года состояние более чем в десять лет. И не случайно. Война сама по себе не формирует политических позиций и тем более не создает организационных форм для развития политической деятельности — хотя бы потому, что у войны вообще другие задачи. Война влияет больше на изменение основ духовной жизни, дает импульс к перестройке мышления, т.е. создает нравственно-психологический задел для будущей деятельности. Вопрос о том, как он будет реализован, уже зависит от конкретных условий послевоенных лет. Однако следует признать очевидным, что первые годы после окончания войны — не самое благоприятное время для воплощения идей, так или иначе направленных против существующей власти. Невозможность такого рода открытого столкновения можно объяснить действием следующих факторов.

Во-первых, сам характер войны — отечественной, освободительной, справедливой — предполагает единство общества (и народа, и власти) в решении общей национальной задачи — про-

* Назовем лишь некоторые признаки, позволяющие сделать вывод о корректности подобного сравнения. Перед нами две войны, отличающиеся общностью характера (народный, освободительный), сходной историей развития военных действий, включающей три этапа (1) обороны и отступления в глубь страны; 2) освобождения своей территории от оккупации; 3) заграничный поход) и сходными социально-психологическими последствиями (пробуждение "духа свободы", надежды народа на лучшую жизнь в качестве "награды" за победу, зарождение прогрессивных политических идей в среде интеллигенции и др.). При всей разности конкретно-исторических условий обеих эпох нетрудно отметить относительное тождество между настроениями крестьянства в пользу отмены крепостного права, активизировавшимися после войны 1812 года, и надеждами крестьян 1945-го на роспуск колхозов, в том и другом случае направленных против жесткой государственной зависимости и внеэкономического принуждения.

Обе войны послужили импульсом для переоценки политических ценностей в умах представителей социальных групп, находящихся у власти: постепенно в этой среде оформляется охранительное и реформистское крыло. Последнее отличает общая направленность стержневой идеи — движение от абсолютной власти монарха ("вожди") к власти, ограниченной влиянием демократических институтов — в той или иной степени.

Отличительные войны 1812 и 1941 — 1945 годов вместе с тем имели и ряд отличительных черт, специфика которых должна учитываться при построении моделей развития послевоенной ситуации в том и другом случае.)

тивостояния врагу; поэтому и победа в такой войне воспринимается как общая победа. Спаянная единым интересом, единой задачей выживания общность народ — власть начинает раскалываться лишь постепенно, по мере налаживания мирной жизни, формирования комплекса “обманутых надежд” — снизу и обозначения первых признаков кризиса верхов.

Во-вторых, необходимо учитывать фактор психологического перенапряжения людей, четыре года проведенных в окопах и нуждающихся в психологической разгрузке, в освобождении от экстремальности последних лет. Люди, уставшие разрушать, естественно стремились к созиданию, к миру. Мир на тот момент был высшей ценностью, исключающей насилие в какой бы то ни было форме. “Великая бездомность миллионов людей, именуемая войной, надоедает, — писал с фронта Э.Казакевич, подчеркивая, что война “надоедает не опасностью и риском, а именно этой бездомностью своей” (24). И В.Кетлинская, выступая в мае 1945 г. перед коллегами-писателями, призывала во всей сложности судеб и отношений, созданных войной, видеть “не только гордость победителя, но и большое горе пострадавшего, много пережившего народа” (25).

После войны неизбежно наступает период “залечивания ран” — и физических, и душевных — сложный, болезненный период возвращения к мирной жизни, в которой даже обычные бытовые проблемы, например проблема дома, подчас становятся в разряд неразрешимых. Проблема дома не только в смысле жилья, а прежде всего как проблема жизни, семьи (для многих за годы войны утраченной), становится главной проблемой послевоенного бытия. Ведущей психологической установкой на тот момент для фронтовиков была задача приспособиться к этой жизни, вписаться в нее, научиться жить по-новому. “Всем как-то хотелось наладить свою жизнь, — вспоминает В.Кондратьев. — Ведь надо же было жить. Кто-то женился. Кто-то вступил в партию... Надо было приспособливаться к этой жизни. Других вариантов мы не знали” (26). Возможно, у кого-то и были “варианты”, но для большинства фронтовиков проблема включенности в мирную жизнь имела на тот момент времени исключительно положительную заданность: обстоятельства принимались такими, какие они есть, как данность, в которой предстояло жить.

В-третьих. Восприятие окружающего порядка вещей как данности, формирующее в целом лояльное отношение к режиму, само по себе не означало, что всеми фронтовиками без исключения этот порядок вещей рассматривался как идеальный, или во всяком случае справедливый. И практика предвоенных лет, и опыт войны, и наблюдения во время заграничного похода заставляли размышлять, ставя под сомнение если не справедливость режима как такового, то его отдельные реалии. Однако между фактом не-

удовлетворенности внутренним строем жизни и действием, направленным на изменение этого строя, не всегда существует прямая связь. Для установления такой связи необходимо промежуточное звено, содержащее программную конкретизацию будущих действий: замысел (что имеется в виду получить в результате перемен) и механизмы осуществления этого замысла (как, каким способом могут быть достигнуты первоначально заявленные цели). Этого промежуточного, по сути решающего, программного звена как раз и не хватало. "Мы многое не принимали в системе, но не могли даже представить какой-либо другой", — такое, на первый взгляд, неожиданное признание сделал В.Кондратьев(27). В нем — отражение характерного противоречия послевоенных лет, раскалывающего сознание людей ощущением несправедливости происходящего и безысходностью попыток этот порядок изменить, поскольку он воспринимался как неизменяемая данность, не зависящая от собственной воли, собственных стремлений и желаний.

Все названные факторы позволяют подтвердить вывод о невозможности в первые годы после победы открытого противостояния народа и власти даже со стороны фронтовиков — наиболее активной части общества. Такова была особенность момента. Вместе с тем процесс вызревания политической оппозиции внутри страны имел и свою потенциальную динамику. Это значит, что у него была перспектива, и вполне возможно, что именно фронтовики (конечно, далеко не все, а либерально настроенная часть) могли стать потенциальной опорой и одной из главных движущих сил будущего реформационного процесса. Последнему, как правило, всегда предшествует эмоционально-критический этап, характеризующийся брожением умов и консолидацией активных политических сил. Начало этом процессу положила война. После войны он продолжался, хотя развитие его шло как бы исподволь, заслоненное другими задачами, и получило довольно специфические формы выражения.

Главным образом специфика эта обуславливалась особенностями каналов общения фронтовиков, которые и после войны продолжали тянуться друг к другу, связанные невидимыми нитями военной судьбы и общими нелегкими послевоенными проблемами. Барачная и коммунальная жизнь послевоенных лет создавала малоприспособленные условия для такого рода общения. Поэтому оно проходило, как правило, вне дома — либо в студенческих общежитиях (вернулись с фронта в вузы бывшие студенты, фронтовики пополнили ряды послевоенных абитуриентов), либо — что было гораздо чаще и, пожалуй, тише — в открывшихся после войны небольших кафе, закусокных, пивных (в народе их называли "голубыми дунами"). Именно последние стали теми "островками

общения”, благодаря которым возник совершенно особый феномен послевоенных лет — “шалманная демократия”.

«О, сколько открыла этих щелей, забегаловок, павильонов, шалманов, всех этих “голубых дунаев” разоренная, полунищая страна, чтобы утешить и согреть вернувшихся солдат, чтобы дать им тепло вольного вечернего общения, чтобы помочь им выговориться, отмякнуть душой, поглядеть не спеша в глаза друг другу, осознать, что пришел уже казавшийся недостижимым мир и покой. В немыслимых клинообразных щелях меж облупленными домами, на пустырях, среди барачков, заборов, на прибрежных лужайках выросли эти вечерние прибежища, и тут же народная молва, позабыв о невнятном учетном номере, присвоила каждому заведению точное и несмысленное название, какого не сыщешь ни в одном справочнике(28), «— эта небольшая зарисовка из повести В.Смирнова “Заулки” дает возможность понять, что “голубые дунаи” в жизни людей, вернувшихся с войны, были одновременно и бытом и нечто другим, стоящим над бытом.

Разъединенные житейскими проблемами, они вновь были вместе там, где царил фронтовая ностальгия. И чем безвыходнее и обыденнее становился послевоенный быт, тем острее и очевиднее отпечатывались в сознании фронтовиков ценности войны, особенно те из них, что были связаны с явлением личностного свойства, когда человек был “до необходимости необходим”. Мирная жизнь строилась уже на иных принципах; солдат, который на войне испытал чувство “словно ты один в своих руках судьбу России держишь” после войны вынужден был с горечью признать: “есть я, нету меня, все по-обычному течет”(29). Прежние ценности существовали только в узком дружеском кругу, да еще на маленьких островках “голубых дунаев”. 9 мая 1950 года, — пометил в своем дневнике Э.Казакевич. — “День победы... Я зашел в пивную. Два инвалида и слесарь-водопроводчик... пили пиво и вспоминали войну. Один плакал, потом сказал: Если будет война, я опять пойду...”(30).

Фронтовая ностальгия задавала тон общению в “голубых дунаях”, где откровенность разговоров и чувств была привычной, даже несмотря на присутствие соглядатаев. Там общение по-прежнему строилось по законам войны, а открытость с которой люди делились пережитым, контрастировала с совет ценно противоположными процессами, заполняющими атмосферу внешнюю. Как бы ни относиться к самому факту существования “голубых дунаев”, но они в силу обстоятельств стали последним прибежищем фронтового духа свободы — при всех неизбежных издержках этой специфической среды. Другие каналы были просто перекрыты; и не вина фронтовиков, что вместо свободы истинной им предосадили свободу поговорить — за кружкой пива, да и ту “свободу”

в скором времени отобрали, поставив последнюю точку в растянувшейся на годы кампании по целенаправленному уничтожению потенциала Победы.

Началась эта кампания фактически на другой день после победы, которую сразу же постаралась “поделить”. В первом же послепобедном редакционном (читай: установочном) материале “Правды” распределение ролей выглядело следующим образом: “Победа не пришла сама собой. Она одержана самоотверженностью, героизмом, воинским мастерством Красной Армии и всего советского народа. Ее организовала наша непобедимая большевистская партия, партия Ленина-Сталина, к ней привел нас великий Сталин... Да здравствует наша великая сталинская Победа! (выделено мной — Е.З.)” (31). Итак, победа была названа одновременно “нашей” и “сталинской”, но смысл подтекста был очевиден: “нашей” победа стала только потому, что она изначально была “сталинской”. В том же номере “Правды” в разделе “Вести из страны” победа характеризовалась как “день, предсказанный товарищем Сталиным” (32).

В Обращении к народу самого Сталина акценты были поставлены несколько иначе. Вождь обращался к “соотечественникам и соотечественницам”, отдавая должное народу-победителю: “...Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, — не прошли даром и увенчались полной победой над врагом” (33). В Обращении не было ни слова сказано о партии и ее роли в организации победы. Сталин просто исключил это промежуточное звено между собой и народом.

24 мая Сталин произнес свой знаменитый тост “за здоровье русского народа”, в котором назвал русский народ “руководящей силой Советского Союза среди всех народов нашей страны”, причем говоря о “руководящем народе”, он вновь не обмолвился о “руководящей партии” (34). Спустя месяц, 25 июня, на приеме в Кремле в честь участников парада Победы в сталинской интерпретации появился новый нюанс — положение о “винтиках”. Несмотря на то, что этот тост часто цитируется, выхваченный из общего контекста публикации, он представляет ограниченное поле для анализа. Между тем контекст в данном случае не менее важен, чем содержание тоста. Сталин выступил в заключительной части присяги — после того, как отзвучали здравицы в честь военачальников, организаторов науки, руководителей промышленности. Его речь как бы выбилась из общего ключа: Сталин предложил тост “за здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают “винтиками” великого го-

сударственного механизма, но без которых все мы — маршалы и командующие фронтами и армиями, говоря грубо, ни черта не стоим... Это — люди, которые держат нас, как основание держит вершину” (35). Таким образом Сталин несколько скорректировал свой прежний тезис о единстве вождя и народа, построив отношения между ними на принципе “вершины” и “основания”, одновременно понизив статус “руководящего и великого народа” до народа — “винтика”. Тост заключал в себе и другой смысл: в нем Сталин не только устанавливал принцип иерархической общности между вождем и народом, но и одновременно противопоставлял “простых людей” — “начальникам”, сохранив за собой положение верховного арбитра, центра, где сходятся нити управления и массами, и руководителями.

Еще до того, как вынесенная из войны система жесткого противостояния “мы — они” начнет менять субъекты отношений, Сталин осознанно или подсознательно пытался направить этот процесс в нужное ему русло. Он вычленил себя из общности “мы”, оставаясь за рамками всей конструкции, сохраняя за собой право управления процессом размежевания, в том числе и право определения “наших” и “не-наших”, “своих” и “врагов”. Фактически это был возврат к довоенной системе властных отношений, восстанавливающей абсолютную власть вождя и игнорирующей заслуги истинного творца военной победы: не случайно многие фронтовики говорили о чувстве обиды и горечи, которые вызвало обращение к ним как к “винтикам”. И хотя пропаганда утверждала, что слово вождя о “винтиках” — это “слово дружеское, отеческое” и что “оно поднимает всех наших людей”, — иллюзий подобные заявления не прибавляли.

Особенно мало иллюзий и надежд оставляла реальная жизнь, в которой фронтовики, по их собственным признаниям, чувствовали себя все менее нужными, а некоторые, как инвалиды, и вовсе лишними. Со временем фронтовиков лили или месячных выплат и бесплатного проезда на поездах раз в год — за награды. Инвалиды обязаны были ежегодно проходить медицинское переосвидетельствование — для подтверждения инвалидности. Инвалидность давала право на получение пенсии, на которую не так легко было прожить: нищенство калек — в поездах, на базарах, на привокзальных площадях — стало привычным атрибутом послевоенных городов. Потом нищие стали постепенно исчезать; кто-то поступил на работу в инвалидную артель, кто-то навсегда пропал с глаз в одном из открывшихся в российской глубинке инвалидных домов. Такова была судьба одних.

Другие бывшие фронтовики, напротив, смогли получить хорошую работу, высокую должность, поступить в вуз или продолжить прерванную на время войны учебу. Обретение разного социаль-

ного статуса, несмотря на всю естественность и закономерность этого процесса, все же вносило известную разность интересов в бывшую когда-то более единой фронтовой общность. Однако в истоках глобального явления, которое М.Гефтер определил как "разлом поколения победителей" (36), лежали все-таки процессы духовного, нравственного порядка. Потому что сначала у человека отняли фактически единственное, бесспорное, дарованное войной право — право называться личностью. А вместе с ним — и право на Победу. Отныне творцом победы мог называться только Сталин.

Обоснованию прав Сталина на победу была посвящена специальная редакционная статья "Правды", в которой говорилось: "Еще задолго до современной войны... товарищ Сталин предвидел ход событий... Прозорливо, мудро определил товарищ Сталин программу борьбы советского народа против сильного и коварного врага... На массовые героические подвиги звал советских людей вдохновляющий пример товарища Сталина... Товарищ Сталин является создателем современной военной науки... Счастьем советского народа является то, что в дни тяжелых военных испытаний во главе всех вооруженных сил СССР, во главе советского государства встал величайший мыслитель, организатор, стратег, воплотивший в себе героизм советского народа" (37).

Так складывалась новая концепция победы, которая прошла в своем развитии три этапа: 1) признание равных прав на победу Сталина и народа; 2) переход к иерархической конструкции "Сталин-отец" — "народ-винтик"; 3) растворение народной победы в имени Сталина, который становится ее символом, ее по сути единственным живым носителем ("Сталин, воплотивший в себе героизм советского народа"). Строился очередной миф, а наряду с подлинной историей Великой Отечественной войны начинала свою жизнь история мифологизированная. Поскольку же война была не просто историческим событием, но и большим явлением духовной жизни, противоречия "двух войн" (со временем трансформировавшиеся в более общую проблему "двух прав"), тоже стали феноменом общественного духа, который, несмотря на лозунги-заклинания, уже не был — не мог быть — единым. Потому что существовали не только трансляторы той правды, которая была выгодна режиму (ее еще называли "большой правдой"), но и живые носители правды невыгодной ("окопной"), которые, движимые нравственным чувством, несли миру свою истину, оформившуюся в целое направление "лейтенантской прозы". Таков был один из путей реализации потенциала поколения победителей: в духовной сфере было сохранено то ценное, что принес опыт войны — чувство истинного гражданства, которому не было выхода в реальной политической жизни.

3. "Как жить после войны?": противоречия ожидаемого и реального

Война изменила лицо мира, нарушила привычное течение судьбы многих народов. Общая угроза сблизила их, отодвинула на второй план прежние споры, сделала несущим старую вражду и борьбу самолюбий. Мировая катастрофа, не принимающая в расчет доводы в пользу ни одной из общественных систем, в качестве своего парадокса явила миру приоритет общечеловеческих ценностей, идею мирового единства. Сразу после окончания войны эта идея как будто бы начала реализовываться, смягчая противоречия в рядах недавних союзников и умеряя пыл особо активных реваншистов. И даже пришедшая на смену потеплению "холодная война", последующий атомный психоз не могли вовсе сбросить со счетов реальность идеи Общего Дома. Именно эта идея начала питать процесс, который позднее назовут конвергенцией. И надо признать, что западные политики оказались более восприимчивы к реалиям послевоенного мира, нежели держава-победительница. Едва открыв "окно в Европу", там поспешили опустить "железный занавес", обрекая страну на годы изоляции, а значит — и несвободы. Нашим соотечественникам оставалось только догадываться, что действительно происходило в мире, а затем с горечью удивляться тому, как недавно поверженный противник быстро вставал на ноги, налаживая новую, крепкую жизнь, а победителей по-прежнему держали на полуголодном пайке, оправдывая все и вся ссылкой на последствия войны.

Так было. Однако это еще не значит, что так и должно было быть. Победа предоставила России возможность выбора — развиться вместе с цивилизованным миром или по-прежнему искать "свой путь" в традициях социалистического мессианства. Правда, существование подобной альтернативы нередко оспаривается. Историк В.Чубаров, например, считает, что "после Великой Победы советский народ окончательно потерял возможность относительно безболезненного (типа венгерского) перехода к демократическому обществу", подтверждая свою точку зрения ссылкой на огромные потери и необратимые социально-психологические изменения, работавшие исключительно на закрепление господствующего режима (38).

Сам факт военной победы действительно поднял на небывалую высоту международный престиж Советского Союза и авторитет режима внутри страны. "Опьяненные победой, зазнавшиеся, — писал в этой связи писатель, фронтовик Ф.Абразов, — мы решили, что наша система идеальная, ... и не только не стали улучшать ее, а наоборот, стали еще больше догматизировать" (39). Русский философ Г.Федотов, размышляя о влиянии роста авто-

ритета Сталина на развитие внутривластных процессов, тоже приходил к малоутешительному выводу: "Наши предки, общаясь с иностранцами, должны были краснеть за свое самодержавие и свое крепостное право. Если бы они встретили повсеместно такое же раболепное отношение к русскому царю, какое проявляют к Сталину Европа и Америка, им не пришлось бы в голову задуматься над недостатками в своем доме" (40).

Поговорка "победителей не судят!" — не оправдание, но повод для раздумий. Как у Виктора Некрасова: "Увы! Мы простили Сталину все! Коллективизацию, тридцать седьмые годы, расправу с соратниками, первые дни поражения. И он, конечно же, понял теперь всю силу народа, поверившего в его гений, понял, что нельзя его больше обманывать, что только суровой правдой в глаза можно все объединить, что к потокам крови прошлого, не военного, а довоенного, возврата нет. И мы, интеллигентные мальчишки, ставшие солдатами, поверили в этот миф и с чистой душой, открытым сердцем вступили в партию Ленина — Сталина" (41). Май 1945 года — пик авторитета Сталина, имя которого в сознании большинства современников не только сливалось с Победой, но и сам он воспринимался как чуть ли не носитель божественного промысла. Военный корреспондент А. Авдеенко вспоминал, как он пришел на парад Победы вместе с маленьким сыном: "Беру сына на руки, поднимаю. Мавзолеем в десяти метрах или чуть больше. Трибуна и все, кто на ней, как на ладони. Видишь? — Ага. Под дождем стоит. Старенький. Не промокнет? — Закаленная сталь не боится дождя. — Значит, стальной человек? Поэтому и называется Сталин? — Человек обыкновенный. Воля стальная. — Папа, почему он не радуется, он на кого-то рассердился? — На бога, наверное. Не послал нам хорошую погоду. — А почему Сталин не приказал богу сделать нам хорошую погоду?..." (42).

Сталин-человек к тому моменту уже настолько растворился в имидже вождя, что остался по сути один этот имидж — живой идол. Массовое сознание, чадившее идола — как и положено — мистической силой, одновременно освятило все, что с этим идалом идентифицировалось — будь то авторитет системы или авторитет идеи, на которой держалась система. Такова была противоречивая роль Победы, которая принесла с собой дух свободы, но наряду с этим создала психологические механизмы, блокирующие дальнейшее развитие этого духа, механизмы, которые стали консерваторами позитивных общественных процессов, зародившихся в особой духовной атмосфере военных лет.

В Германии проходил во многом обратный процесс: там военное поражение стало импульсом критического переосмысления прошлого, итогов более чем десятилетнего господства фашистской диктатуры. "Я думаю, что нам, немцам, очень повезло, что мы

были побеждены, — говорил в интервью “Литературной газете” Фери фон Лимпенфельд. — ...Нам было что реставрировать — нашу Веймарскую республику...”(43). Это мнение, думается, не стоит расценивать как умаление значения победы советского оружия. Речь о другом: эйфория победы не самый благоприятный настрой для того, чтобы говорить о недостатках. А это мешает конструктивному анализу ситуации, хотя и не сводит шансы подобного анализа вовсе к нулю.

Будь иначе, вряд ли тот же Г.Федотов, представляя себе все сложности прогрессивной трансформации советского режима, все-таки написал в 1945 г.: “Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России. Не в том, конечно, смысле, существует ли она в СССР, — об этом могут задумываться только иностранцы, и то слишком невежественные. Но в том, возможно ли ее возрождение там после победоносной войны, мы думаем все сейчас — и искренние демократы, и полуфашистские попутчики”(44). Задаваясь вопросом “возможно ли?”, ни Федотов, ни другие трезвомыслящие умы внутри страны и за ее пределами, не давали на него однозначного ответа и не представляли себе путь демократических изменений в СССР в виде одномоментного поворота. Просто они расценивали послевоенную ситуацию как шанс для развития подобного поворота, хотя и считали его небольшим.

Демократические традиции во внутренней жизни страны были очень слабы, политические структуры и способ организации духовной жизни тяготели к авторитарным формам и не были восприимчивы к разному реду новациям. Но война, открывшая окно в мир, дала возможность учиться на опыте демократических государств Европы и Америки. Не случайно М.Гефтер, имея в виду процессы эволюции сознания людей на войне, писал: “Да, это наше — русское, российское, советское, но это еще и Мир, вошедший в нас тогда...”(45) Война расширила пределы сознания, а вместе с тем и зону “субъективного всемогущества”, в которой человек был потенциально готов реализовать себя. Весной сорок пятого “люди не без основания считали себя гигантами”, — делился своими ощущениями Э.Казакевич(46).

С этим настроем фронтовики вошли в мирную жизнь, оставив, как им тогда казалось, за порогом войны самое страшное и тяжелое. Однако действительность оказалась сложнее, совсем не такой, какой она виделась из окопа. “В армии мы часто говорили о том, что будет после войны, — вспоминает журналист Б.Галин, — как мы будем жить на другой день после победы, — и чем ближе было окончание войны, тем больше мы об этом думали, и многое нам рисовалось в радужном свете. Мы не всегда представляли себе размер разрушений, масштабы работ, которые придется провести, чтобы залечить нанесенные немцами раны”(47).

“Жизнь после войны казалась праздником, для начала которого нужно было только одно — последний выстрел”, — как бы продолжал эту мысль К.Симонов(48). Иных представлений трудно было ждать от людей, четыре года находящихся под психологическим прессом чрезвычайной военной обстановки, сплошь и рядом состоящей из нестандартных ситуаций. Вполне понятно, что “нормальная” жизнь, где можно “просто жить”, не подвергаясь ежеминутной опасности, в военное время виделась как подарок судьбы. Война в сознании людей — фронтовиков и тех, кто находился в тылу, привнесла переоценку и довоенного периода, до известной степени идеализировав его. Испытав на себе лишения военных лет, люди, часто подсознательно, скорректировали и память о прошедшем мирном времени, сохранив хорошее и забыв о плохом. Желание вернуть утраченное подсказывало самый простой ответ на вопрос “как жить после войны?” — “как до войны”.

“Жизнь-праздник”, “жизнь-сказка” — с помощью этого образа в массовом сознании моделировалась и особая концепция послевоенной жизни — без противоречий, без напряжения, стимулом развития которой был фактически только один фактор — надежда. И такая жизнь существовала; но только в кино и книгах. Интересный факт: за время войны и в первые послевоенные годы в библиотеках отмечался рост спроса на литературу приключенческого жанра и даже сказки(49). С одной стороны, подобный интерес объясняется изменением возрастного состава работающих и пользующихся библиотеками; за время войны на производство пришли подростки (на отдельных предприятиях они составляли от 50 до 70% занятых). После войны читательскую аудиторию библиотеки приключений пополнили молодые фронтовики, процесс интеллектуального роста которых прервала война и которые в силу этого после фронта вернулись к юношескому кругу чтения. Но есть и другая сторона этого вопроса: рост интереса к такого рода литературе и кинематографу был своеобразной реакцией отторжения той жестокой реальности, которую несла с собой война. Нужна была компенсация психологическим перегрузкам. Поэтому еще на войне можно было наблюдать, свидетельствует, например, фронтовик М.Абдулин, “страшную жажду всего, что не связано с войной. Нравился немудрящий фильм с танцами и весельем, приезд артистов на фронт, юмор”(50). Жажда мира, подкрепленная верой, что жизнь после войны быстро будет меняться к лучшему, сохранялась на протяжении трех — пяти послевоенных лет.

Огромным успехом у зрителей пользовался фильм “Кубанские казаки” — самый популярный из всех послевоенных кинолент. Сейчас фильм подвергается резкой и во многом справедливой критике за его несоответствие реальности. Но критика подчас забывает, что у фильма “Кубанские казаки” есть своя правда, что

этот фильм-сказка несет весьма серьезную информацию ментального характера, передающую дух того времени. Журналист Т.Архангельская вспоминает интервью с одной из участниц съемок фильма; та рассказывала, как голодны были эти нарядные парни и девушки, на экране весело рассматривавшие муляжи фруктов, изобилие из папье-маше, а потом добавила: "Мы верили, что так и будет и что всего много будет — и велосипедов, и седел, и чего захочешь. И нам так нужно было, чтобы все было нарядно и чтобы песни пели" (51).

Надежда на лучшее и питаемый ею оптимизм задавали ударный ритм началу послевоенной жизни, создавая особую — полупобедную — общественную атмосферу. "Все мое поколение, за исключением разве некоторых, переживало трудности, — вспоминал то время известный строитель В.П.Сериков. — Но духом не падали. Главное — война была позади. Была радость труда, победы, дух соревнования" (52). Эмоциональный подъем народа, стремление приблизить своим трудом по-настоящему мирную жизнь позволили довольно быстро решить основные задачи восстановления. Однако этот настрой, несмотря на его огромную созидательную силу, нес в себе и тенденцию иного рода: психологическая установка на относительно безболезненный переход к миру ("самое тяжелое — позади!"), восприятие этого процесса как в общем непротиворечивого, чем дальше, тем больше вступали в конфликт с реальной действительностью, которая не спешила превращаться в "жизнь-сказку".

Война, прошедшая по территории страны, оставила тяжелое наследие, это было очевидно, однако не все послевоенные трудности вписывались в категорию объективных. Проводимые в 1945 — 1946 годах инспекторские поездки ЦК ВКП(б) зафиксировали целый ряд "ненормальностей" в материально-бытовых условиях жизни людей, прежде всего жителей промышленных городов и рабочих поселков. В декабре 1945 года проприупла Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) провела такое инспектирование предприятий угольной промышленности Щекинского района Тульской области. Результаты обследования оказались весьма неутешительными. Условия жизни рабочих были признаны "очень тяжелыми"; особенно плохо жили репатриированные и мобилизованные рабочие. Многие из них не имели нательного белья, а если оно было, то ветхое и грязное. Рабочие месяцами не получали мыла, в общежитиях большая теснота и скученность, рабочие спали на деревянных топчанах или двухъярусных нарах (за эти топчаны администрация вычитала 48 рублей из ежемесячного заработка рабочих, что составляло его десятую часть). Рабочие получали в день 1200 граммов хлеба, однако, несмотря на до-

статочность нормы, хлеб был плохого качества: не хватало масла и поэтому хлебные формы смазывали нефтепродуктами(53).

О плохом продовольственном снабжении рабочих говорили многочисленные сигналы с мест. Группы рабочих из Пензы и Кузнецка обращались с письмами к В.М.Молотову, М.И.Калинину, А.И.Микояну, в которых содержались жалобы на тяжелые материально-бытовые условия, отсутствие большинства необходимых продуктов и товаров(54). По этим письмам из Москвы выезжала бригада Наркомторга, признавшая по результатам проверки жалобы рабочих обоснованными(55). В Нижнем Ломове Пензенской области рабочие завода N 255 выступали против задержки хлебных карточек, а рабочие фанерного завода и спичечной фабрики жаловались на длительные задержки заработной платы(56). Тяжелые условия труда после окончания войны сохранялись на реконструируемых предприятиях: приходилось работать и под открытым небом, и, если дело было зимой, по колено в снегу. Помещения часто не освещались и не отапливались. В зимнее время положение усугублялось еще и из-за того, что людям часто нечего было одеть. По этой причине, например, секретари ряда обкомов Сибири обратились в ЦК ВКП(б) с беспрецедентной просьбой: разрешить им не проводить 7 ноября 1946 года демонстрацию трудящихся, мотивируя свою просьбу тем, что "население недостаточно обеспечено одеждой"(57).

Сложная ситуация складывалась после войны и в деревне. Если город не так страдал от недостатка рабочих рук (там главная проблема заключалась в налаживании труда и быта уже имеющих рабочих), то колхозная деревня помимо материальных лишений испытывала острый недостаток в людях. Все наличное население колхозов (с учетом возвратившихся по демобилизации) к концу 1945 года уменьшилось на 15% по сравнению с 1940 годом, а число трудоспособных — на 32,5%(58). Особенно заметно сократилось количество трудоспособных мужчин (от 16,9 миллиона в 1940 году их к началу 1946 года осталось 6,5 миллиона)(59). За годы войны сократились посевные площади, что не могло не сказаться на уровне урожайности. Продуктивность колхозного земледелия снижалась в результате ухудшения обработки земли, падения культуры агротехники. По сравнению с предвоенным временем понизился и уровень материальной обеспеченности колхозников: если в 1940 году для распределения по трудодням выделялось в среднем по стране около 20% зерновых и более 40% денежных доходов колхозов, то в 1945 году эти показатели сократились соответственно до 14 и 29%(60). Оплата эта в ряде хозяйств выглядела чисто символической, а значит, колхозники, как и до войны нередко работали "за палочки". Настоящим бедствием для деревни стала засуха 1946 года, охватив-

шая значительную часть Европейской территории СССР. В этом засушливом году в большинстве колхозов, оказавшихся в районе засухи, вообще не выдавалось зерновых на трудодень (61). Последствия не замедлили сказаться на настроениях колхозников.

“На протяжении 1945 — 1946 г. я очень близко столкнулся, изучил жизнь ряда колхозов Брянской и Смоленской области. То, что я увидел, заставило меня обратиться к Вам, как к секретарю ЦК ВКП(б), — так начал свое письмо, адресованное Г.М.Маленкову, слушатель Смоленского военно-политического училища Н.М.Меньшиков. — Как коммунисту мне больно выслушивать от колхозников такой вопрос: “Не знаете, скоро ль распустят колхозы?”. Свой вопрос, как правило, они мотивируют тем, что “жить так нет сил дальше”. И действительно, жизнь в некоторых колхозах невыносимо плохая. Так, в колхозе “Новая жизнь” (Брянской обл.) почти половина колхозников уже по 2 — 3 месяца не имеют хлеба, у части нет и картошки. Не лучше положение и в половине других колхозов района. Это присуще не только для этого района” (62).

“Изучение положения дел на местах показывает, — шел аналогичный сигнал из Молдавии, — что голод охватывает все большее количество сельского населения... Необычайно высокий рост смертности, даже по сравнению с 1945 г., когда была эпидемия тифа. Основной причиной высокой смертности является дистрофия. Крестьяне большинства районов Молдавии употребляют в пищу различные недоброкачественные суррогаты, а также трупы павших животных. За последнее время имеются случаи людоедства... Среди населения распространяются эмигрантские настроения” (63).

В 1946 году произошло несколько заметных событий, так или иначе растревоживших общественную атмосферу. Вопреки достаточно распространенному мнению, что в тот период общественное мнение было исключительно молчаливым, действительные свидетельства говорят о том, что это утверждение не вполне справедливо. В конце 1945 — начале 1946 года проходила кампания по выборам в Верховный Совет СССР, которые состоялись в феврале 1946 года. Как и следовало ожидать, на официальных собраниях люди в основном высказывались “за” выборы, безусловно поддерживая политику партии и ее руководителей. Как и раньше, на избирательных бюллетенях в день выборов можно было встретить здравицы в честь Сталина и других членов правительства. Но наряду с этим встречались суждения совершенно противоположного толка.

Вопреки официальной пропаганде, подчеркивающей демократический характер выборов, люди справедливо видели за этой вывеской очередную фикцию и говорили об этом: “Государство напрасно тратит средства на выборы, все равно оно проведет тех, кого захочет” (П.И.Чепко, Воронежская область), “Все равно по-

нашему не будет, они что напишут, за то и голосуют” (В.Ф.Савельев, рабочий, Воронежская область). “У нас слишком много средств и энергии тратится на подготовку к выборам в Верховный Совет, а сущность сводится к простой формальности — оформлению заранее намеченного кандидата” (В.Д.Кузнецов, землеустроитель, Пензенская область). “Предстоящие выборы нам ничего не дадут, вот если бы они проводились, как в других странах, то это было бы другое дело” (А.М.Мутихин, рабочий, Пензенская область). “В избирательный бюллетень включают только одну кандидатуру, это нарушение демократии, так как при желании голосовать за другого, все равно будет избран указанный в бюллетене” (С.П.Боков, техник, Пензенская область)(64).

В народе по поводу выборов распространялись слухи, причем самые разные. Например, в Воронеже ходили разговоры: списки избирателей проверяются для того, чтобы выявить неработающих для посылки в колхозы. Люди закрывали свою квартиру и уходили из дома, чтобы не попасть в эти списки(65). В то же время за уклонение от выборов полагались специальные санкции; в высказываниях некоторых людей прочитывается прямое осуждение такого рода “палочной” демократии: “Выборы проводятся неверно, дается один кандидат на выборный район, а избирательный бюллетень контролируется каким-то особым способом. В случае нежелания голосовать за определенного кандидата, зачеркнуть нельзя, это будет известно НКВД и отправят куда следует” (Игнатъев, Феодосия). “У нас в стране нет никакой свободы слова, если я сегодня что-нибудь скажу о недостатках в работе советских органов, то меня завтра же посадят в тюрьму” (Михайлов, Новгородская область)(66).

Невозможность высказать открыто свою точку зрения, не опасаясь при этом санкций властей, рождала апатию, а вместе с ней — субъективное отчуждение от властей: “Кому нужно, тот пусть и выбирает, и изучает эти законы (имеюся в виду законы о выборах — Е.З.), а нам и так все это надоело, выберут и без нас” (К.С.Седов, рабочий, Пензенская область). “Выбирать я не собираюсь и не буду. Я от этой власти ничего хорошего не видел. Коммунисты сами себя назначили, пусть они и выбирают” (И.П.Сотников, служащий, Пензенская область)(67).

В ходе обсуждения и разговоров люди высказывали сомнения в целесообразности и своевременности проведения выборов, на которые затрачивались большие средства, в то время как тысячи людей находились на грани голода: — “О неубранном на полях хлебе не заботятся, а уже начали “звонить” о перевыборах правительства. Пользы от этого никому нет” (Р.В.Дворянинов, кровельщик, Пензенская область). “Чем заниматься бездельем, они лучше накормили бы народ, а выборами не накормишь” (А.С.Маркелов, рабочий, Пензенская область). “Выбирают-то они

хорошо, а вот хлеба в колхозах не дают" (А.В.Зимняков, рабочий, Пензенская область) (68).

Вопросы аналогичного содержания задавались агитаторам и пропагандистам: "Что делать избирателям, если выдвинутая кандидатура не нравится?"; "Какие меры будут приняты к тем, кто откажется принять участие в голосовании?" (69). Были попытки выдвижения незапланированных кандидатов. Большой популярностью при такого рода выдвижениях пользовался маршал Г.К.Жуков, чей авторитет в народе соперничал разве что с авторитетом Сталина. Случаи "самодеятельности" такого рода были не столь редки. Косвенно они свидетельствовали о падении в народе авторитета коммунистической партии, ее руководителей, за исключением Сталина и его ближайшего окружения. О наличии подобных настроений говорили и слухи о самороспуске партии, которые наряду с разговорами о скором роспуске колхозов были после войны достаточно распространены. Наблюдалось и некоторое оживление реставрационных, промонархистских настроений. Среди крестьянства ходили разговоры: "Эти выборы пойдут на пользу коммунистов, а вот когда будут распущены колхозы, мы будем голосовать за Михаила, брата Николая" (70).

Подобные мысли помимо критического аспекта содержали и положительный момент: по-своему они отразили начавшийся в массовом сознании поиск нового лидера, отбор которого должен был проходить не по формальным (как принадлежность к партии) признакам, а по критериям его реальной дееспособности, проверенной, например, в практике минувшей войны. Не случайно авторитет Сталина в народе был связан не столько с его положением в качестве главы государства, сколько с его образом вождя-победителя. Поэтому под огонь критики, как правило, попадали местные власти: районные партийные работники, председатели колхозов, директора предприятий (именно этот слой чаще всего попадал под отчужденную категорию "они").

Сильным катализатором роста недовольства была дестабилизация общей экономической ситуации, прежде всего ситуации на потребительском рынке, идущей еще со времен войны, но в то же время имеющей и послевоенные причины. Последствия засухи 1946 года ограничили объем товарной массы хлеба. Но и без того тяжелое положение с продовольствием усугубилось из-за проведенного в сентябре 1946 года повышения пайковых цен, т.е. цен на товары, распределяемые по карточкам. Одновременно сокращался контингент населения, охваченный карточной системой: численность снабжаемого населения, проживающего в сельской местности, с 27 миллионов человек была сокращена до 4 миллионов, в городах и рабочих поселках с пайкового снабжения хлебом были сняты 3,5 миллиона неработающих взрослых иждивен-

цев и 500 тысяч карточек ликвидировалось за счет упорядочения карточной системы и ликвидации злоупотреблений. Всего расход хлеба по пайковому снабжению был сокращен на 30% (71).

В результате подобных мер были не только снижены возможности гарантированного снабжения людей основными продуктами питания (прежде всего хлебом), но и возможности приобретения продовольственных товаров на рынке, где цены быстро поползли вверх (особенно на хлеб, картофель, овощи) (72). Возросли масштабы спекуляции хлебом. В ряде мест дело доходило до открытого выражения протеста. Наиболее болезненно известие о повышении пайковых цен встретили низкооплачиваемые и многодетные рабочие, женщины, потерявшие мужей на фронте: "Питание обходится дорого, а семья из пяти человек. Семье денег не хватает. Ждали, будет лучше, а теперь опять трудности, да когда же мы их переживем?" (Бердников, рабочий, Москва). "Как пережить трудности, когда не хватает денег на то, чтобы выкупить хлеб"? (Петрова, работница, Москва). "От продуктов придется или отказаться, или выкупать их на какие-то другие средства, о покупке одежды нечего и думать" (Мантарова, работница, Москва). "Раньше мне было тяжело, но я имела надежду на продкарточки с низкими ценами, теперь и последняя надежда пропала и мне придется голодать" (Зайцева, работница, Москва) (73).

Еще более откровенными были разговоры в очередях за хлебом: "Нужно теперь больше воровать, иначе не проживешь". "Новая комедия — зарплату повысили на 100 рублей, а цены на продукты повысили в три раза. Сделали так, чтобы выгодно было не рабочим, а правительству". "Мужей и сыновей убили, а нам вместо облегчения повысили цены". "С окончанием войны ждали улучшения положения и дождались улучшения, сейчас стало жить труднее, чем в годы войны" (74).

Обращает на себя внимание непритязательность желаний людей, требующих всего лишь установления прожиточного минимума, и ничего сверх того. Мечты военных лет о том, что после войны "всего будет много" и наступит счастливая жизнь, начали довольно быстро приземляться, девальвироваться, а набор благ, входящих в "предел мечтаний" оскудел настолько, что зарплата, дающая возможность прокормить семью и комната в коммунальной квартире уже считались подарком судьбы. Но миф о "жизни-сказке", живущий в обыденном сознании и, кстати, поддерживаемый мажорным тоном всей официальной пропаганды, любые трудности преподносящей как "временные", часто мешал адекватному усвоению причинно-следственных связей в цепи волнующих людей событий. Поэтому, не находя видимых причин для объяснения "временных" трудностей, которые попадали бы под категорию объективных, люди искали их в привычных чрезвы-

чайных обстоятельствах. Выбор и здесь был не слишком широк, все трудности послевоенного времени объяснялись последствиями войны. Не удивительно, что осложнение ситуации внутри страны тоже связывалось в массовом сознании с фактором войны — теперь уже будущей. На собраниях часто звучали вопросы: “Будет ли война?”, “Не вызвано ли повышение цен сложной международной обстановкой?” (75). Некоторые высказывались и более категорично: “Настал конец мирной жизни, надвигается война, вот и цены повысили. От нас это скрывают, а мы-то ведь разбираемся. Перед войной всегда цены повышают” (Романова, колхозница, Боровичский район) (76). Что касается слухов, то здесь народная фантазия вообще не знала границ: “Америка порвала мирный договор с Россией, скоро будет война. Говорят, что в город Симферополь доставили уже эшелоны с ранеными”. “Я слышал, что война идет уже в Китае и в Греции, куда вмешались Америка и Англия. Не сегодня-завтра нападут и на Советский Союз” (77).

Война в народном сознании еще долго будет восприниматься как главное мерило трудностей жизни, а приговорка “только бы не было войны” — служить надежным оправданием всех лишений послевоенного времени, которым кроме нее не было уже никаких разумных объяснений. После того, как мир переступил черту “холодной войны”, эти настроения только усилились; они могли держаться под спудом, но при малейшей опасности или намске на опасность сразу давали себя знать. Например, уже в 1950 году во время войны в Корее активизировались панические настроения среди жителей Приморского края, которые считали, что раз поблизости идет война, значит она не минует границ СССР. В результате из магазинов стали исчезать товары первой необходимости (спички, соль, мыло, керосин и др.): население создавало долговременные “военные” запасы (78).

Одни видели причину повышения пайковых цен осенью 1946 года в приближении новой войны, другие — считали подобное решение несправедливым по отношению к итогам войны прошедшей, по отношению к фронтовикам и их семьям, пережившим тяжелое время и имющим право на нечто большее, чем полуголодное существование. Во многих высказываниях на этот счет нетрудно заметить и чувство оскорбленного достоинства победителей, и горькую иронию обманутых надежд: “Жизнь-то краше становится, веселее. На сто рублей зарплату увеличили, а 600 отняли. Довосвались, победители!” (А.П.Лопатин, служащий). “Ну, вот и дожили. Это называется забота о материальных нуждах трудящихся в четвертую сталинскую пятилетку. Теперь понятно нам, почему по этому вопросу собрания не проводят. Бунты будут, восстания, и рабочие скажут: “За что воевали?” (П.М.Емельянов, секретарь парторганизации) (79).

Однако несмотря на наличие весьма решительных настроений, на тот момент времени они не стали преобладающими: критической массы не хватило, чтобы произошел взрыв. Слишком сильной оказалась тяга к мирной жизни, слишком серьезной — усталость от борьбы, в какой бы то ни было форме, слишком велико было стремление освободиться от экстремальности и связанных с ней резких поступков. Кроме того, несмотря на скепсис некоторых людей, большинство продолжали доверять руководству страны, верить, что оно действует во имя народного блага. Поэтому трудности, в том числе и те, что принес с собой продовольственный кризис 1946 года, чаще всего — если судить по отзывам — воспринимались современниками как неизбежные и когда-нибудь преодолимые. Достаточно типичными были высказывания вроде следующих: “Хотя и трудно будет жить низкооплачиваемым рабочим, но наше правительство, партия никогда ничего плохого для рабочего класса не делали” (Прокопович, грузчик, Сталинская область). “Мы вышли победителями из войны, окончившейся год тому назад. Война принесла большие разрушения и жизнь не может сразу войти в нормальные рамки. Наша задача — понять проводимое мероприятие Совета Министров СССР и поддержать его” (Школьский, профессор, Москва). “Мы верим, что партия и правительство хорошо продумали проводимое мероприятие с тем, чтобы быстрее ликвидировать временные трудности. Мы верили партии, когда под ее руководством боролись за советскую власть, верим и теперь, что проводимое мероприятие временное...” (Бородич, демобилизованный, Москва) (80).

Обращает на себя внимание мотивировка негативных и “одобрительных” настроений: первые опираются на реальное положение вещей, вторые же — идут исключительно от веры в справедливость руководства, которое “никогда ничего плохого для рабочего класса не делало”. Можно определенно сказать, что политика центра первых послевоенных лет строилась исключительно на кредит доверия со стороны народа, который после войны был достаточно высок. С одной стороны, использование этого кредита позволило руководству стабилизировать со временем послевоенную ситуацию и в целом обеспечить переход страны от состояния войны к состоянию мира. Но с другой стороны, доверие народа к высшему руководству дало возможность последнему оттянуть решение жизненно важных реформ и впоследствии фактически блокировать тенденцию демократического обновления общества. Однако вовсе не считаться с наличием критических настроений в народе центр тоже не мог. Первым своего рода итогом обоюдных — сверху и снизу — поисков решения послевоенных экономических и социальных проблем стала реформа 1947 года.

4. Денежная реформа 1947 года: взгляд "сверху" и "снизу"

Одним из первых следствий войны стало расстройство финансовой системы. Инфляционные процессы, усугубляемые критической ситуацией на потребительском рынке, расширение зоны натурального обмена свидетельствовали о прогрессирующем обесценивании рубля и ставили под угрозу срыва программу восстановления экономики. Наряду с инфляцией на состоянии государственной казны сказывалось и постепенное сокращение источников денежных поступлений от населения: с окончанием войны был отменен военный налог, сократилось перечисление компенсации за неиспользованные рабочими и служащими отпуска в качестве специальных вкладов в сберкассы, прекратилось добровольное поступление средств в фонд Красной Армии.

Первой попыткой как-то поправить финансовое положение страны стал государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР, выпущенный в мае 1946 года. Общая сумма займа составляла 20 млрд. рублей, разместить его предполагалось следующим образом: 12,5 млрд. рублей среди городского населения и 5,5 млрд. руб. — среди сельского (81). В письме наркома финансов СССР А.Г.Зверева, направленном в марте 1946 года наркомам финансов союзных и автономных республик, заведующим красвыми и областными финотделами специально отмечалось: "Стремясь к завершению размещения займа в короткий срок, не следует, однако, проявлять излишнюю торопливость в этом деле... Быстрые темпы размещения займа должны в полной мере сочетаться с высоким уровнем массово-разъяснительной и организационной работы по займу" (82). Однако несмотря на предупредительные рекомендации, на местах, как это не раз бывало при проведении крупных государственных акций, часто брала верх линия на форсирование подписки на займ. Психология перегиба давала свои очередные рецидивы: правилом становились случаи вызова работников "для беседы" в парткомы и завкомы, после чего оформлялась "добровольная" подписка на займ в размере недельной, месячной, а иногда — и двухмесячной зарплаты. Конечно, подобные методы работы не прибавляли авторитета ни администрации предприятий, и кампании подписки в целом. Но главное, займ не мог решить долгосрочной задачи восстановления финансовой системы, хотя и позволил сосредоточить в руках государства часть средств, направленных впоследствии на реконструкцию.

Следующим шагом в налаживании нормального денежного обращения должна была стать денежная реформа. У этой реформы, проведенной в 1947 году, была сложная судьба: типично экономическая акция проводилась с серьезным политическим подтекстом.

стом, в результате чего пропагандистские цели заслоняли собой подчас экономическую целесообразность. Изначально денежная реформа была поставлена в зависимость от другой акции — отмены карточной системы. Отмена карточек, превратившихся в своеобразный символ военных лет, должна была, по мнению советских руководителей, продемонстрировать силу и выносливость советской экономики. А для этого необходимо было провести акцию отмены раньше, чем в других странах, вынужденных во время войны тоже прибегнуть к нормированному снабжению населения (к числу таких стран принадлежали Англия, Франция, Италия, Австрия). Первоначально отмена карточек планировалась на 1946 год (83), и только продовольственный кризис осени того же года отодвинул реализацию этого решения. Вместе с тем не вполне справедливым будет объяснять поспешность, с которой была проведена отмена карточек, только издержками пропаганды.

На форсировании этого мероприятия сказались не только позиция руководства, заботящегося о своем престиже в глазах мировой общественности, но и определенный прессинг снизу, подталкивающий центр к подобному решению. В обыденном сознании война и карточки оказались слитыми таким тесным образом, что сохранение карточек рассматривалось как чуть ли не главная причина продовольственных трудностей военных лет. Случаи разного рода злоупотреблений, неизбежные при нормированной распределительной системе, только усиливали эти настроения. Идея отмены карточек в народе приобрела еще большую популярность после повышения в 1946 году пайковых цен. Достаточно типичны были высказывания такого рода, относящиеся к лету-осени 1947 года: "Самым наболевшим вопросом является вопрос с продовольствием. Всюду слышатся разговоры: когда же отменят карточную систему или хотя бы откроют коммерческую торговлю хлебом и крупой?" (Худяков, рабочий); "Отмены карточек на хлеб ожидают все рабочие и служащие. Это общее настроение. А когда будет хлеб, тогда снизятся цены и на другие продукты на рынке" (Гармаш, инженер) (84). Многие рабочие выражали надежду на отмену карточек уже к концу 1947 года (85).

Однако взгляд на отмену карточной системы как на абсолютную панацею не был всеобщим: как свидетельствуют разговоры в рабочей среде, многие не надеялись на способность торговых организаций противостоять спекуляции и высказывались поэтому за сохранение карточек хотя бы в обозримом будущем, при одновременном увеличении норм выдачи хлеба. "Сейчас тяжело с хлебом, недостает, — приводил свои аргументы забойщик шахты из Челябинской области Ковалев. — А если отменят карточки, то может быть еще хуже. Спекулянты будут делать свое дело и мы можем остаться без хлеба" (86).

У идеи отмены карточной системы, как видно, были сторонники, были и противники (хотя последние обсуждали не идею в принципе, а только сроки ее воплощения), но сам факт отмены карточек в конце 1947 года ни для кого не был неожиданным. Действительную растерянность большинства людей вызвал сопутствующий этой акции фактор — денежная реформа.

Реформа, вспоминал А.Г.Зверев, готовилась в обстановке строгой секретности под личным контролем Сталина(87). Задуманная как антиинфляционная мера, она на практике свелась к рестрикционному мероприятию, т.е. изъятию у населения так называемых “лишних” денег, прежде всего наличных. Считалось, что в результате реформы пострадают спекулятивные элементы, а трудящиеся останутся в выигрыше. Что же произошло на деле?

В действительности тайна информации о реформе была довольно быстро нарушена.” На местах,— вспоминал Зверев,— после получения специального пакета с документами о денежной реформе, на котором стоял гриф “Вскрыть только по получении особого указания”, у отдельных местных сотрудников любопытство перетянуло служебный долг. Пакеты были вскрыты раньше времени”(88). Таким образом, некоторые хозяйственные и партийные работники узнали о реформе накануне, что позволило им принять предупредительные меры и обезопасить наличность. Еще раньше на предстоящую реформу отреагировали “теневики”, переведя большую часть своих денег в золото, драгоценности, недвижимость. Слухи о реформе, особенно накануне (реформа была проведена в ночь с 14 на 15 декабря 1947 года) просочились и в народ. Началась предреформенная лихорадка.

“Уже несколько дней народу на улицах тьма, — описывает это время В.Кондратьев, — все магазины — и коммерческие, и комиссионные, и промтоварные — облеплены очередями. Позавчера на бывшей Никольской в магазине “Оптика” брали нарасхват бинокли. Прекрасные цейсовские бинокли — мечта всех средних командиров на фронте — покупали теперь какие-то бабенки, мужички, и брали не один-два — десятками, по сто рублей за штуку. Уже неделю, как в сберкассах толкотня, кто вносил деньги, кто брал, не известно же никому, чем обернется реформа и как лучше... Ну, а вечером рестораны коммерческие штурмовались с боя, крики, брань, чуть ли не потасовки у дверей... Конечно, по вечерним улицам Москвы бродил не только те, кому деньги потратить надо. Других... подхватывала какая-то тревожная и в то же время праздничная волна — все гуляют, ну и интересно пойти посмотреть. А кто-то просто последние сотни-две решил спустить, потому как начнется новая жизнь, с новыми деньгами и без карточек, чего уж старые деньги безречь”(89).

Ощущение тревожной праздничности, замешанной на чувстве неуверенности, питалось двумя составляющими: с одной стороны, отмена карточек в сознании людей ассоциировалась с возвратом к мирной жизни, но с другой стороны — никто не знал, какой будет эта новая мирная жизнь — лучше или хуже старой, довоенной. Положение несколько прояснилось на другой день после реформы: на прилавках коммерческих магазинов (прежде всего столичных) появилось почти довоенное изобилие. Однако при этом цены на многие потребительские товары массового спроса, в том числе на одежду, обувь, трикотажные изделия, значительно увеличивались по сравнению с пайковыми(90). Цены на продовольственные товары были в целом выше довоенных и, за исключением необходимого минимума, недоступными для большинства населения (их покупали только по “особому случаю”).

Вопреки официально заявленным целям, реформа, по мнению некоторых специалистов, чувствительно ударила по наиболее квалифицированным трудящимся, а также по занятым на тяжелых и вредных работах, в сельском хозяйстве, по тем группам населения, средства и сбережения которых редко носили форму вкладов в сберкассы и были представлены в основном наличностью(91). По расчетам экономиста А.Улюкаева, сумма вкладов на тот момент времени была в 14 — 15 раз меньше годового фонда заработной платы рабочих и служащих(92).

Несмотря на то, что реформа сократила объем наличных денег у населения, с ее помощью так и не удалось ликвидировать диспропорцию между спросом и предложением. Если в столичных городах удавалось поддерживать необходимый уровень товарных запасов (по этому поводу было принято специальное постановление Совета Министров СССР от 29 ноября 1947 года), то в других городах и регионах положение на потребительском рынке складывалось просто критическое. Причем в разряд дефицитных товаров попадал прежде всего хлеб. В результате на местах стихийно начала восстанавливаться нормированная система снабжения — в виде карточек, заборных книжек, специальных пропусков.

Подобное положение вещей не могло не тревожить людей. В одной из публикаций, подготовленных Ю.Аксеновым и А.Улюкаевым, приводятся документальные свидетельства — письма рабочих и служащих в Центральный Комитет ВКП(б), газету “Правда”, из которых можно составить представление о реальном состоянии дел по ряду областей и городов страны после отмены карточной системы: “В очередях у хлебных магазинов происходит ужасная картина, установили “десятки”, выделили бригадиров и наблюдателей у входа. Рабочий получает на 3 — 4 суток 2 кг хлеба. Ежедневно происходит мордобитие. Все это создает ужасное положение рабочих” (г.Семипалатинск); “В городе Спаске

исключительно плохое снабжение хлебом. Чтобы получить хлеб, надо отстоять в очереди с утра и до следующего утра. Я инвалид войны, ввиду своего здоровья не могу лезть в давку, и потому я и моя семья из 5 человек вот уже 10 дней не видим хлеба" (Рязанская область); "Нас — рабочих — снижение цен не коснулось. Икру мы не покупаем, а мотоциклы и автомобили нас вообще не интересуют. Лучше снизили бы цены на жиры, обувь, одежду" (г.Москва)(93).

Отмена карточек не оправдала связанных с этой акцией надежд: жизнь в одночасье не переменилась. Пожалуй, за все послевоенное время это был первый случай прямого столкновения реальной действительности с психологической установкой на возможность ее относительно безболезненного изменения. Многие наши соотечественники всерьез верили, что достаточно принять одно правильное решение — простое и мудрое — и все трудности военного лихолетья останутся позади. Отмена карточек в массовом сознании и была образцом этого единственно правильного и простого решения. На выбор такого же решения были нацелены и поиски центра: реформа 1947 года была с одной стороны, популистской (отмена карточек, демонстрация витрин, пропагандистская кампания вокруг реформы и т.д.), а с другой — единовременной и одиночной акцией, за которой не было программной концепции. Содержание реформы убеждает, что механизм ее выработки основывался главным образом на законах функционирования "панацейного мышления", в целом характерного для обыденного сознания: стремлении одномоментного выхода из сложной ситуации, тяготении к простым, прямым причинно-следственным связям, поиске решения, снимающем проблему раз и навсегда. Однако то, что свойственно, а потому прощительно обыденному сознанию, вряд ли может быть оправдано в действиях руководства, берущего на себя функцию мозга страны. Тем более, что в его силах было, поскольку денежная реформа действительно назрела, принять специальные меры по смягчению социальных последствий обмена денег для малообеспеченных слоев населения. Эти меры приняты не были. Отрицательный эффект реформы кроме того усилил фактор неготовности населения к снижению жизненного уровня, что в общем неизбежно при проведении денежных реформ рестрикционного характера. Об этом снижении люди не только не были предупреждены (а для этого совсем не обязательно было предавать реформу гласности во всех деталях, достаточно было просто осветить и обсудить в печати различные ее варианты), напротив, все усилия государственной пропаганды были направлены на то, чтобы подать реформу как очередное свидетельство заботы партии и правительства о народном благе.

Реальное и идеальное пришли в противоречие, на основе которого формируется комплекс "обманутых надежд". Поскольку этот комплекс возникает на совершенно определенной почве — как реакция на конкретную реформу — то обыденное сознание и фиксирует его совершенно конкретно — по отношению к реформе. Причем, как и любому уровню общественного сознания, обыденному тоже свойственен механизм обобщения. В результате такого обобщения формируется отношение людей уже не к конкретной реформе, а к реформам вообще, и к денежным реформам в особенности. Основу этого отношения определяет опыт, в данном случае отрицательный опыт реформы 1947 года, в процессе усвоения которого обыденное сознание закрепляет в себе недоверие к реформам как к акту с непредсказуемыми последствиями. Пока это не устойчивый и не всеохватывающий комплекс недоверия (хотя бы потому, что в народе еще не утрачена вера в правильность действий руководства), а скорее импульс, мотив, который меняет и психологическую установку на процесс перемен как таковой. Установка на то, что в результате перемен (реформ) все изменится к лучшему, постепенно меняется на осторожно-предупредительную — как бы не было хуже. Подобная трансформация не означает, что надежда на лучшее как субъективная реальность перестает существовать. Она просто меняет условия своего существования: опасения "как бы не было хуже" усиливают в общем восприятии действительности элемент пассивности. Этот элемент становится тормозом развития процесса общественных преобразований.

Установка на ожидание лучшей жизни, пассивная в своей основе, позволяла делегировать права на устройство этой жизни управляющему центру. Можно утверждать, что эмоциональный подъем, охвативший общество после победы, мог стать самым благоприятным психологическим фоном для проведения прогрессивных преобразований. Но при условии — что эти преобразования будут инициированы сверху. Со своей стороны центр нуждался в импульсе снизу, определяющим вектор потенциальных перемен. Настрой на лучшую жизнь, чтобы быть реализованным, требовал конкретной программной расшифровки. Нужна была общественная сила, которая могла бы взять на себя роль "возмутителя спокойствия" и достаточно четко сформулировать свои требования. Только в таком обиходном контакте — сверху и снизу — мог быть запущен механизм реформ.

Важно было определить и направление будущих реформ — реставрационную или инновационную. Этот выбор в конечном счете зависел от того, какая психологическая установка одержит верх — та, что нацеливалась на восстановление довоенного порядка вещей ("жить, как до войны") или та, что определяла собой движение вперед. Последняя в свою очередь также была вариативна,

поскольку включала в себя вопрос о качестве наследования прошлого: взять его на вооружение или решительно порвать с прошлой традицией. В зависимости от решения этого вопроса движение к реформам могло получить положительную или отрицательную заданность.

5. Политика “жесткой руки”: возможности трансформации

Иногда приходится слышать, что сорок пятый год — это год сплошных иллюзий. И пустых надежд, которым не суждено было сбыться. Действительно, в реальной жизни потенциал прогрессивных перемен, рожденный послевоенными ожиданиями, довольно быстро был блокирован с помощью усиления “жесткого” курса. Таковы факты. Однако у каждого факта есть своя логика развития, которая может быть вариативной. Хотя бы отчасти.

В 1946 году закончила работу комиссия по подготовке проекта новой Конституции СССР. В проекте, выдержанном в общем и целом в рамках довоенной политической доктрины, вместе с тем содержался ряд прогрессивных положений — особенно в плане развития прав и свобод личности, демократических начал в общественной жизни. Признавая государственную собственность господствующей формой собственности в СССР, проект Конституции допускал существование мелкого частного хозяйства крестьян и кустарей, “основанное на личном труде и исключаящее эксплуатацию чужого труда” (94). В предложениях и откликах на проект Конституции (он был разослан специальным порядком в республики и наркоматы) звучали идеи о необходимости децентрализации экономической жизни, предоставлении больших хозяйственных прав на места и непосредственно наркоматам. Поступали предложения о ликвидации специальных судов военного времени (прежде всего, так называемых “линейных судов” на транспорте), а также военных трибуналов. И хотя подобные предложения были отнесены редакционной комиссией к категории нецелесообразных (причина: излишняя детализация проекта), их выдвижение можно считать вполне симптоматичным.

Аналогичные по направленности идеи высказывались и в ходе обсуждения проекта Программы ВКП(б), работа над которым завершилась в 1947 году. Эти идеи концентрировались в предложениях по расширению внутрипартийной демократии, освобождению партии от функций хозяйственного управления, разработке принципов ротации кадров и др. (95) Поскольку ни проект Конституции СССР, ни проект Программы ВКП(б) не были опубликованы и обсуждение их велось в относительно узком кругу

ответственных работников, появление именно в этой среде достаточно либеральных по тому времени идей свидетельствует о новых настроениях части советских руководителей.

Правда, во многом это были действительно новые люди, пришедшие на свои посты перед войной, во время войны или год-два спустя после победы. Условия военного времени диктовали особую кадровую политику — со ставкой на людей смелых, инициативных и, главное, высокопрофессиональных. Их знания, опыт, способность к риску создавали благоприятную почву для развития и вполне радикальных настроений. И если подобные настроения еще недостаточно фиксируют официальные документы, то материалы частного характера (переписка, разговоры) могут раскрыть немало интересного и необычного.

О чем думали, чем делились между собой люди, волею судьбы ближе других своих соотечественников стоявшие к власти? Что тревожило их мысли — особенно тогда, в первый послевоенный год?

28 декабря 1946 года оперативной техникой министерства госбезопасности был “подслушан” разговор двух генералов — В.Гордова и Ф.Рыбальченко — на квартире одного из них. Перед нами — не просто диалог. Перед нами — смертный приговор. Цена откровения.

Рыбальченко: Вот жизнь настала — ложись и умирай! Не дай бог еще неурожай будет.

Гордов: А откуда урожай — нужно же посеять для этого.

Рыбальченко: Осимый хлеб пропал, конечно. Вот Сталин ехал поездом, неужели он в окно не смотрел? Как все жизнью недовольны, прямо все в открытую говорят, в поездах, везде прямо говорят.

Гордов: Эх! Сейчас все построено на взятках, подхалимстве...

Рыбальченко: Да, все построено на взятках. А посмотрите, что делается кругом, — голод неимоверный, все недовольны. “Что газеты — это сплошной обман” — вот так все говорят... Нет самого необходимого. Буквально нищими стали... Я вот удивляюсь, неужели Сталин не видит, как люди живут?

Гордов: Он все видит, все знает.

Рыбальченко: Или он так запутался, что не знает, как выпутаться?!

Гордов: За что браться, Филипп? Ну что делать?..

Рыбальченко: ...Надо, по-моему, начинать с писанины, бомбардировать хозяина.

Гордов: Что с писанины — не пропустят же...

Рыбальченко: ...Нет, мне все-таки кажется, что долго такого положения не просуществует, какой-то порядок будет...

Эта политика к чему-нибудь приведет. В колхозах подбирают хлеб под метелку. Ничего не оставляют, даже посевного материала.

Гордов: Почему, интересно, русские катятся по такой плюскости?

Рыбальченко: Потому что мы развернули такую политику, что никто не хочет работать. Надо прямо сказать, что все колхозники ненавидят Сталина и ждут его конца.

Гордов: Где же правда?

Рыбальченко: Думают, Сталин кончится — и колхозы кончатся...

Гордов: Но народ молчит, боится.

Рыбальченко: И никаких перспектив, полная изоляция.

Гордов: Никак мы не можем осуществить лозунга: "Пролетарии всех стран, соединитесь!" ...Все пошло насмарку!

Рыбальченко: Да, не вышло ничего.

Гордов: Вышло бы, если все это своевременно сделать. Нам нужно было иметь настоящую демократию.

Рыбальченко: Именно, чистую, настоящую демократию, чтобы постепенно все это сделать. А то все разрушается, все смсшалось — земля, лошади, люди...(96)

Суд состоялся только в августе 1950-го. По обвинению в измене Родине и антисоветской деятельности генералы В.Гордов и Ф.Рыбальченко были расстреляны. Виновными они себя не признали.

Осознание критичности положения, в котором пребывает страна, потребность в действии, направленном на изменение этого положения, сомнения в способности правительства, в том числе и самого Сталина, осуществить необходимые перемены — все это приводило умы в состояние беспокойства, проверяя прежние убеждения на прочность, веру — на истинность. Немногие тогда перешли черту, отделяющую сомнение от понимания. И лишь единицы прошли путем познания до конца. Что же касается разногласий внутри руководящего слоя, то они сводились по преимуществу не столько к выбору той или иной концепции развития (она определялась господствовавшей доктриной и не подлежала обсуждению), сколько к определению условий реализации этой концепции — более "жестких" или более "мягких". В конкретно-исторических условиях послевоенного времени это тоже имело значение: в конечном счете речь шла о пределах сохранения карательных функций режима, а вместе с тем и о возможностях трансформации его в сторону либерализации.

Эти возможности были весьма ограничены из-за крайнего консерватизма идеологических принципов, благодаря устойчивости которых охранительная линия имела безусловный приоритет. Теоретической основой "жесткого" курса в сфере идеологии можно считать принятое в августе 1946 года постановление ЦК ВКП(б)

“О журналах “Звезда” и “Ленинград”, которое хотя и касалось области художественного творчества, фактически было направлено против общественного инакомыслия как такового. “Как я помню, и в конце войны, и сразу после нее, и в сорок шестом году, — вспоминал К.Симонов, — довольно широким кругам интеллигенции... казалось, что должно произойти нечто,двигающее нас в сторону либерализации — ...ослабления, большей простоты и легкости общения с интеллигенцией — хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против общего противника... В общем, существовала атмосфера некой идеологической радужности...”(97) Постановление 1946 года заметно рассеяло радужную оболочку этих надежд, подведя своего рода теоретическую базу под отношения власти и интеллигенции.

Однако одной только “теорией” дело не ограничилось. В марте 1947 года по предложению А.А.Жданова было принято постановление ЦК ВКП(б) “О судах чести в министерствах СССР и центральных ведомствах”, согласно которому создавались особые выборные органы “для борьбы с проступками, роняющими честь и достоинство советского работника”(98). Одним из самых громких дел, прошедших через “суд чести”, было дело профессоров Н.Г.Клюевой и Г.И.Роскина (июнь 1947 г.), авторов научной работы “Пути биотерапии рака”, которые были обвинены в антипатриотизме и сотрудничестве с зарубежными фирмами. За подобные “прегрешения” в 1947 году выносили пока еще общественные выговоры (таковы были полномочия “судов чести”), но уже в этой превентивной кампании угадывались основные подходы будущей борьбы с космополитизмом.

Одновременно с усилением идеологического контроля были приняты меры по укреплению “жесткой” линии в правовой сфере: 4 июня 1947 года Верховный Совет СССР издал специальный Указ, предусматривающий ужесточение ответственности за “хищения государственной собственности”, по которому обвиненные в “хищениях” могли получить 25 лет лагерей (вместо 10 лет по ранее действовавшему Указу от 7 августа 1932 года). Впервые в советской юридической практике Указ 1947 года предусматривал уголовную ответственность за “бытовое недоносительство” о хищениях государственного и колхозного имущества.

Однако все эти меры на тот момент времени еще не успели оформиться в очередную кампанию против “врагов народа”. Ситуация вообще не складывалась столь однозначно: в сентябре 1947 года, например, на совещании представителей коммунистических партий в Польше Г.М.Маленков, представлявший вместе с А.А.Ждановым советскую делегацию, высказался в том духе, что внутриполитическая обстановка в стране после войны коренным образом изменилась и “вся острота классово-борьбы для СССР

передвинулась теперь на международную арену”(99). На том уровне подобное заявление могло расцениваться как позиция советского руководства в целом. Хотя на самом деле оно свидетельствовало скорее о неустойчивости данной позиции; окончательный выбор еще не был сделан.

О колебаниях руководства говорит и тот факт, что сторонники самых крайних мер, “ястребы”, как правило, не получали поддержки. Известно, например, что Л.З.Мехлис, ставший после войны министром Госконтроля, потребовал предоставить министерству право проводить окончательное следствие по различным хозяйственным нарушениям, а затем сразу, минуя прокуратуру, передавать дела на виновных в суд. Его предложение принято не было(100).

Поскольку путь прогрессивных изменений политического характера был заблокирован, сузившись до возможных (и то не очень серьезных) поправок на либерализацию, наиболее конструктивные идеи, появившиеся в первые послевоенные годы, касались не политики, а сферы экономики: Центральный Комитет ВКП(б) получил не одно письмо с интересными, подчас новаторскими мыслями на этот счет. Среди них есть примечательный документ 1946 года — рукопись “Послевоенная отечественная экономика”, принадлежащая С.Д.Александру (беспартийному, работавшему бухгалтером на одном из предприятий Московской области). Суть его предложений сводилась к следующему: 1) преобразование государственных предприятий в акционерные или паевые товарищества, в которых держателями акций выступают сами рабочие и служащие, а управляет полномочный выборный совет акционеров; 2) децентрализация снабжения предприятий сырьем и материалами путем создания районных и областных промснабов — вместо снабсбытов при наркоматах и главках; 3) отмена системы госзаготовок сельскохозяйственной продукции, предоставление колхозам и совхозам права свободной продажи на рынке; 4) реформа денежной системы с учетом золотого паритета; 5) ликвидация государственной торговли и передача ее функций торговым кооперативам и паевым товариществам(101).

Эти идеи можно рассматривать в качестве основ новой экономической модели, построенной на принципах рынка и частичного разгосударствления экономики, весьма смелой и прогрессивной для того времени. Правда, идеям С.Д.Александра пришлось разделить участь других радикальных проектов: они были отнесены к категории “вредных” и списаны в “архив”. Центр, несмотря на известные колебания, в принципиальных вопросах, касающихся основ построения экономической и политической моделей развития, сохранял стойкую приверженность прежнему курсу. Поэтому центр был восприимчив лишь к тем идеям, которые не затрагивали основ несущей конструкции, т.е. не покушались на

исключительную роль государства в вопросах управления, финансового обеспечения, контроля и не противоречили главным постулатам идеологии. Добиться каких-либо позитивных сдвигов можно было только при соблюдении этих весьма жестких принципов. Свобода маневра была в данном случае очень ограниченной, но это еще не значит, что она отсутствовала совсем.

Война открыла дверь законам здравого смысла, действие которых стимулировало принятие практических решений. Например, как это было сделано в отношении биологической науки. Как известно, после поражения сторонников академика Н.И.Вавилова и утверждения позиций академика Т.Д.Лысенко в стране было фактически приостановлено развитие генетических исследований. Положение начало меняться лишь к концу войны. Как свидетельствуют архивные изыскания историка В.Д.Есакова(102), именно в этот период положение Лысенко становится все более неустойчивым. "Дело было не только в том, что его брат перешел на сторону оккупантов и после войны остался на Западе, — пишет В.Д.Есаков, — и даже не в том, что к руководству Академией Наук СССР пришел С.И.Вавилов — брат Н.И.Вавилова. Важнейшее значение имело упрочение международного сотрудничества, как закономерное продолжение военного и политического взаимодействия великих держав в рамках антигитлеровской коалиции"(103). Используя эти объективные обстоятельства, один из последователей Вавилова — академик А.Р.Жебрak, пытался сразу после войны восстановить утраченные позиции генетики. Вероятно, его усилия встретили понимание у руководителей партии, потому что Жебрak был назначен заведующим отделом Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). Что же касается Лысенко, то само пребывание его в президиуме Академии Наук в связи с приближением новых выборов находилось под вопросом: внутри президиума АН по отношению к Лысенко сложилась влиятельная оппозиция. Поэтому начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф.Александров вынужден был специально обратиться к В.М.Молотову и Г.М.Маленкову с просьбой дать необходимые указания членам президиума АН и провести серьезную работу с академиками, чтобы кандидатура Лысенко на выборах получила нужное большинство голосов(104).

Лысенко был избран на новый срок, но его власть в биологической науке потеряла свой абсолюt: президиум АН в 1946 году вошел в правительство с предложением об организации нового Института генетики и цитологии (наряду с существовавшим лысенковским Институтом генетики), а в ходе выборов в состав Академии Наук (ноябрь-декабрь 1946 г.) членом-корреспондентом АН СССР был избран сторонник Вавилова Н.П. Дубинин(105). Постепенно начинало меняться общее настроение ученых-генетиков: в ЦК ВКП(б)

и редакции специальных журналов шли статьи и письма с критикой Лысенко и его программы. Информировав ЦК о настроениях научной общественности, заведующий отделом науки ЦК С.Г.Суворова в докладной записке на имя А.А.Жданова писал: "Многие биологи заявляют, что они фактически лишены возможности обсуждать важные вопросы биологии и защищать теоретические позиции в науке, против которых выступает в печати Лысенко, что создалась монополия одного направления в биологии. Ученые отмечают, что в силу этого создается видимость официального одобрения теоретических взглядов т.Лысенко в области биологии... Полагаю, что обсуждение спорных биологических вопросов в специальной печати было бы полезно для развития науки" (106).

Активизация интеллектуальных сил в послевоенный период была заметна не только в биологической науке. Размышляли о своих проблемах писатели, пытаясь разрешить вечный вопрос о правде жизни и правде искусства (позднее эти мысли найдут выход в литературной дискуссии 1948 года). Искали новые тенденции в духовной жизни послевоенных лет кинематографисты. "В 20-х и 30-х годах мы создавали много картин о советских людях, — говорил на совещании в ЦК в апреле 1946 года известный кинорежиссер И.П.Пырьев. — Содержание этих людей, их внутренний мир для нас был понятен..., а сейчас, делая картины или смотря картины своих товарищей, думается, что наши люди 1945 — 1946 годов во многом старше по своему душевному миру, чем люди 30-х годов. Получается, ... что мы где-то потеряли дух нового советского человека, мы все еще находимся в 30-х годах" (107).

Мысль о духовном взрослении человека, прошедшего через опыт войны, заслуживает особого внимания, поскольку в ней — ключ к разгадке многих послевоенных проблем. Та жажда перемен, которая охватила страну после победы, питалась вполне естественным импульсом: общество, выросшее из прежних "одежд", требовало новых форм организации своей жизни. Отсюда — стремление к раскрепощению — мысли, духа, действий. Пока еще очень робкое, но кто знает, как могло пойти дело дальше, если бы те первые импульсы не были тогда погашены.

Ведь были и вполне реальные прорывы. Например, в теории социализма — "святая святых" мира идеологии. В 1947 году в Высшей партийной школе прочитал курс лекций Э.Н.Бурджалов. Лекции посвящались проблемам восточноевропейских стран, называемых странами народной демократии. Приведем несколько выдержек из стенограммы лекции Бурджалова, прочитанной в ноябре 1947 года: "Марксизм — не догма, а руководство к действенной жизни... Изучить законы легко, гораздо труднее учитывать живую жизнь... Общие закономерности исторического развития, раскрытые Лениным и Сталиным, полностью подтвердились жизнью. Но

конкретная обстановка в период и после второй мировой войны сложилась гораздо сложнее и своеобразнее, чем это можно было предвидеть... В некоторых странах социализм уже поставлен в порядок дня, но как поставлен? Не совсем так, как был поставлен у нас... Пути перехода к социализму для некоторых стран наметились иные, чем были у нас: не обязательно через диктатуру пролетариата" (108). Чуть позднее этот последний тезис будет расценен как "подкоп под ленинизм" (109), не говоря уже о положительных отзывах Бурджалова об опытах Тито и Карделя в Югославии. Идеологическая сфера по-прежнему оставалась наиболее консервативной, болезненно реагирующей даже на самые робкие атаки своих главных постулатов.

Однако и там не все было абсолютно устойчиво. Идеология, воинственно нетерпимая к разного рода инакомыслию, тоже вынуждена была считаться с жизненными реалиями, отступая от жестких принципов абсолютной власти. Об этом свидетельствует, например, изменение отношения государства к религии и церкви. Оживление религиозного движения во время войны продолжалось и в первые послевоенные годы. В ряде регионов отмечалась даже некоторая активизация церковной жизни по сравнению с военным временем. Так, в Покровском соборе г. Куйбышева было совершено церковных браков в 1940 году — 139, 1944 г. — 403, 1945 г. — 867 и в первом полугодии 1946 года — 1258 (110). Увеличилось число посещений церкви причем не только женщинами, но и мужчинами, особенно в возрасте 20 — 40 лет (111). Подобный всплеск религиозного движения после войны можно считать закономерным: часто люди находили в вере необходимую точку опоры, утраченную вместе с потерей близких, семьи, дома. Процесс был массовым, что стало одной из причин изменения общей политики государства по отношению к церкви.

В 1943 году при СНК СССР был создан Совет по делам русской православной церкви, который призван был осуществлять контроль за проведением религиозной политики. В течение 1945 — 1946 годов Совет разрешил открытие 290 молитвенных зданий, а специальным постановлением СНК СССР от 26 августа 1945 года было узаконено существование на территории СССР 100 православных монастырей, ликвидированных в 30-е годы, а во время войны восстановленных и заселенных прежними обитателями (112). В период войны духовенство организовало сбор пожертвований в фонд Красной Армии, а после окончания войны — на восстановление народного хозяйства, помощь сиротам и семьям погибших. Были случаи привлечения служителей культа к проведению агитационной кампании по выборам в Верховный Совет СССР, которые, правда, Совет по делам русской православной церкви расценил как "неправильные" (113). Вместе с тем Совет

критиковал местные власти за пренебрежительное отношение к проблемам верующих, считая факты грубого вмешательства советских органов в дела церкви (запрещение отдельных служб, закрытие церквей и т.д.) "ошибками и извращениями" (114).

Лояльное отношение государственной власти к церкви объяснялось прежде всего реальными условиями и масштабами развития послевоенного религиозного движения (например, под отдельными ходатайствами об открытии церквей стояло более трех тысяч подписей верующих). Но в конечном счете эта политика работала на укрепление авторитета режима, авторитета Сталина, о чем свидетельствует поступление в адрес правительства писем от верующих следующего содержания: "Помолившись в день освящения ... храма, открытого по Вашему соизволению, свидетельствуем Вам, всеми обожаемый Иосиф Виссарионович, нашу глубочайшую признательность и искреннюю сердечную благодарность и беззаветную Вам преданность" (115).

Патернализм властей был избирательным и касался главным образом русской и православной церкви, в то время как представители других конфессий находились в худшем положении. Как правило, они плохо контактировали с властями, саботировали выборы и другие официальные государственные мероприятия. Но представляя собой меньшинство (а иногда — и единицы) они не были серьезной оппозиционной силой, что же касается православного большинства России, то оно в результате либеральной политики властей проявляло себя по отношению к режиму почти исключительно лояльно.

Разногласия между церковью и государством вообще не носили политического характера, т.е. не касались проблем власти. Речь шла о возможном смягчении государственной религиозной политики как реакции на изменение послевоенной ситуации, и вся трансформация проводилась исключительно в интересах государства, для завоевания политических симпатий верующих. Надо признать, что властями в данном случае была продемонстрирована достаточная гибкость, умение искать и находить необходимые компромиссы. Насколько долговременной оказалась эта способность — вот главный вопрос, выходящий за рамки собственно религиозной политики и упирающийся в более общую проблему — готовности властей трансформировать "жесткий" курс и по другим направлениям.

Но власти не спешили обнародовать свои стратегические программы. Выжидали. Ждал перемен к лучшему народ. Ожидательно-выжидательная установка стала господствующей в послевоенной общественной атмосфере, настрой которой определялся тремя составляющими: эйфорией победы, горечью утрат и надеждой на лучшую жизнь. Потенциал возможных перемен складывался на

том этапе скорее из предчувствий и набора не слишком притязательных требований, нежели из готовых к реализации идей. Эти идеи имели хождение в послевоенном обществе, но они не получили массового социального носителя. Что же касается массовых критических настроений, то они, как правило, отражали недовольство лишь отдельными сторонами практической жизни людей и не успели оформиться в программные требования.

Общим для массовых настроений и идей-одинок была их зависимость от поведения центра: центр и в том, и в другом случае рассматривался как единственный инициатор и проводник реформ. Тот в свою очередь колебался между выбором "мягкой" и "жесткой" линии, между консерваторами и модернистами. Сами эти колебания довольно быстро обнаружили допустимые пределы трансформации прежнего курса — в рамках старой системы политических, идеологических и экономических координат.

И все-таки наиболее благоприятный момент для начала реформ или хотя бы начала продвижения к реформаторскому курсу центром был упущен. Исползуя кредит доверия народа и ситуацию приоритетности восстановительных задач власти откладывали принятие решений, способных заложить основы будущей модернизации. Вместо курса на обновление общества народу была предложена концепция "временных трудностей", которые, если следовать логике центра, должны были разрешиться чуть ли не сами собой. Ход удался: настроения людей, несмотря на наличие острых критических высказываний, более тяготели к согласию "еще потерпеть", т.е. к осознанному пониманию реальных сложностей послевоенной обстановки. Так произошло совпадение интересов: нежелание кардинальных перемен со стороны центра и готовности народа с этими переменами "повременить". Общественный консенсус был достигнут. Но он не мог быть долговременным, поскольку сама концепция "временных трудностей" предполагала исчерпание этих трудностей. Рано или поздно должен был приблизиться критический момент, связанный с исчерпанием объективной обусловленности периода выживания. Хронологически он пришелся на рубеж 1947 — 1948 годов.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Адамович А., Брыль Я., Колесник В. "Я из огненной деревни...". Минск, 1977; Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. М., 1979; Алексиевич С. У войны не женское лицо. Повести. М., 1988.

2. Бакланов Г. Пядь земли. Повести. Рассказы. М., 1978; Быков В. Дожить до рассвета. Обелиск. Повести. М., 1973; Он же. Пойти и не вернуться. М., 1979; Некрасов В. В окопах Сталинграда. Повесть. Рассказы. М., 1990; Кондратьев В. Сашка. Повести. Рассказы. М., 1989 и др.

3. Симонов К. Письма о войне 1945 — 1979 гг. М., 1990. С.78.

4. Алексеев С. Не потерять бы... Размышления о настоящем, к которым при-
мешаны грусть об утратах прошлого и тревога за наше будущее // Советская куль-
тура. 1990. 15 декабря.
5. Войтоволский Л. Очерки коллективной психологии. Ч.1. Сиб., 1924. С.49.
6. Тард Г. Общественное мнение и толпа. М., 1902. С.160.
7. Гефтер М. В предчувствии прошлого // Век XX и мир. 1990. N 9. С.34.
8. Украденная победа // Комсомольская правда. 1990. 5 мая.
9. Там же.
10. Шел солдат... // Комсомольская правда. 1990. 28 апреля.
11. Кондратьев В. Парадоксы фронтовой ностальгии // Литературная газета.
1990. 5 мая. С.9.
12. Там же.
13. Астафьев В. Высота войны // Литературная газета. 1991. 19 июня. С.1.
14. Цит. по: Кондратьев В. Парадоксы фронтовой ностальгии // Литературная
газета. 1990. 5 мая. С.9.
15. Симонов К. Письма о войне: 1943 — 1979 гг. С.80 — 81.
16. Гефтер М. "Сталин умер вчера..." // Иного не дано. М., 1988. С.305.
17. Гефтер М. От анти-Сталина к не-Сталину: непройденный путь // Осмыслить
культ Сталина. М., 1989. С.501.
18. Украденная победа // Комсомольская правда. 1990. 5 мая.
19. Интервью с В.Кондратьевым. Личный архив автора.
20. Война, которую не знали. Из дневника, прокомментированного самим ав-
тором 45 лет спустя // Советская культура. 1990. 5 мая.
21. Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В.Сталине
// Знамя. 1988. N 3. С.48.
22. Там же.
23. Овечкин В.В. Статьи, дневники, письма. М., 1972. С.203.
24. Казакевич Э.Г. Слушая время. Дневники, записные книжки, письма. М.,
1990. С.259.
25. РГАЛИ. Ф.631. Оп.15. Д.737. Л.86.
26. Интервью с В.Л.Кондратьевым. Личный архив автора.
27. Кондратьев В. Не только о своем поколении // Коммунист. 1990. N 7. С.115.
28. Смирнов В. Заулки. Повесть // Роман-газета. 1989. N 3 -- 4. С.8.
29. Цит. по: Кондратьев В. Парадоксы фронтовой ностальгии // Литературная
газета. 1990. 9 мая. С.9.
30. Казакевич Э.Г. Указ.соч. С.28.
31. Правда. 1945. 9 мая.
32. Там же.
33. Там же. 10 мая.
34. Там же. 25 мая.
35. Там же. 27 мая.
36. Гефтер М. "Сталин умер вчера..." // Иного не дано. М., 1988. С.305.
37. Правда. 1945. 28 июня.
38. Страшные цифры. Война после войны // Московский комсомолец. 1990.
22 июня.
39. Абрамов Ф. А люди ждут, ждут перемен. Из дневник ~~ых~~ и рабочих записей
// Известия. 1990. 3 февраля.
40. Федотов Г. Россия и свобода // Знамя. 1989. N 12. С.214.
41. Некрасов В. Трагедия моего поколения. "В окопах Сталинграда": до и после
// Литературная газета. 1990. 12 сентября. С.15.
42. Цит. по: Дневники вести не разрешалось... // Советская культура. 1990.
25 апреля.
43. Цит. по: Время истины // Литературная газета. 1990. 25 апреля. С.8.
44. Федотов Г. Указ.соч. С.198.
45. Гефтер М. "Сталин умер вчера..." // Иного не дано. С.305.

46. Казакевич Э. Указ. соч. С.316.
47. Галин Б. В одном населенном пункте: рассказ пропагандиста // Новый мир. 1947. N 11. С.162 — 163.
48. Симонов К.М. Собр. соч. в 6-ти томах. Т.3. М., 1967. С.124.
49. РГ'АЛИ. Ф.631. Оп.15. Д.737. Лл.86 — 87.
50. Цит. по: Шел солдат... // Комсомольская правда. 1990. 28 апреля.
51. Цит. по: Мальцев Е. Не изменяя себе // Литературная газета. 1987. 18 февраля. С.8.
52. Сериков В. Договор по совести // Роман-газета. 1986. N 7. С.9.
53. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.125. Д.421. Лл.2 — 3.
54. Там же. Д.420. Л.40.
55. Там же. Л.40 (об).
56. Там же.
57. Там же. Д.421. Л.102.
58. Волков И.М. Трудовой подвиг советского крестьянства в послевоенные годы. Колхозы СССР в 1946 — 1950 годах. М., 1972. С.21.
59. Там же.
60. Там же. С.256.
61. Там же. С.270.
62. Цит. по: Аксенов Ю., Зубкова Е. Предвестие перемен // Литературная газета 1989. 14 июня. С.14.
63. Там же.
64. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.125. Д.420. Лл.18, 41.
65. Там же. Л.18.
66. Там же. Лл. 29, 41.
67. Там же. Л.41.
68. Там же.
69. Там же. Л.33.
70. Там же. Л.61.
71. Аксенов Ю., Улюкаев А. О простых решениях непростых проблем // Коммунист. 1990. N 6. С.83.
72. РЦХИДНИ. Ф.599. Оп.1. Д.1. Л.105.
73. Там же. Ф.17. Оп.125. Д.425. Лл.3 — 4.
74. Там же. Лл.38, 40.
75. Там же. Л.7.
76. Там же. Л.40.
77. Там же. Лл.4, 39.
78. Там же. Оп.132. Д.289. Л.91.
79. Там же. Оп.125. Д.425. Лл.39, 40.
80. Там же. Лл.3, 35.
81. Там же. Д.424. Л.10.
82. Там же.
83. Маленков Г. Информационный доклад о деятельности Центрального Комитета ВКП(б) на совещании представителей некоторых компартий в Польше в конце сентября 1947 г. М., 1947. С.20.
84. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.125. Д.518. Л.7.
85. Там же. Д.518. Л.7; Д.425. Л.3.
86. Там же. Д.517. Л.7.
87. Зверев А.Г. Записки министра. М., 1973. С.233.
88. Там же. С.235.
89. Кондратьев В. Красные ворота. Повесть. М., С.146.
90. Аксенов Ю., Улюкаев А. Указ. соч. С.83.
91. Там же. С.80.
92. Там же.

93. Улюкаев А., Аксенов Ю. Легенда об одной реформе // Неделя 1990 N 19. С.16.
94. РЦХИДНИ. Ф.17.
95. Там же.
96. Известия. 1992. 16 июля.
97. Симонов К. Глазами человека моего поколения // Звезда 1988 N 3 С.49
98. Известия ЦК КПСС. 1990. N 11. С.135
99. Маленков Г. Информационный доклад о деятельности Центрального Комитета ВКП(б) на совещании представителей некоторых компартий в Польше С 37
100. Зверев А.Г. Указ.соч. С.180
101. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.125 Д.454. Л.1 — 2
102. Из истории борьбы с лысенковщиной // Известия ЦК КПСС. 1991 N 4—5
103. Известия ЦК КПСС. 1991 N 4 С.125
104. Там же. С.131.
105. Там же. С.133.
106. Там же. С.134
107. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.125 Д.378. Л.44
108. Там же. Оп. 132. Д.278. Л.129 — 130.
109. Там же. Л.130
110. Там же. Оп.125. Д.407. Л.66.
111. Там же. Л.67.
112. Там же. Оп.132. Д.497. Л.19, Д.111. Л.46.
113. Там же. Оп.125. Д.407. Л.71.
114. Там же. Л.12 — 13.
115. Там же. Л.10.

ГЛАВА II. 1948 — 1952: РЕПРЕССИИ

“...Правительство вело чисто провокаторскую деятельность: оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, и потом накрывало и карало неосторожных простаков”.

(В КЛЮЧЕВСКИЙ)

I. “Дальше невозможно терпеть”: социально-психологический перелом 1947 — 1948 гг.

Война не закончилась для нас 9 мая 1945 г. И хотя давно отгремел салют Победы и Совинформбюро больше не приносило известий о ходе военных действий, война не спешила отойти в прошлое. Она напоминала о себе — запоздавшей “покоронкой”, хлебной карточкой. Деревней — без мужчин, развалинами — в городах. Шинелями и гимнастерками, заменившими гражданскую одежду. Так было и год, и другой после победы. Беседа с разными людьми, пережившими то время, convinceшь, что в сознании большинства современников война и первые послевоенные годы оказались слит-

тремя воедино, почти неразделимыми. Это единство, как представляется, имело под собой прежде всего психологическую основу — предельную напряженность бытия, обусловленную желанием любой ценой сначала победить, а затем — вернуть утраченный мир. Большая цель, объединившая миллионы людей, и принцип “любой ценой” как основной метод ее достижения создавали особый духовный настрой в общественной жизни послевоенной поры, формировали некую духовную общность современников.

Вместе с тем сам принцип “любой ценой” представляет собой мотивационный рычаг — не только достаточно сильный, позволяющий без особых объяснений и программ приводить в движение миллионы, но и — ограниченный в употреблении. Чтобы задействовать этот принцип, нужны как минимум чрезвычайная обстановка и не слишком протяженный отрезок времени, в течение которого он может быть использован. Иначе по мере накопления усталости произойдет психологическое отторжение экстремальности как специфических условий и способов человеческой деятельности.

Экстремальные условия первых послевоенных лет в качестве своего обоснования имели задачу быстрого восстановления страны из военной разрухи. Стремление людей как можно быстрее вступить в “нормальную” мирную жизнь в данном случае совпало с программой руководства страны, предложившего очень напряженные темпы восстановления. Поэтому даже на уровне обыденного сознания, несмотря на наличие критических выступлений, до открытого выражения протеста дело, как правило, не доходило. Достаточно типичным, например, в рабочей среде было следующее мнение: “Я против того, чтобы работать в таких условиях, но я патриот своего завода”(1). Материальные лишения воспринимались как временно неизбежные (“временные трудности”), как следствие войны.

Положение начинает меняться в течение 1947 — 1948 годов: именно в этот период общественное сознание постепенно фиксирует четкую грань между военным и мирным временем, что само по себе формирует требование перемены ситуации, меняет прежние установки. Принцип “любой ценой” постепенно утрачивает свою оправдательную роль. А вывод “дальше невозможно терпеть такое положение” объективно связывается с осознанием простого факта: “закончилась война, тяготы войны мы все пережили и прекрасно знаем: наступил период мирного строительства. Сколько можно спать на козлах?”(2).

Уверенность людей в том, что период мирного строительства уже наступил, свидетельствовала об исчерпании в массовом сознании предела экстремальности. Обозначился психологический рубеж окончания войны, который определили факторы реальной жизни — как действительные, так и до известной степени сим-

воличные. К 1948 г. был в основном восстановлен довоенный потенциал промышленного производства. Тогда же была закончена демобилизация фронтовиков. Годом раньше отменена карточная система — своеобразный символ военного времени. На фоне этих событий, которые современниками воспринимались почти однозначно как свидетельство окончательного перехода от войны к миру, реальная жизнь большинства людей, по сути мало изменившаяся по сравнению с военным временем, выступала в качестве резкого контраста.

В феврале 1948 г. ЦК ВКП(б) провел проверку угольных шахт Кемеровской, Сталинской, Карагандинской, Тульской, Ростовской, Челябинской области. Проверкой было установлено, например, что на большинстве шахт Кузбасса и Донбасса условия труда по-прежнему остаются приближенными к военным; процветали штурмовщина, непрерывные “дни повышенной добычи”, а с другой стороны — массовые простои. Последствия войны сказались и на кадровом обеспечении шахт, число кадровых рабочих-угольщиков составляло 20 — 25% от общего числа шахтеров, остальные пришли в забой во время войны и после(3). Несмотря на действие специальных указов 1940 и 1941 гг., карающих за прогулы и опоздания, росло количество “дезертиров”. В 1947 г. в Кемеровской области самовольно покинули шахты 29 тыс. рабочих(4).

С аналогичными проблемами сталкивалась администрация предприятий черной металлургии: только за 11 месяцев 1947 г. на них прибыло 163 тыс. человек, а выбыло 155 тыс., из них самовольно — около 30% рабочих(5). Текучесть и “дезертирство” из единичных случаев явно перерастали в массовую тенденцию. Между тем не все так называемые “дезертиры” объясняли причины своего ухода с места работы плохими условиями труда и трудностями быта. Среди них было много эвакуированных во время войны, которые теперь стремились вернуться домой. Законы, ограничивающие это естественное право, не могли поэтому не вызывать недовольства. “Была война, нас держали на привязи, рабочий не имел возможности уволиться, — высказывался по этому поводу начальник мастерских Астафьев из Челябинска. — Теперь пора бы уже дать свободу, чтобы рабочий имел возможность работать там, где ему хочется”(6).

Вероятно, подобные настроения имели достаточное распространение, потому что специальным постановлением Совета Министров СССР от 7 марта 1947 г. было прекращено применение Указа от 26 декабря 1941 г.* в целом ряде отраслей промышленности

* Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. “Об ответственности рабочих и служащих военной промышленности за самовольный уход с предприятий” предусматривал наказание лишением свободы сроком от 5 до 8 лет. Ответственность за прогулы и опоздания фиксировалась по Указу от 26 июня 1940 г.

и на всех предприятиях и стройках Москвы и Ленинграда. Самовольный уход с работы стал квалифицироваться по Указу от 26 июня 1940 г., предусматривавшему более “мягкие” меры ответственности (вместо 5 — 8 лет 2 — 4 месяца)(7). Тем не менее только в течение 1948 г. за самовольный уход с работы по Указу 1941 г. было осуждено 24,6 тыс. человек, а число осужденных за ту же провинность по Указу 1940 г. возросло с 215,7 тыс. в 1947 г. до 250 тыс. — в 1948(8). До мая 1948 г. сохранялось военное положение на железнодорожном и водном транспорте, где действовали особые судебные органы. Сохранение этих атрибутов военного времени, наличие которых и в годы войны не всегда было оправданным, в условиях перехода к миру становилось одним из источников роста критических настроений. 31 мая 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Указ от 26 декабря 1941 г. был признан утратившим силу, однако законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за самовольный уход с работы, прогулы и опоздания, продолжало действовать до 1956 г.(9).

В деревне практически сохраняли силу меры внеэкономического принуждения. Крестьяне жили без паспортов. В 1948 г. были увеличены ставки сельхозналога. Что касается заготовительных цен на продукцию колхозов, то они даже не возмещали затрат на ее производство. Чтобы уменьшить бремя налогов, крестьяне вырубали сады, освобождались от личного скота, сокращали размеры приусадебных хозяйств. Это, безусловно, подорвало и без того невысокий уровень жизни сельских семей. Доходов же от общественного хозяйства часто не хватало, чтобы оплачивать трудодни. Даже в 1952 г. 22,4% колхозов вообще не распределяли денег по трудодням, более 20% выдавали на трудодень менее 0,5 кг зерновых(10). В общем, у крестьянства больше, чем у какой-либо другой группы населения, было поводов для недовольства властями. Нелишй при этом вспомнить, что в деревне, в отличие, например, от города, авторитет высшей власти и прежде всего самого Сталина был вообще невысок: память о коллективизации, “кулацкой ссылке”, послевоенных обидах жила в душе крестьянства. И пусть она держалась под спудом, но вопрос “доколе?” был не таким уж праздным.

Достаточно полемичным можно считать и сохранение на тот момент времени политической лояльности фронтовиков, которые, несмотря на преобладание протачинских настроений, имели повод быть неудовлетворенными своим положением: после окончания восстановительного периода бывшие солдаты вправе были требовать от властей известного “вознаграждения” за победу — не в корыстном смысле, а прежде всего в смысле удовлетворения их чаяний и надежд на достойную победителей жизнь. 8 миллионов

демобилизованных — это тоже влиятельная общественная сила, политизация которой могла представлять потенциальную опасность для основ режима.

Особый разговор — о фронтовиках, побывавших в плену, многие из которых после возвращения на родину встретили совсем не тот прием, на который они — и по праву — рассчитывали. И хотя Сталин как будто бы несколько смягчил свои прежние оценки в отношении военнопленных, клеймо “неполноценности” за ними все равно сохранилось. Недоверие стало уделом всех, кто находился на оккупированной территории, был угнан в Германию, побывал в плену. Таким образом, социальный статус этих людей был несравненно более низким, чем у их соотечественников, избежавших печальной участи. Более 4 миллионов (данные 1946 г.) (11) репатрированных советских граждан — вроде не “чужих”, но и не “своих” в полной мере — шансы на то, чтобы со временем вписаться в советскую систему, раствориться в ней у них были невелики. Для властей они оставались погенциальными носителями враждебной идеологии, чуждой морали. Если бы пришло время искать новых “врагов народа”, готовый “человеческий материал” был уже под рукой. Так что со стороны репатрированных рассчитывать на безоговорочную поддержку правящему режиму тоже не приходилось.

Еще меньше ее следовало ожидать от жертв национального геноцида. С августа 1941 г. началось выселение немцев; в течение 1943 — 1944 гг. их участь разделили калмыки, чеченцы, ингуши, карачасвцы, балкарцы, крымские татары, болгары, греки, армяне, турки-месхетинцы, курды. Все эти народы стали спецпоселенцами. В конце войны и первые послевоенные годы широко практиковалась высылка на спецпоселение народов Прибалтики и Западной Украины. Всего по данным на 1 октября 1948 г. на спецпоселении находилось 2 миллиона человек — немцев, народов Северного Кавказа, Крыма, Калмыкии, Грузии (без учета выселенных из других регионов страны) (12).

На нижней ступени социальной лестницы стояли те, кто находился в лагерях и колониях ГУЛАГа. Статистические оценки в данном случае колеблются от одного-двух до нескольких десятков миллионов человек, но даже по самым скромным подсчетам, сделанным на основе сводок МВД СССР, всего в лагерях и колониях ГУЛАГа в 1947 г. находилось 1,7 миллионов заключенных, 54% из числа которых были осуждены за так называемую “контрреволюционную деятельность” (13).

Репатрированные, спецпоселенцы, заключенные (прежде всего политические) — все эти люди, независимо от конкретных мотивов, могут быть объединены в социальную группу “обиженных” режимом, неудовлетворенных своим положением и уже в силу

этой неудовлетворенности стремящихся к перемене участи. Неустойчивость и минимизация их жизненного статуса в случае складывания благоприятных обстоятельств (любой достаточно серьезной кризисной ситуации) могли придать этой силе необходимую мобильность и способность к активному действию.

Таким образом, на всех уровнях социальной жизни к периоду 1947 — 1948 гг. можно обнаружить слои и группы, имеющие претензии того или иного содержания к сложившемуся порядку вещей и властям, этот порядок поддерживающим. Анализ критических выступлений этого времени показывает, как постепенно критика вещей перерастала в критику властей, рождая высказывания вроде следующих: “Чего можно ждать хорошего, когда начальство и коммунисты все себе грабят? Потому и жить нам так трудно” (Литвякова, стрелочница); “Порядков не будет до тех пор, пока будет советская власть” (Оборин, бухгалтер)(14).

Заметно начал возрастать интерес людей к принятым руководством страны внешнеполитическим и хозяйственным решениям. Если судить по вопросам, которые чаще всего задавались на лекциях в колхозах, на предприятиях, много сомнений вызывала целесообразность такой акции, как экономическая помощь СССР странам Восточной Европы, особенно “непонятная” в условиях острой продовольственной ситуации внутри страны(15). По этой же причине вызывал вопросы отказ советского правительства от участия в плане Маршалла(16).

Информация, хотя и весьма скудная, о жизни на Западе давала пищу для размышлений. Контраст уровней благосостояния между победителями и побежденными, между бывшими союзниками в сознании большинства наших соотечественников, как правило, не находил объяснений конструктивного характера и чаще всего фиксировался на уровне эмоциональной реакции, провоцируя чувство “попранной справедливости”. Отсюда — общая неудовлетворенность итогами войны и обида на союзников, которые — как казалось — одни ответственны не только за ухудшение международной обстановки (инициирование “холодной войны”), но и повинны в наших внутренних трудностях. Подчас возникали сомнения, была ли минувшая война доведена “до победного конца”, а иногда можно было услышать и следующее: “Плохо сделали, что после взятия Берлина не разгромили “союзников”. Надо было бы спустить их в Ла-Манш. И сейчас Америка не бряцала бы оружием”(17).

Столь “простое” решение больших проблем — вполне в духе того времени. Точно так же, как и списывание своих трудностей на прояски “враждебного окружения”. Долговременная обработка умов приносила свои плоды, направляя народное недовольство в то русло, которое было нужно режиму. Когда же объяснений типа

“враждебного окружения” не хватало, находились аргументы другого порядка — и не только из арсенала официальной идеологии, но и на уровне обыденного видения. Вот одно из типичных высказываний на этот счет: “Сейчас жить тяжело. Все обжираются, наедают животы, никто ничего не делает, сидят и только Сталина обманывают” (18).

Представления о неких “темных силах”, которые “обманывают Сталина”, создавали особый психологический фон, который — и в этом парадокс — возникнув из противоречий сталинского режима, по сути из его (пусть не всегда осознанного) отрицания, в то же время мог быть использован для укрепления этого режима, для его стабилизации. Выведение Сталина за скобки критики спасало не просто имя вождя, но и сам режим, этим именем одушевленный. Такова была реальность: для миллионов современников Сталин выступал в роли последней надежды, самой надежной опоры. Казалось, не будь Сталина, жизнь рухнула бы. И чем сложнее становилась ситуация внутри страны, тем больше укреплялась особая роль Вождя. Обращает на себя внимание тот факт, что среди вопросов, заданных людьми на лекциях в течение 1948 — 1950 гг., на одном из первых мест те, что связаны с беспокойством за здоровье Сталина: в 1949-м он отметил свое 70-летие.

Вера в Вождя была характерным массовым настроением послевоенных лет. Однако не всеобщим. Здесь уже упоминалась колхозная деревня, у которой мало было причин для выражения “любви” Вождю, тем более, что в данном случае характер отношений был обоюдным. Многие понимала, хотя и предпочитала молчать, интеллигенция. Менее осторожны в высказываниях своих симпатий-антипатий были молодые. В молодежном движении конца 40-х — начала 50-х годов мы по сути имеем первые зачатки политической оппозиции — единственной силы, которая от пассивного недовольства перешла к формированию программы практических действий.

2. Молодежное движение: попытка формирования оппозиции

Сорок восьмой год часто сравнивают с тридцать седьмым: две волны массового террора, захлестнув общество, оставили после себя тяжелую память. Однако смысл сравнения не только в этом трагическом сходстве, связь времен здесь прочнее и глубже: сорок восьмой — это и продолжение тридцать седьмого, и его отрицание. Почему продолжение — понятно. Та же методика, та же система “широкого бредня”, та же безысходность для попавших

в сети, и неуверенность, страх для тех, кто пока избегал участи быть причисленным к “врагам народа”.

Но почему отрицание? Прежде всего потому, что тридцать седьмой год не смог предотвратить сорок восьмого, даже несмотря на массовость карательной кампании и бесперебойную работу машины запугивания для оставшихся на свободе. Бытует мнение, что террор 1948 — 1952 гг. вообще явление искусственное, в том смысле, что в советском обществе послевоенного периода не было оппозиционных сил, достаточно серьезных, чтобы власти могли опасаться за свое положение. Действительно, серьезной оппозиции режиму на тот момент в стране не существовало. Но стал бы Сталин бороться с призраками, даже несмотря на всю свою подозрительность? Вряд ли. Кампания 1948 г. на самом деле носила в большой степени перестраховочный характер, но сам факт, что власти пошли на столь суровый превентивный шаг, говорит о том, что борьба была направлена против реального, а не призрачного явления, только существующего не в развитых формах (именно этого режим стремился не допустить), а в виде тенденции.

И первые ростки политического инакомыслия проросли на той почве, где этого правящий режим менее всего мог ожидать — среди молодого поколения, которого, казалось бы, вообще не должны были коснуться “черные тайны” жизни. А.Солженицын уже об этом писал: “По той самой асфальтовой ленте, по которой ночью сновали “воронки”, днем шагает молодое племя, со знаменами и цветами и поет неомраченные песни” (19).

“Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!”, — с этими словами они входили в жизнь, а далее школа, производство, вуз — все учреждения и институты работали только на закрепление усвоенного с раннего детства чувства благодарности — к Сталину, к Партии. То, что не все, конечно, но единицы “молодого племени” вместо пения “несомраченных песен” вдруг оказались в “черных воронках”, может показаться нонсенсом, недоразумением, абсолютным исключением из общего правила. Однако отсутствие массовости явления еще не означает отсутствия самого явления. Во всяком случае, сам феномен сопротивления сталинизму в молодежной среде стоит того, чтобы присмотреться к нему пристальнее: в потоке репрессий 1948 — 1952 гг. делам так называемых “молодежных групп” принадлежит отнюдь не последнее место.

Поведение молодежи начало вызывать беспокойство властей почти сразу после окончания войны. По сегодняшним меркам никакого “криминала” в мыслях и поступках тогдашних молодых людей не было. Тем более интересно посмотреть, что же настораживало тогда облеченных властью старших. В 1946 г. среди выпускников школ г.Челябинска было проведено анкетирование с целью выяснения интересов, жизненных планов, симпатий вчерашних школьников (всего

было опрошено 163 человека)(20). Если судить по результатам этого опроса, набор ценностных установок оказался довольно стандартным: молодые люди в большинстве своем отдали предпочтение "должному". Половина юношей и девушек проводили свой досуг за чтением, 1/3 — занимались спортом, лишь малая часть отметила интерес к музыке, живописи. Любимые писатели — А.М.Горький и Л.Н.Толстой (их назвали 1/3 опрошенных), далее по рейтингу — А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, М.А.Шолохов, В.В.Маяковский, А.А.Фадеев, Н.А.Островский. Никто не назвал М.М.Зощенко, А.А.Ахматову, С.А.Есенина и других "упадочнических" или опальных авторов, не говоря уже о зарубежных писателях. В ответах на вопрос о любимом литературном герое тоже в общем не было неожиданностей: 25% опрошенных назвали Павла Корчагина, после него — А.Болконского, Т.Ларину, П.Власова, Н.Ростову. Правда, некоторые школьники отдали предпочтение героям, которые с точки зрения советской педагогики никак не могли служить примером для подражания, а следовательно, и быть причисленными к категории "любимых героев" (Платон Каратаев, Остап Бендер, Нехлюдов, Печорин)(21).

Педагогов беспокоило другое — "внеплановые" интересы школьников. А среди последних — повышенное, как казалось воспитателям, внимание их подопечных к "личной теме" или, как это было принято тогда называть, вопросам "любви и дружбы" (кстати, аналогичную картину зафиксировали и исследования, проведенные среди студенчества). Считалось, что подобный интерес может завести молодежь в сторону от идеалов социализма — в "мир мещанских иллюзий"(22). Но коль этот мир стал запретным, он столь же закономерно стал и еще более привлекательным, как был привлекателен всегда — своей неофициальностью, непохожестью на стандартную школьную жизнь, где каждый был прежде всего членом коллектива — и все. Молодежь, как известно, не приемлет штампов, а тем более навязываемых форм жизни. И они создавали свои.

В женской средней школе Челябинска ученицы старших классов создали неофициальный кружок, который назвали "Итальянская республика". В кружке обсуждали то, о чем не принято было говорить в школе, в основном личные проблемы — те, которые всегда волнуют 15—16-летних девушек. На вопрос о том, что привлекало их в кружок, одна из участниц ответила: "Политикой мы не занимаемся, сю мы не увлекаемся. Газеты читаем редко... Мы с удовольствием играли в республику. Это было так увлекательно, что не хотелось уходить из школы"(23). Это была игра, но на языке взрослых подобные "игры" назывались "попытка создания организации".

Возникновение такого рода “организаций” было расценено как свидетельство неблагополучия в официальных молодежных объединениях, прежде всего в комсомоле. После войны наблюдалось сокращение роста рядов ВЛКСМ в учебных заведениях: в том же Челябинске среди учащихся вузов и техникумов в 1940 году большинство (65%) были комсомольцами, в 1946 г. — только 42%. С одной стороны, сокращение числа комсомольцев в вузах объяснялось последствиями войны (ограничение приема в комсомол во время войны, более зрелый послевоенный состав учащихся). Но было и другое: в ряде учебных заведений комсомольцы первых курсов сами отказывались вставать на комсомольский учет, мотивируя свой отказ тем, что в комсомольской организации “жизнь скучная и неинтересная” (24).

Известной нестабильностью отличалось и поведение армейской молодежи, самой, по сути, дисциплинированной группы молодых. После демобилизации армия на 2/3 состояла из молодежи комсомольского возраста (данные сентября 1946 г.). Как отмечалось в письме Главного политического управления, направленном А.А.Жданову, в армии росло число нарушений, допущенных комсомольцами: с 1945 по 1946 год увеличилось количество членов ВЛКСМ, осужденных военными трибуналами (25).

Все эти факты говорили о том, что молодежь, которой была отведена роль опоры режима (послевоенная молодежь — первое поколение, воспитанное от начала до конца сталинской системой), становилась все менее управляемой. Это не значит — оппозиционной. Опросы в молодежной среде свидетельствуют: большинство молодых в качестве главного жизненного принципа отметили желание принести наибольшую пользу родине, честно трудиться на благо отечества. (26) В системе ценностей, которую с детства предстояло усвоить молодому поколению, Сталин, Партия, Родина составляли единое целое, неразделимую триаду. Но был опыт войны, который даже несмотря на все последующие старания идеологии, все-таки отдал главный приоритет патриотическому чувству. И когда со временем “вирус сомнения” зародился в умах молодых, это чувство патриотизма как высшая ценность — если уж не подтолкнула кого-то в ряды борцов, то, во всяком случае, помешала стать циником.

Рубеж войны символически обозначил смену поколений. В лице 17-летних 1945 г. мы имеем самое, пожалуй, уникальное поколение, уникальное в смысле потенциала реализации своих планов. Поколение, в отличие от предшественников, не знающее страха 37-го года и в этом смысле свободное от круговой поруки прошлого. И еще не испытывавшее разочарования от краха надежд, как это случилось с его преемниками. Поколение, берущее отчет своей “родословной” от “чистых” и, несмотря ни на что, нравственно высоких военных лет. Оно не прошло фронт, хотя гене-

тически и идейно было связано с фронтовиками как следующее звено в эстафете поколений. Всего четыре года отделяли 17-летних 1941 г. от их сверстников 45-го, но между ними была война. Та самая война, которая в одночасье "состарила" предвоенное поколение: ушедшие на фронт мальчишками возвращались домой умудренными, многое повидавшими и многое осознавшими людьми. Критический запал поколения победителей в силу целого ряда причин остался до конца нерезализованным. Но он питал мысли и поступки послевоенной молодежи. У нее, по сравнению с предшественниками, было больше иллюзий, меньше поводов для разочарований, а значит, и больше надежд. И еще немаловажный момент: в глазах тогдашних молодых — тех, кто умел и хотел думать — существующая система не имела ореола "святости", а вместе с тем и презумпции своей единственности разумности. У этого поколения, чье детство пришлось на тяжелые военные годы, по сравнению со сверстниками, выросшими в мирное время, был какой-то особый запас внутренней самостоятельности. И была потребность эту самостоятельность реализовать.

Они начали с малого — с самостоятельного изучения школьных и вузовских программ, вне плана. Не удовлетворяли вузовские учебники — и они брались за изучение курса по монографиям. Не устраивала "рекомендованная" литература — и они обращались к писателям и поэтам, не то чтобы запрещенным, а тем, которых официальное советское литературоведение причисляло к категории "второсортных". Таков был генезис молодежного движения: у его истоков лежали отнюдь не политические мотивы. Молодые люди просто собирались в кругу близких товарищей для самостоятельного изучения литературы, философии, истории. Попытка уйти от школьных и вузовских штампов, навязанных оценок и дозволенных суждений переросла из потребности в способности самостоятельно мыслить, не оглядываясь на привычные рамки "от и до". Естественный процесс познания переключался с вопросов литературы и философии на проблемы современной политики. Сначала все развивалось в легальных формах. Но пошли первые запреты — и заработала система конспирации.

В Челябинском педагогическом институте студенты выступили с инициативой организовать свой литературный альманах "Студент". Идея у руководства института не встретила понимания и альманах был запрещен. Тогда несколько студентов (О.Л.Плебейский, Г.А.Сорокин, А.И.Левичский, Б.Я.Брук) создали подпольный альманах, который назвали "Снежное вино" (27). Эстетическими принципами альманаха стали традиции русского символизма. Поэтический сборник выдержал два выпуска (эти выпуски ходили по рукам в пединституте) и был подготовлен третий, пока деятельностью студентов не заинтересовались специальные органы. Началось следствие, в хо-

де которого поэтические опыты студентов получили уже весьма однозначную оценку. “Снежное вино” было квалифицировано как “нелегальное антисоветское общество”, члены которого вели “контрреволюционную деятельность”, замаскированную с помощью символических приемов(28). Верховный Суд РСФСР приговорил студентов к разным срокам заключения по статье 58-10 и 58-11 УК РСФСР(29). Это был 1946 год. Кампания борьбы с молодежными группами только начинала свою историю. Как начинало свою историю и само молодежное движение.

В его развитии постепенно определились два направления. Первое продолжало традицию самообразования — в духе “катакомбной культуры”. “Никаких политических задач мы перед собой не ставили, да и политических концепций у нас не было, — вспоминает участник одного из таких “самообразовательных” кружков, впоследствии известный скульптор Э.Неизвестный. — Я не был даже комсомольцем, а один из моих друзей был членом партии. Однако все мы понимали, что самообразовываться надо хорошо и что чтение, скажем, Троцкого, или Святого Августина, или Орвелла, или Бердяева наказуемо. Поэтому и нужна была конспирация... Еще до Самиздата мы частично доставали, а частично копировали весь круг “веховцев”... Кроме того, мы слушали доклады по теософии, по генетике, по тем дисциплинам, которые считались запретными в Советском Союзе. Если бы нас власти спросили — занимаемся ли мы политикой, мы вынуждены были бы ответить искренне, что нет...”(30).

Другие кружки и группы молодежи, особенно в течение 1948, 1949 гг., приобретали политическую направленность, в их деятельности усиливался политический акцент. Благодаря автобиографической повести А.Жигулина “Черные камни” стала известна история Коммунистической партии молодежи (КПМ) — молодежной группы, созданной в 1947 г. в Воронеже. В Москве в конце 40 — начале 50-х гг. действовали аналогичные кружки старшеклассников и студентов: “Армия революции” и Союз борьбы за дело революции (СВДР). Есть информация о работе молодежных кружков в Ленинграде, Челябинске, Свердловске, других городах России.

Что же представляли собой эти группы, которые в следственных материалах квалифицировались как “антисоветские” и даже “террористические? Начнем с возраста “террористов”. Как правило, это были школьники старших классов, студенты, учащиеся техникумов, т.е. в основном молодежь от 16 до 20 лет. Иногда, правда, встречались и моложе. В Челябинске, например, была арестована группа подростков — учащихся 7-го класса, которые занимались тем, что писали, размножали от руки (печатными буквами — только на такую “конспирацию” хватило детской

фантазии) и расклеивали на домах листовки с призывами к свержению правительства(31).

Обычно кружок или группа были очень немногочисленны — от 3 до 10 человек, редко больше. Исключение составляет воронежская КПМ, которая насчитывала более 50 членов(32). Уже из названий перечисленных групп ясно, что это были объединения, основанные на марксистской, коммунистической платформе, хотя далеко не каждая группа имела документы, которые с полным основанием можно было бы считать программными. Речь шла скорее об общей ориентации. Самостоятельное изучение работ Маркса, Энгельса, Ленина, теории социализма, с одной стороны, наблюдение за реальной жизнью — с другой, стали главным источником сомнения, побудительным мотивом к действию. “Да, мы были мальчишки 17 — 18 лет, — вспоминает А.Жигулин. — И были страшные годы — 1946-й, 1947-й. Люди пухли от голода и умирали не только в селах и деревнях, но и в городах, разбитых войною, таких, как Воронеж. Они ходили толпами — опухшие матери с опухшими от голода малыши детьми. Просили милостыню, как водится на великой Руси, Христа ради. Но дать им было нечего: сами голодали. Умиравших довольно быстро увозили. И все внешне было довольно прилично... Да, мы пережили тот страшный голод. И отвратительно было в это время читать газетные статьи о счастливой жизни советских людей... Вот от чего дрогнули наши сердца. Вот почему захотелось нам, чтобы все были сыты, одеты, чтобы не было лжи, чтобы радостные очерки в газетах совпали с действительностью”(33).

Пропаганда контрастировала с реальностью — и молодежь стала искать объяснения этих контрастов в теории. Тогда и возникла общая для движения идея — “нас обманули!”: сталинский режим на деле означает вовсе не то, за что он себя выдает. Дальнейшие интерпретации этой позиции могли быть различными, но конкретная цель — борьба против режима — “оборотня” — была опять одна, как были общими позитивные принципы — верность социалистическому выбору, демократии, коммунистическим идеалам.

В программе московского Союза борьбы за дело революции существующая в стране ситуация определялась как ничего общего не имеющая с идеями коммунизма, диктатура Сталина — как бонапартистская, внутренняя политика была названа тиранией, внешняя — противостоянием двух империалистических систем. “Общественная собственность как таковая в СССР отсутствует, — говорилось в программе СБДР, — а есть государственный капитализм, при котором государство в лице правящей верхушки выступает как коллективный эксплуататор”(34). Антисталинскую направленность имела программа Коммунистической партии молодежи (Воронеж), в которой осуждалась практика “обожествле-

ния" Вождя(35) (понятие "культ личности" появится много позднее). Участники аналогичной группы в Челябинске приняли название "Манифест идейной коммунистической молодежи", в которой говорилось о перерождении коммунистической партии в партию буржуазного типа, о бюрократическом перерождении советского правительства, его неспособности руководить страной, об отсутствии демократии в СССР(36).

По-разному формулировали молодежные группы свои конечные цели. Для КПМ это было "построение коммунистического общества во всем мире"(37). Челябинцы объединились для "борьбы против существующего советского строя". Но это не значит, что они исповедовали насилие, террор как способ достижения поставленной задачи. Напротив, как правило, методы террора отрицались участниками движения в принципе, как безнравственные, в первую очередь, и политически неэффективные. Поэтому их главным методом стал метод разъяснения и убеждения. Члены молодежных групп мечтали о том времени, когда по мере развития движения и по мере "прозрачения" людей за ними будет большинство.

"Мы не ставили целью союза насильственное свержение сталинского строя, — рассказывала одна из участниц СБДР С.Печуро, — а считали первой задачей разъяснение как можно большому количеству людей, что их жестоко обманули, что "это" — хорошо обставленная контрреволюция"(38).

Обвинение в предательстве тогда, после войны было, пожалуй, самым страшным. Поэтому идея "предательства интересов революции" и связанное с ней стремление "восстановить справедливость" — это не только конструктивный принцип, позволяющий постфактум объединить деятельность разрозненных и малочисленных групп в целое движение (или тенденцию развития движения), но и своего рода эмоциональный символ, выдвигающий на первый план чувство, а не разум. Могло ли быть иначе — у семнадцатилетних? В тех первых порывах к справедливости, освобождению от окружающей лжи вообще много романтического. Конспиративные встречи, псевдонимы, тайные проверки для вновь принятых членов организаций — наверное, можно было бы все это назвать еще полупригой. Если бы не то обстоятельство, что мера наказания была более чем "настоящей", чудовищно несовместимой со степенью содеянного. Статьи УК РСФСР: 58-10-1 (антисоветская агитация в мирное время), 58-11 (антисоветская организация), 58-8 (террор) — от 10 до 25 лет лишения свободы; известны случаи, когда приговор предусматривал высшую меру наказания.

Молодежные группы существовали совсем недолго, как правило, около года. Затем следовали аресты, допросы, суд, лагеря. Так был уничтожен прообраз общественной силы, которая в будущем

могла встать во главе процесса демократического обновления страны. Ей не дали возможности выжить. Однако это еще не повод, чтобы делать вид, будто бы ее не было вовсе.

3. Механизмы организации борьбы с инакомыслием (на примере дискуссий конца 40 — начала 50-х годов)

1948 год положил конец послевоенным колебаниям руководства относительно выбора “мягкого” или “жесткого” курса. Представления о “монолитном единстве” общества и его абсолютной преданности Вождю, в общем верные на победный момент сорок пятого, чем дальше, тем больше превращались в иллюзию: слишком велика была пропасть между народом и властью, чтобы надеяться на гармонизацию их интересов при сохранении статус-кво каждого. В растущем отчуждении “верхов” и “низов” единственным звеном, скрепляющим этот политический конгломерат в видимое целое, был сам Сталин. Но и он, похоже, переоценил силу своего положения и способность концентрировать в себе волю и желания общества: не все соотечественники торопились демонстрировать “верноподданность” Вождю. Это Сталин знал. Но не знал, сколько их было — “не всех” — и насколько опасным, в том числе и для него лично, становилось начинающееся противостояние. До открытого протеста дело не доходило, но брожение умов было реальностью, которую подтверждали сводки о настроениях разных категорий населения.

Сохранять спокойствие духа руководству мешали события и за пределами страны. Вместе с началом “холодной войны” Сталин утратил позиции первого политика мира, которым он себя чувствовал после победы. Оставалась только Восточная Европа, народы (а точнее, правители) которой, казалось бы, уже начали строить свою жизнь по образу и подобию “старшего брата”. Речь шла по сути об унификации внутренних режимов этих стран согласно советскому образцу, что и зафиксировали материалы первого заседания Информбюро 1947 г. Однако не всех восточноевропейских руководителей устраивало подобное подлинное положение и силовое давление со стороны Советского Союза.

“Об этом нигде не писалось, — вспоминал известный югославский ученый и политик М.Джилас, — но я помню из доверительных бесед, что в странах Восточной Европы — в Польше, Румынии, Венгрии — была тенденция к самостоятельному развитию. Приведу пример. В 1946 году я был на съезде чехословацкой партии в Праге. Там Гогнальд говорил, что уровень культуры Чехословакии и Советского Союза различный. Он подчеркивал, что Чехословакия —

промышленно развитая страна и социализм в ней будет развиваться иначе, в более цивилизованных формах, без тех потрясений, которые были в Советском Союзе... Готвальд выступил против коллективизации в Чехословакии. В сущности его взгляды не очень отличались от наших (имеется в виду позиция Союза коммунистов Югославии. — Е.З.). Готвальду не хватало характера для борьбы со Сталиным. А Тито был сильным человеком” (39). Кульминацией процесса роста разногласий между СССР и странами Восточной Европы стала советско-югославская встреча в Москве (февраль 1948 г.), после которой последовал разрыв между Сталиным и Тито. Для Сталина это было поражением.

Подобное стечение событий не могло не отразиться на внутренней жизни: “пропустив” оппозицию на международном уровне, Сталин не мог допустить теперь даже зародыша ее у себя в “доме”. Последствия международного фиаско и обстановка “холодной войны” по-своему повлияли на развитие внутренней карательной кампании, придав ей внешнюю форму борьбы с западничеством, или — по терминологии тех лет — “низкопоклонством”. В качестве носителей “инородного” начала были выбраны советские евреи (“безродные космополиты”), в результате чего вся кампания получила дополнительную антисемитскую окраску. В ее печальной истории два наиболее известных процесса — дело Еврейского антифашистского комитета (1948 — 1952 гг.) и “дело врачей” (1953 г.), организованные по образцу судилищ 20 — 30-х годов.

Однако “космополитами” новый виток террора не ограничился. Репрессиям подверглись практически все категории населения, которые могли претендовать на роль потенциально оппозиционных. 1948 год — это рост потока так называемых “повторников”, т.е. людей, осужденных еще до войны, затем амнистированных или отбывших срок наказания. Среди них было много бывших фронтовиков — обстоятельств, в глазах правящего режима не только не оправдательное, но напротив, усиливающее степень “вины” (именно среди них искали “неодекабристов”). Прошли суды над членами молодежных групп. Ужесточался режим в лагерях и на спецпоселениях.

26 ноября 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ “Об уголовной ответственности за побег из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Великой Отечественной войны”. Этим указом спецпоселенцы утверждались в своем статусе навечно, т.е. становились вечными изгоями. За побег с места поселения им полагалось наказание — 20 лет каторжных работ. Лица, виновные в укрывательстве бежавших спецпоселенцев или способствующие их побегу, подлежали привлечению к уголовной ответственности и наказанию лишением свободы на 5 лет(40).

Превентивные меры борьбы с “опозицией” должна была венчать “кадровая революция”. Первый удар приняла на себя ленинградская партийная организация: в ходе “Ленинградского дела” (1949 — 1952 гг.) были репрессированы многие партийные и хозяйственные руководители, связанные с Ленинградом (А.А.Кузнецов, М.И.Родионов, П.С.Попков, Я.Ф.Капустин, П.Г.Лазутин и др.), освобождены от работы свыше 2 тысяч человек (41). Аналогичный погром готовился и для московских коммунистов. По военным и хозяйственным кадрам нанесли удар “дело авиационных работников” и “дело Госплана” (по нему был репрессирован Н.А.Вознесенский).

Волна шпиономании и поиска “вредителей”, как в 30-е годы, грозила захлестнуть страну: машина МГБ была наготове. И все-таки 48-й год не стал точной копией 37-го; репрессии 48-го не пошли по пути “больших показательных процессов”, как десять лет назад, что в общем имеет свое конкретно-историческое объяснение.

Процессы конца 20-х и 30-х годов носили политический характер, Сталин боролся с реальной оппозицией своей абсолютной власти — сторонниками Троцкого, Бухарина, разного рода “уклонистами” — и в этой борьбе победил. Самые сильные конкуренты были уничтожены физически, их сподвижники либо закончили жизнь в лагерях, либо вернулись из мест заключения старыми больными людьми (последнее обстоятельство, впрочем, не избавило их от участи “повторников”). Политических противников такого уровня после войны у Сталина не было. Само общество, государственные структуры были другими. Формирующийся абсолютизм и власть, упрочившаяся в своем абсолюте — две качественно отличные стадии развития властной модели. У упрочившегося режима в арсенале гораздо больше средств борьбы с угрожающими его стабильности факторами, чем у того же режима, находящегося в процессе становления. Он не теряет своих карательных функций, но формы, содержание, масштабы террора меняются. На зрелых стадиях абсолютизма сам террор становится наиболее адекватен своей психосоциальной природе.

Исследуя сущность террора на примере политики царского правительства, русский психолог Л.Н.Войтоловский писал: “...Добиваясь победы над противником, царское правительство прежде всего стремилось *парализовать* во враждебных ему общественных группах *способность к повышенной и соборной (коллективной) отзывчивости*. В этом вся подавляющая сила террора и репрессий. Ибо цель всякого классового террора отнюдь не в мести и не в изъятии одиночек. *Задача террора — оглушить коллективную чувствительность врага, посеять в его рядах асоциальность, вычеркнуть из арсенала его политических средств способ-*

ность повышено откликаться на явления общественной жизни (выделено мной — Е.З.)”(42).

“Оглушение коллективной чувствительности” есть не что иное как парализация способности критически осмысливать и оценивать ситуацию. А значит, и способности к инакомыслию как таковому. Вошедший в силу абсолютизм способен бороться с оппозицией не только на стадии действия, но и на уровне мысли, настроения, чувства, т.е. на стадии зарождения противоборствующей силы, когда она — эта сила — возможно, сама еще не осознает свою оппозиционность. Методы открытого политического террора по-прежнему используются и в этом случае, но уже отчасти по инерции, а в основном для создания необходимого “фона устрашения”, нагнетания атмосферы страха и общей подозрительности.

Между тем основная роль постепенно отводится идеологическим кампаниям, т.е. кампаниям борьбы с инакомыслием, выполняющим одновременно известную “профилактическую” функцию. Механизмы организации этих кампаний хотя и заимствуют многое из внешней атрибутики показательных политических процессов, все-таки отличаются достаточным своеобразием выбора средств и методик. Частично эти механизмы стали отрабатываться еще в 30-е годы, но главная стадия их становления приходится уже на послевоенный период.

Пусть не покажется странным, но не только развитие прогрессивных реформ шло в нашей стране главным образом методом “проб и ошибок”, но и процесс противоположной направленности тоже отличался в известной мере интуитивностью поисков. Просто во втором случае “поисковый период” был менее продолжительным, что, как представляется, вполне объяснимо устойчивостью охранительной традиции в политической истории России. Однако несмотря на традицию, начинать приходилось с “пробного камня”, с помощью которого определялась степень готовности к действию и эффективность работы механизма обработки умов на всех стадиях этого процесса — от выбора объекта до трансляции полученных результатов на группы, находящиеся за пределами объекта.

Роль “пробного камня” в истории борьбы с инакомыслием конца 40 — начала 50-х годов выполнили две кампании, одна из которых была организована вокруг журналов “Звезда” и “Ленинград”, а другая — учебника Г.Ф.Александрова “История западноевропейской философии”. Выбор на ленинградских писателей, думается, пал не случайно: репутация “вольного” города и, возможно, старые счеты Жданова с ленинградской интеллигенцией во многом предопределили объект будущих нападков. Вся организация этой кампании свелась по сути к выступлению Жданова

в духе “постановки задач” и постановлению ЦК ВКП(б) “О журналах “Звезда” и “Ленинград”, которое для всех идеологических работников становилось руководством к действию. “Объекту” в данном случае отводилась пассивная роль принятия к сведению спущенных сверху установок. Несколько иной сценарий был апробирован в отношении философов: здесь “объекту” была предоставлена известная свобода действий, видимость которой позволила придать кампании идеологического давления внешне привлекательную “демократическую” форму. Так в нашей политической практике возник особый феномен — “творческие дискуссии”.

Во всей философской дискуссии изначально присутствовал любопытный нюанс: в качестве объекта нападения выступал не проштрафившийся чем-то автор, а напротив, человек, чья книга незадолго перед этим была удостоена Сталинской премии. В декабре 1946 г. в адрес учебника Г.Ф.Александрова сделал серьезные замечания Сталин. Трудно сказать, попала книга в руки Сталина случайно или здесь имел место умысел, но в последующих кампаниях “замечания Сталина” станут уже необходимым атрибутом организации дискуссий. В случае с учебником Александрова по замечаниям Сталина было решено провести дискуссию, которая и состоялась в январе 1947 года. Но философы, не обладавшие еще опытом проведения подобных кампаний, видимо, не оценили фактора политического значения, который наверху придавался философской дискуссии. ЦК остался недоволен и назначил повторную дискуссию, для которой уже был разработан специальный сценарий, благо во главе всего предприятия стоял Жданов.

Нет необходимости пересказывать содержание дискуссии(43): не эта сторона дела была тогда решающей. Главный смысл дискуссии вокруг учебника Александрова сводился к тому, что в ходе ее была фактически отработана стандартная модель организации борьбы с инакомыслием и насаждением идеологического монизма. Форма дискуссии представлялась очень удобной — из-за своего внешнего демократизма и соответствия популярным лозунгам критики и самокритики. Внешне привлекательная оболочка сыграла роль политической ширмы, за которой разыгрывалось действие обратного свойства, где, как справедливо заметил философ Ю.Фурманов, “сила аргументов подменялась аргументом силы”(44).

Учебник Александрова, посвященный проблемам западноевропейской философии, был, кроме того, удобной мишенью для апробации основных подходов объявленной тогда же борьбы с “низкопоклонством”. Место признанных авторитетов классической философии предстояло занять новому “корифею” (что и было сделано), а сама философская мысль была отнесена к ведению Центрального Комитета партии, который помимо прочего становился

руководящим центром общественных наук. Ученым отводилась роль комментаторов и популяризаторов решений, принятых “теоретическим штабом” страны. Кто ошибался, должен был публично “покаяться”, что также соответствовало дискуссионному сценарию. На содержательном уровне это выглядело примерно следующим образом: “Я вполне сознаю, — писал в июле 1947 года Александров Сталину и Жданову, — что не поправь меня Центральный Комитет по теоретическим вопросам, мало пользы было бы от меня как профессионального философа для партии... Философская дискуссия, и особенно глубокое, сильное выступление товарища Жданова, зарядили философских работников огромной большевистской страстью, вызвала у всех у нас рвение, искреннее стремление покончить со старыми приемами, навыками в научной, публицистической и организаторской работе, делать быстрее, лучше, болевее (?! — Е.З.) наше партийное дело” (45).

На этом уровне замысел Жданова, можно сказать, удался совершенно: философы сделали “правильные” выводы. Предстояло теперь отработать механизм трансляции принятых решений, т.е. направить дискуссию вниз — для проработки и извлечения политических уроков. И это оказалось самым сложным — не только потому, что в силу абстрактности поднятых дискуссией проблем ее трудно было ли “привязать” к чему-либо конкретному (к проблемам производства, например), но и прежде всего в силу отсутствия профессионалов — “трансляторов”. Поход против инакомыслия был уязвимым именно в этом, решающем звене: люди, которым предстояло доводить политические решения до народа, сплошь и рядом оказывались некомпетентными, а то и просто элементарно неинформированными.

С этим фактом столкнулись уполномоченные ЦК, выезжающие с проверками состояния политико-пропагандистской работы на местах. Как свидетельствуют их докладные записки, немалая часть партийных агитаторов и пропагандистов (причем не только рядовых, но и руководителей отделов пропаганды и агитации райкомов) не имели элементарного представления о том, какие решения принимаются наверху, не знали, что происходит в стране, в мире (46). Приведем ответы на вопросы уполномоченных ЦК некоторых работников райкомов.

Беседа первая:

1. Что читаете из политической литературы? — Первый том товарища Сталина.

2. Что прочитали из этого тома? — Забыл, не могу вспомнить, не отвечу.

3. Что еще читаете? — О буржуазных теориях т.Александрова читал.

4. О каких буржуазных теориях? — Кажется, об идеалистических.

5. Что читаете из художественной литературы? — Читаю “Ивана Грозного”, это книга нашего писателя. Мне не нравится эта книга. О народе в ней говорится хорошо, а вот из буржуазии и капиталистов там нет ни одного хорошего человека. В этом году больше ничего не читал”(47).

Беседа вторая:

“1. Читали Вы доклад т.Жданова о журналах “Звезда” и “Ленинград”? — Нет, этого доклада я не читал.

2. Какими последними решениями ЦК ВКП(б) Вы руководствуетесь в своей работе? — Не могу Вам сейчас назвать.

3. Какие политические партии Вы знаете в Англии? — Не помню.

4. Кто возглавляет правительство в Югославии? — Не помню, или в Югославии, или в Болгарии у правительства Тито”(48).

На уровне рядовых агитаторов дело обстояло еще хуже:

“1. Назовите высший орган власти в СССР. — Рабочий класс, ЦК? РКК? ВКП(б)?

2. Кем работает товарищ Сталин? — У него много должностей, не могу сказать.

3. Кто глава советского правительства? — Не знаю.

4. Кем работает товарищ Молотов? — Он ездит за границу.

5. Что происходит в Греции? — Банда воюет с рабочим классом”(49).

Эти документы в силу своей выразительности не нуждаются в каких-либо дополнительных комментариях. Хотя в то время они, вероятно, были подробно проанализированы, потому что ЦК принимает ряд мер в целях исправления создавшейся ситуации. Первым делом взялись за укрепление системы партийных школ и курсов. В 1947 г. в стране насчитывалось всего около 60 тыс. политшкол, в них обучалось 800 тыс. человек. Всего за год количество школ увеличилось до 122 тыс., а число обучающихся в них достигло более 1,5 млн. человек. Также в два раза увеличилось число кружков, изучающих историю партии — с 45,5 тыс. в 1947 г. до 88 тыс. в 1948, соответственно выросло количество посещающих эти кружки — с 846 тыс. до 1,2 млн. человек(50).

Одновременно с мерами, направленными на укрепление идеологического фронта подготовленными кадрами, охранительная политика была распространена на различные сферы науки и культуры. В августе 1948 г. сессия ВАСХНИЛ завершила долголетнюю дискуссию биологов, в мае—августе 1950 г. прошла дискуссия по проблемам языкознания, а в конце 1951 г. — по проблемам полтэкономии социализма.

Все эти дискуссии, как и философская, развивались по отработанному сценарию и были организованы сверху. Однако приписывать их полностью инициативе центра все же нельзя. Действительность была сложнее, а оттого драматичнее: организуя эти дискуссии, власти использовали и реальные тенденции, реальные стремления, существующие в духовной жизни послевоенных лет. Потребность широкого обсуждения проблем, рожденных войной, и вопросов послевоенного бытия тревожила интеллигенцию. Общественному мнению нужна была трибуна, чтобы обсудить эти наболевшие вопросы: профессиональная дискуссия была вполне подходящим поводом для реализации такой потребности, не случайно почти все "отраслевые" дискуссии охватывали более широкий круг проблем, чем предусматривал первоначальный предмет обсуждения. Одним из первых эту "странность" профессиональных дискуссий отметил К.Симонов, когда он подводил итоги дискуссии по проблемам литературной критики 1948 г.: он вынужден был признать, что содержание дискуссии определяла не столько "критика критики", сколько более общий анализ литературного процесса и общественной жизни в целом (51).

Литература вообще относится к той сфере художественного творчества, в которой, как в зеркале, отражаются проблемы реального бытия. Поэтому рассуждения о "болезнях" литературы — это мысли и о недугах живого общества. Чтобы понять это, достаточно, например, вслушаться в тревожные раздумья О.Берггольц на дискуссии о поэзии (март 1948 г.). "Благополучие, констатация этого благополучного состояния, внешнего и внутреннего, — вот что, по словам О.Берггольц, стало губительным для поэзии послевоенных лет. — Но благополучие не может быть материалом поэзии, с него может или начинаться что-то или им может кончаться произведение, а само по себе оно как материал неподвижно. Это противоречит той действительности и драматизму нашей действительности, в которой мы живем" (52). В этих словах схвачена суть общественного конфликта конца 40-х годов, нашедшего свое художественное выражение в попытках скрыть за внешне благополучным фасадом трудно разрешимые общественные проблемы. Осмысление подобных проблем могло придать "отраслевым" дискуссиям совсем нежелательный для организаторов поворот.

Чтобы этого не произошло, дискуссии нуждались в прикрытии мощным авторитетом, который взял бы на себя функцию главного арбитра. Ход старый и апробированный: еще в 30-е годы Сталин громил своих противников, используя авторитет "ленинского курса", истинность которого не могла быть подвергнута сомнению. Похожую позицию заняли Лысенко и его сторонники, выбрав для защиты своих позиций имя Мичурина. Однако ссылки на мичу-

рянское учение, удобные для демонстрации патриотизма в условиях борьбы с “космополитизмом”, не могли служить достаточно надежным щитом от научных доводов оппонентов. Для создания такого рода щита необходим был авторитет, чье мнение обсуждению не подлежит, поскольку всегда является “единственно правильным”. В огромной стране таким мнением обладал только один человек — Сталин. Логика функционирования абсолютной власти предопределила дальнейший ход событий: у Сталина не было иного пути, как сделаться “великим философом”, “великим экономистом”, “великим языковедом” и т.д. Поскольку механизмы борьбы с инакомыслием в качестве опорной конструкции предполагали высший авторитет, авторитет должен был произнести свое Слово. Слово авторитета становилось поворотным моментом дискуссии: вмешательство Сталина предопределило победу лысенковцев, дало “нужное” направление экономической дискуссии и дискуссии по проблемам языкознания.

Это не значит, что до этого времени Сталин стоял в стороне от дискуссий, он скорее находился в положении наблюдателя и внимательно следил за ходом событий. В дискуссии о языке статья А.С.Чикобавы, направленная против теории Н.Я.Марра, была написана, как известно, непосредственно по поручению Сталина — чем было положено начало всей дискуссии. Состояние научной общественности на тот момент, думается, хорошо передает письмо филолога Л.Ф.Денисовой в редакцию “Правды” (эта газета опубликовала статью Чикобавы). Среди языковедов царит небывалое брожение умов, — писала Л.Ф.Денисова. — Одни — главным образом старые враги Марра — говорят: “Ну и слава богу, что наконец-то и на Марра нашелся настоящий критик”. Другие прямо заявляют, что теперь они “поворачиваются на 180 градусов”, хотя недавно еще эти товарищи были яркими марровцами... Третьи боятся высказать свои убеждения, опасаясь, что за Чикобавой стоит мнение более авторитетных товарищей, поэтому как бы им не попасть впросак... Если бы редакция “Правды” могла каким-то образом рассеять эти опасения, убедить товарищей в том, что дискуссия носит действительно открытый характер и за ней не последуют возможные неприятности, то это послужило бы стимулом к настоящему разрыванию дискуссии” (53).

В 1950 г. (когда началась дискуссия о языке) многие стали уже осторожнее в высказывании оценок и суждений: годы физического и идеологического террора не прошли бесследно. Во всяком случае опасения “неприятностей” нельзя отнести к категории беспочвенных. И еще немаловажная деталь: весь ход дискуссии по проблемам языкознания убеждает, что людей уже приучили ждать высшего мнения, сверяя по нему свое собственное. Высшее

мнение прозвучало, когда в июне—августе 1950 года в “Правде” появились три статьи Сталина, посвященные этой дискуссии. А вслед за ними — цепная реакция со стороны отказывающихся и откровенничающих от своих взглядов марристов. “Правда” получала уже не письма, а срочные телеграммы: “В мою дискуссионную статью прошу внести срочные коррективы следующего содержания: в любом классовом обществе язык является не классовым, а общенародным. Остальное остается в силе”; “Прошу не публиковать мою статью по вопросам дискуссии и возвратить обратно”; “После статьи товарища Сталина отказываюсь от основных положений своей статьи, прошу ее не публиковать”; “Прошу задержать мою статью “За полный разгром идеалистов и метафизиков в языкознании”... Считаю эту статью ошибочной и вредной”; “После гениальной статьи тов. Сталина необходимость опубликования моей статьи отпадает”; “Статью к лингвистической дискуссии не печатайте. На днях высылаю новую” (54).

На примере дискуссии о языке можно проследить, насколько эффективно действовал механизм социальной демагогии, особенно если во главе дела становился Сталин. Вера в Слово Вождя превращала людей в пленников фразы — и таких были не единицы. “Иосиф Виссарионович! — обращался к Сталину студент филологического факультета МГУ. — Ваше выступление по вопросам советского языкознания явилось для меня самым значительным событием за последние пять лет в области науки... Ваше выступление против “аракчеевского” режима в науке вдохновит тысячи наших ученых и студентов старших курсов на поиски нового, нужного... Оно заставит творчески мыслить, а не жить начетнически стрижкой классиков марксизма на цитаты... То, что Вы всегда в курсе всех дел нашей страны — это вдохновляет... Желаю Вам здоровья, здоровья и здоровья. А успехи с Вами у нас всегда будут” (55).

С этим письмом перекликается другое, написанное студенткой филологического факультета ЛГУ: “Дорогой Иосиф Виссарионович! Вы научили нас любить правду больше жизни. Мы выросли в обществе, которое построено и развивается под Вашим руководством. Мы воспитывались по Вашим книгам и статьям. Мы научились верить Вам, Иосиф Виссарионович, больше, чем себе. Каждое Ваше слово мы чтим, как святыню” (56).

Но это — лишь предисловие. Главное в том, что некоторые моменты сталинской статьи по вопросам языковедческой дискуссии вызвали у студентки трудности в понимании — чисто профессионального свойства. В строчках письма чувствуется смущение автора за свою “непонятливость”, но все-таки она решилась написать: “Хочу не просто верить Вам, хочу быть убежденной... в справедливости каждого Вашего слова” (57). Само Слово Вождя

не подвергается сомнению, но слепая вера в его истинность, как свидетельствует это письмо, где-то на уровне подсознания ощущается как недостаточная. Помимо веры нужна убежденность, основанная на знании: а это уже переход с эмоционального на рациональный уровень. Прочитанное письмо студентки — лишь единичная иллюстрация подобного сдвига, который постепенно оформлялся в тенденцию развития общественного сознания.

Процесс этот на рубеже 40 — 50-х годов не стал массовым, хотя события 1948 — 1952 гг. для многих наших соотечественников стали временем прозрения: с иллюзией о том, что сталинский режим способен к какой-либо трансформации либерального типа пришлось расстаться окончательно. Конечно, кого-то могли ввести в заблуждение слова Сталина о необходимости покончить с монополизмом в науке, о борьбе с “аракчеевским режимом”. Но тот, кто за словесной оболочкой умел распознавать сущность процесса, уже не мог обмануться фразой. Тем более, что был опыт разгрома генетиков в 1948 году, тоже проходившего под флагом борьбы с “монополизмом”. Однако вся дискуссионная кампания была рассчитана не на думающих, а на тех, кто привык не рассуждать, а “принимать к сведению”. Последних же было пока что большинство. Это большинство все и решало: общество, подготовленное психологически к кампании террора, в массе своей на удивление легковерно восприняло и версию о происках “безродных космополитов”, и о “врачах-вредителях”; не увлекаясь существом дискуссионных полемик, оно в то же время готово было осудить признанные “вредными” философские, биологические, экономические и какие угодно другие взгляды.

Состояние общественной атмосферы начала 50-х годов, думается наиболее ярко передает массовая реакция на “дело врачей”: проблемы медицины, охраны здоровья, в отличие от далеких научных тем, затрагивают интересы каждого. После сообщения ТАСС об аресте группы “врачей-вредителей”, — вспоминал один из участников этого дела известный советский патологоанатом профессор А.Л.Рапопорт, — “в бытательской среде распространились слухи один нелепее другого, включая “достоверные” сведения о том, что во многих родильных домах были умерщвлены новорожденные или что некий больной умер не осредственно после визита врача, тут же, естественно арестованного и расстрелянного. Резко упало посещение поликлиник, пустовали аптеки. В Контрольный институт, где я тогда работал, пришла молодая женщина и принесла для исследования пустой флакон из-под пенициллина. Ее ребенок был болен воспалением легких, и после приема пенициллина его состояние, по словам матери, резко ухудшилось. Аллергические реакции на антибиотики — явление довольно частое, но она приписала эту реакцию действию яда,

якобы содержащегося в пенициллине, заявив при этом, что прекращает какое-либо лечение ребенка вообще. Когда же я сказал, что этим она обрекает ребенка на гибель, то в ответ услышал: пусть умирает от болезни, но не от яда, который я даю ему своими руками..." (58).

Подобным образом нагнеталась атмосфера массовой истерии, а общество, доведенное до такого состояния, становится легко управляемым. Но — на уровне эмоций. Оно способно разрушить, преодолеть все препятствия — подлинные, а чаще — мнимые. К конструктивному действию такое общество не способно. Потому что это уже не общество в истинном смысле этого слова — это толпа. Для воздействия на общественный разум нужны более тонкие средства. Идеологическая обработка умов с помощью организованных дискуссий и должна была выполнить роль такого рода средства. Однако атмосфера массового психоза давила своей эмоциональной агрессивностью, подчиняя рациональное чувственному. В результате грань между откровенным террором и идеологическим диктатом часто становилась едва различимой, а угроза расправы — вполне реальная — заслоняла собой аргументы разума. Процесс был настолько тотальным, что публичные покаяния сделались нормой жизни. Не надо думать, что всеми владел страх. Он, конечно, присутствовал, однако сильнее страха (во всяком случае весомее) было, думается, осознание отсутствия перспектив борьбы. Если считать, что, организуя дискуссии, власти добивались именно этого результата, то он был в конце концов достигнут.

Вместе с тем история дискуссионных кампаний продемонстрировала не только силу правящего режима, но и его слабости, в качестве одной из которых выступала, например, способность доводить любое решение до абсурда. И тогда уже шахтеры обязаны были заниматься обсуждением проблем генетики, а колхозники — изучать статьи Сталина по проблемам языка. У Ф.Абрамова в романе "Пути-перепутья" есть эпизод, в котором главный герой — председатель колхоза Лукашин — попадает на одно из "разъяснительных" совещаний в районе по вопросам языкознания: "Все теперь были заняты изучением этих трудов (работ Сталина — Е.З.). Они появились в "Правде" как раз в сенокос... И вот вызвали на районное совещание... Зал был забит до отказа, некуда сесть... А Фокин хоть по бумажке читал, но читал зажигающе... Последние слова докладчика Лукашин расслышал с трудом — они потонули в шквале аплодисментов, — да ему теперь было и не до них. Хотелось поскорее в парткабинет, хотелось самому своими глазами почитать. Прочитал. Посмотрел в окно — там шел дождь, посмотрел на Сталина в мундире генералиссимуса и начал читать снова: раз это программа партии и народа на ближайшие годы, то должен он хоть что-то понять в этой программе.

Несколько успокоился Лукашин после того, как поговорил с Подрезовым. Подрезов словами не играл. И на его вопрос, какие же выводы из трудов товарища Сталина по языку нужно сделать практикам, скажем им, председателям колхозов, ответил прямо: "Вкалывать" (59).

Помимо организации "всенародного обсуждения" кампании 40 — 50-х годов испытывали и другие существенные трудности: как и любые решения административного типа, рассчитанные на контроль и силовое давление сверху, они требовали больших затрат, — тем более, что каждое новое решение обрастало дополнительными. Увеличилась нагрузка на центральный аппарат: ЦК определял, какие книги советские люди должны читать, какие фильмы смотреть, какие грампластинки слушать.

Из массовых библиотек и книготорговой сети изымались книги, которые, по мнению цензуры, не представляли "научной и литературной ценности" и были "засорены фамилиями, цитатами из статей и статьями врагов народа" (60). Подготавливались специальные списки такого рода "запрещенной" литературы, которые утверждались ЦК ВКП(б). А вот какие фильмы было "рекомендовано" смотреть нашим согражданам в 1950 году: "Ленин в Октябре", "Ленин в 1918 году", "Великое зарево", "Падение Берлина", "Сталинградская битва", "Академик Иван Павлов", "Ян Райнис", "Константин Заслонов", "Встреча на Эльбе", "Повесть о настоящем человеке", "Мичурин", "Суд чести", "Путь славы", "Великий гражданин", "Трилогия о Максиме", "Человек с ружьем", "Здравствуй, Москва!", "Зоя", "Клятва", "Член правительства", "Сельская учительница", "Русский вопрос", "Депутат Балтики", "Светлый путь", "Сказание о земле Сибирской", "Чапаев", "Молодая гвардия", "Возвращение с победой" (61).

Наряду со списками "запрещенной" литературы Главлит занялся составлением подобных "черных списков" на театральные пьесы, подлежащие снятию с репертуара. Постановлением Совета Министров СССР от 28 августа 1951 г. упразднились органы Главреперткома, а функции контроля над произведениями искусства возлагались на органы цензуры. Чуть позднее появились списки запрещенных грампластинок (62).

В июле 1952 г. Президиум Совета Министров СССР подготовил проект постановления об укреплении местных органов цензуры, который предусматривал увеличение штата районных цензоров (в местных органах Главлита), а также введение должности освобожденных цензоров вместо работающих по совместительству (63). Нагрузка на органы цензуры росла, с мест шли предложения о необходимости увеличить зарплату цензорам в связи с увеличением объема работы. Высказывались даже мнения о целесообразности перевода органов цензуры в ведение Министерства

государственной безопасности СССР (64). Последнее предложение не было принято, но появление этого и подобных ему суждений отнюдь не случайно: они показывают, в каком направлении в последние годы жизни Сталина эволюционизировала внутренняя политика руководства страны.

Ставка на тотальный контроль неизбежно усиливала влияние МГБ — МВД. Руководство страны оказалось в сложном положении: в развитии чрезвычайных государственных органов наступал критический предел, перешагнув который, сами высшие власти легко могли оказаться в положении таких же поднадзорных объектов, как и рядовые граждане. Поэтому курс на усиление контрольно-карательных функций государства, несомненно преобладающий во внутренней политике конца 40 — начала 50-х годов, не был абсолютным. В данном случае сыграло свою роль не только чувство самосохранения верхов, но и действие законов предельной эффективности применения чрезвычайных мер.

4. “Кто виноват?” или “Что мешает?”: эволюция массового сознания и общественной мысли

Психологическое воздействие репрессий на общество, преследующее цель парализации коллективной способности к сопротивлению, основано тем не менее на принципе избирательности террора — каким бы масштабным тот ни был. Избирательный подход призван был заложить в массовое сознание идею “праведного гнева” и “справедливости” репрессивных мер. Формула “невинных у нас не сажают” достаточно распространенная в бытовом обиходе тех лет, показывает, что идея эта попадала на вполне подготовленную почву. Нетерпение обывателя, поднятое до эмоционального горения нехватками послевоенного бытия, требовало немедленной разрядки. В таких условиях росла сила агрессивных эмоций, а объяснение причин житейских неурядиц сводилось до сути к ответу на вопрос “кто виноват?”. Подобные реакция и нормы поведения заложены в механизме поведения толпы, которая тяготеет к упрощенному поиску причинно-следственных связей, сводящихся к выявлению “крайнего”. Этот известный стереотип массового поведения использовал Сталин, когда начал делить общество на “своих” и “врагов”.

Массовое сознание, в принципе малоприспособленное в качестве носителя конструктивных политических решений, в данном случае сыграло роль психологического фона, на котором вся карательная кампания проходила под лозунгом “всемирной поддержки”. Но могло ли так продолжаться долго? Террор, сопровождающийся нагнетанием экстремальности, всегда имеет психологический предел.

“Общество, охваченное паническим настроением, — писал Л.Н.Войтоловский, — не только утрачивает чуткость к дисгармониям общественной жизни (это как раз режиму было выгодно — Е.З.), но... само становится источником угнетающих и тревожных эмоций, доводящих его до мертвящей немощи, заботности и апатии” (65).

Подобный исход находился в прямом противоречии с принципами функционирования существующей общественной модели, рассчитанной на постоянное поддержание высокого тонуса общественной жизни. Если эта модель органично включала в себя механизм террора для исполнения охранительной функции, то с такой же необходимостью она нуждалась “ в иных средствах своего жизнеобеспечения, призванных стимулировать духовный подъем, ударный ритм, трудовой энтузиазм. С помощью террора удавалось отвлечь внимание людей от анализа истинных причин общественного неблагополучия, отправив их по ложному следу поиска “врагов”. Однако негативная реакция таким образом не исчезала, она просто переключалась на другой объект. Поэтому нужны были специальные меры, способные сформировать в массах позитивные эмоции, стимулировать созидательные устремления и действия. Такого рода меры формируют и поддерживают авторитет власти. Их отличительная особенность состоит в том, что целесообразность решений этого типа измеряется не столько долей практической отдачи (например, экономической эффективностью), сколько степенью популярности в массах. То есть, эти меры, какое бы конкретное содержание в них не вкладывалось, по сути своей всегда являются популистскими. В ряду подобных популистских решений на первом месте всегда стоит снижение цен. Поэтому в 1947 г. Сталин выбрал именно этот — в общем политически беспроигрышный (если смотреть с точки зрения момента) — путь.

С 1947 по 1954 год было проведено семь снижений розничных цен (первое — вместе с денежной реформой). Тактический ход принес огромный стратегический выигрыш: по сей день послевоенные снижения цен используются неосталинистами как главный аргумент в борьбе против оппонентов, как свидетельство постоянной заботы Сталина о “благ” народа. Расчеты специалистов, показывающие, что с экономической точки зрения все эти снижения цен оказались несостоятельными (66), просто не принимаются во внимание. Сам этот факт может послужить еще одним доказательством не экономической, а идеологической природы решений о ценах, они воздействовали не на разум, а на эмоции людей. Возможно поэтому их защита сегодня происходит исключительно на эмоциональном уровне. А как реагировали на снижение цен современники?

В большинстве своем — исключительно положительно, что вполне естественно. Но были случаи отдельных выступлений с критикой. “Из-за такого небольшого снижения цен не нужно поднимать столько шума, — рассуждал один ленинградец после очередного снижения 1949 г. — Это снижение цен имеет лишь агитационный характер” (67).

Несмотря на приоритет политических целей, решения о снижении цен, как и любая мера, вторгающаяся в сферу хозяйственной жизни, не могли остаться без экономических последствий. Снижение цен естественно привело к увеличению спроса, причем в первую очередь на те группы товаров, которых оно коснулось в наибольшей степени, т.е. в основном на промышленную группу. Согласно данным обследования, проведенного в 40 крупнейших городах страны, в марте 1949 года после снижения цен среднесуточная продажа мяса увеличилась в среднем на 13%, масла сливочного и сала — почти на 30%, тогда как по некоторым промышленным товарам этот прирост распределился следующим образом: продажа патефонов в марте по сравнению с февралем выросла в 4,5 раза, во столько же раз увеличилась продажа велосипедов и в 2 раза часов (68).

Рост спроса рождал сомнения: хватит ли товаров для продажи по новым ценам? (69). Поскольку же снижения цен мало затрагивали товары первой необходимости, естественно возникали вопросы: “почему недостаточно снижены цены на хлеб, муку, растительное масло?”; “почему не снижены цены на сахар, мыло, керосин?” (70). Можно спорить о том, насколько эти претензии обоснованы — в каждом конкретном случае, но, сформулированные в виде вопросов, требования людей представляют интерес с другой стороны: они показывают, как политика, рассчитанная на обретение имиджа “заботы о благе народа”, начинает работать во вред сама себе. В людях постепенно формируется привыкание к такого рода “благоденствиям”, растет комплекс иждивенчества, а по мере удовлетворения первейших потребностей растут и запросы. Поскольку акция снижения цен спускалась сверху и конкретный человек долей своего труда, напрямую никак не был с ней связан (может быть, только ограничен в своих претензиях уровнем зарплаты), ему в сущности было безразлично — из какого источника эта акция обеспечивалась. Сам же источник — государственная казна — реагировала на эту акцию болезненно, потому что именно она меньше всего напоминала “рог изобилия”. Приняв волевое решение о регулярном снижении цен, центр затянул себя в ловушку: угроза прогрессирующей инфляции стала реальностью. По логике вещей надо было отказаться от этой практики, но тогда мог пострадать престиж государственной власти. Решение про-

должало сохранять силу по инерции, а люди — по той же инерции продолжали каждый год ждать нового снижения цен.

Решения о снижении цен не затрагивали трудовых стимулов. Вообще в послевоенный период сфера действия материальных стимулов была существенно ограничена. Безусловно, сказывались последствия войны; жесткая финансовая дисциплина и ограниченность ресурсов устанавливали различного рода “потолки”, в том числе и по заработной плате. Поэтому трудовой подъем, духовный пафос восстановления — несомненная реальность послевоенных лет — имел иной, нежели материальный интерес, источник вдохновения. Недостаточность материальных стимулов компенсировалась действием психологических и идеологических факторов. Принцип работы этой группы стимулов в основе своей опирался на “эффект большой цели”. Так было во время войны, когда люди сражались и работали во имя одной, общей и великой цели — Победы. В мае 45-го цель была достигнута. Образовавшийся вакуум надо было чем-то заполнить. Наверху, видимо, не нашли ничего лучшего, как вновь сделать ставку на образ будущего — постросские коммунизма. В проекте Программы ВКП(б) 1947 года было записано: “Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) ставит своей целью в течение ближайших 20 — 30 лет построить в СССР коммунистическое общество” (71).

Однако преимущество Победы в ее имидже “большой цели” заключалось не только в ее огромной притягательности, но и сама эта притягательность была связана с максимальной конкретностью: с каждым взятым городом, освобожденной деревней эта цель из идеальной все более становилась реально достижимой. Идее построения коммунизма необходимо было придать такую же конкретность. Так в общественное сознание был внесен своеобразный символ будущего — “великие стройки коммунизма”. Гидроэлектростанции на Дону, Волге, Днепре, Волго-Донской и Туркменский каналы... Для них, этих строек, варилась сталь и чугун, создавались новые конструкции машин и механизмов. Пуск каждой очереди “великих строек”, осуществление “великого плана преобразования природы” и даже начало строительства высотных зданий в Москве должны были восприниматься как очередная веха, как еще один практический шаг на пути к коммунизму. То обстоятельство, что “стройки коммунизма” в большей частью сооружались руками заключенных, мало тревожило идеологов страны. Многие соотечественники об этом просто не знали, а те, кто знал, обязаны были смотреть на эти стройки как места “перевоспитания” людей в духе коммунизма.

Появление “великих строек коммунизма” застало теоретиков врасплох: пришлось срочно пересматривать научные курсы, учебные программы, планировать новые исследовательские темы. В

июне 1950 года в Институте экономики АН СССР прошла теоретическая конференция на тему "О путях постепенного перехода от социализма к коммунизму". На конференции был сделан вывод о том, что Советский Союз имеет все необходимые и достаточные условия для построения коммунизма в кратчайший срок (72). Что касается изучения проблем перехода к коммунизму, было признано целесообразным начинать его не с характеристики будущего коммунистического общества, а с "уже имеющихся ростков коммунизма". Обсуждение конкретных социально-экономических вопросов по сути дела свелось к дискуссии о путях и формах перехода к коммунистическому способу распределения (вероятно, наиболее "приятной" для участников обсуждения): когда и в каком порядке будет осуществляться бесплатное распределение продуктов питания и услуг? (73).

Ни эта, ни подобные ей дискуссии ничуть не конкретизировали концепцию построения коммунизма, а вместе с тем и концепцию перспективного развития советской экономической и политической системы. Много слов было сказано по поводу того, что движение советского общества должно осуществляться по пути укрепления экономической базы, совершенствования системы социальных отношений, развития духовной сферы и т.д. Но вопросы — как именно должно происходить это "укрепление", "совершенствование" и "развитие", каким закономерностям эти процессы подчинены и каков механизм действия этих закономерностей? — оставались открытыми. После выхода в свет брошюры Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР" (1951 г.) теоретическая мысль получила совершенно определенную направленность и дальше уже двигалась именно в этом заданном направлении, исключая какую-либо дискуссионность.

Гораздо более интересные процессы происходили в это время в среде не "теоретиков", а "практиков". В настроениях рабочих, например, ощущался сдвиг, своего рода поворот — от материальных требований "первой необходимости" к претензиям более широкого производственного и даже политического порядка. В обобщенном виде эти претензии можно сформулировать как неудовлетворенность организацией производственного процесса, в котором рабочему отводилась почти исключительно подчиненная, исполнительская роль. Много нареканий вызывала практика проведения рабочих собраний. "На собраниях невозможно по-деловому обсудить проблемы, вместо обмена мнениями на них нередко преобладает административный нажим", — высказывали свои претензии рабочие (74). Решения собраний принимались формально, примерно по следующему образцу: "не останавливаться на достигнутом, повышать производительность труда и трудовую дисциплину", "итоги считать хорошими, но не успокаиваться на до-

стигнутом" и т.п.(75) В своих отзывах о собраниях рабочие выражали недовольство тем, что собрания практически бесполезны, потому что к их мнению никто не прислушивается: "Вся беда в том, что нас не слушают. Много болтовни, а дела мало. Я на собрания хожу, но злой за потерянное время" (Василенко, работник треста "Щекинуголь" Тульской области); "Я когда-то числился в активе, а сейчас чувствую, что мои усилия повлиять на улучшение работы проходят впустую, и волей-неволей отстаю от всего, на собрания ходить перестал: не слушают нас" (Романов, крепильщик, Тульская область)(76).

Часто бывало так, что рабочих, выступавших с критикой администрации предприятия, потом всячески притесняли, организовывали травлю. Среди рабочих ходили разговоры, что сообщать о беспорядках на предприятиях в районные, городские и другие организации не имеет смысла, хозяйственники там все равно найдут защиту. "Одна надежда — писать в ЦК ВКП(б) или тов.Шкирязову, они помогут", — таково было достаточно распространенное в рабочих коллективах мнение(77).

Впрочем, пассивное отношение к ситуации было не везде: на начало 50-х годов приходится развитие разного рода рабочих инициатив, с помощью которых рабочие стремились укрепить самостоятельность своего положения на производстве, утвердить свои позиции в качестве коллективного собственника предприятия. Возникло движение за принятие оборудования на соцсохранность, был опыт введения личных клейм. Инициативы эти просуществовали недолго: они были признаны нецелесообразными, якобы снимающими ответственность с руководителя предприятия; принимал это решение ВЦСПС — тот самый орган, к которому хотели апеллировать рабочие, у которого искали понимания и поддержки своих начинаний (78).

Еще большее сопротивление встречали предложения по развитию новых форм управления предприятиями, реорганизации системы хозяйственных связей. В январе 1950 г. секретариат Г.М.Маленкова получил записку от начальника планово-финансового отдела одного из управлений Министерства связи СССР в Латвии И.М.Стульникова. В этой записке автор подробно изложил идею выборности и коллективного руководства на производстве. "Опыт показывает, — писал И.М.Стульников, — что в наше время, когда политическое сознание и деловые качества подавляющей части советских людей достигли небывалой зрелости, принцип единоначалия, осуществляемый в хозяйственных учреждениях, организациях и предприятиях, перестал оправдывать себя. А в ряде случаев он стал наносить определенный вред интересам государства. Известно, что имеется немало руководителей-хозяйственников, которым любовь к администрированию серьезно вскружила головы.

Иной такой администратор замкнется в рамки единоначалия, с мнением других людей не считается и ни с кем не советуется. Речь идет об осуществлении коренной перестройки хозяйственного аппарата и создании его на совершенно иных, более демократичных началах" (79).

Выход из положения автор видел в переходе на систему выборности и коллегиальности руководства, организационной формой которого должны были стать хозяйственные советы — снизу доверху, от конкретного предприятия до министерства (80). Чтобы обеспечить при этом сочетание принципов единоначалия и коллегиальности, необходимо, как считал Стульников, сохранить за министром или руководителем предприятия право утверждать все решения хозяйственного совета (81).

Идеи Стульникова не встретили тогда понимания в Центральном Комитете ВКП(б) — и не просто в силу спорности самой позиции автора записки. Логика хозяйственного управления, построенного на принципе строго фиксированной ответственности и многоступенчатой иерархии, в основе своей противоречила идее децентрализации — в какой бы форме она ни выражалась. Вместе с тем, предложения Стульникова представляют интерес не только с точки зрения их возможного приложения к реальной практике управления, но и прежде всего как факт развития практической хозяйственной мысли, которая искала, в допустимых по тому времени пределах, пути и формы реформирования хозяйственного механизма, консерватизм которого мешал организации оптимальной работы экономических структур. Подобные поиски были пока уделом единиц. Основная масса людей в этом плане по-прежнему оставалась инертной.

Интересно проанализировать в этой связи реакцию людей на вопрос об их отношении к имеющимся трудностям и недостаткам. В начале 50-х годов журналист А.Злобин писал: "Беседуя с различными людьми, я задавал один и тот же вопрос: "Что мешает вам в работе? Мешает вашему заводу?" К моему удивлению немалая часть ответов звучала примерно так: "Мешает? Нам ничего не мешает. Разве нам что-либо может мешать?" (82) Этот вопрос-ответ возник не случайно. Он отражал определенный социально-психологический настрой, являлся реакцией на непривычную постановку вопроса о причинах недостатков: вместо обычного "кто виноват?" — вдруг "что мешает?". Когда ставился вопрос "кто виноват?", за ним виделась конкретная личность, за вопросом "что мешает?" — общественное явление. В конечном счете этот вопрос прямо выводил на анализ состояния общественного организма, поиска его "болевых точек", узловых противоречий развития и возможных путей разрешения данных противоречий. Вопрос "что мешает?" неизбежно переводил в другую плоскость

и вопрос "что делать?", который уже нельзя было решать только привычной перестановкой кадров, заменой "плохого" руководителя на "хорошего". Все это было достаточно новым — отсюда и столь неадекватная реакция обыденного сознания на смешение акцентов в вопросе о трудностях и проблемах реальной жизни.

Отличительная особенность советской системы 30 — 50-х годов состояла в том, что формально она как будто бы всегда была открыта для критики (лозунг "критики и самокритики" был в числе наиболее употребимых официальной пропагандой). И это был не просто пропагандистский трюк: постоянные поиски "отдельных недостатков", чередуемые с временными кампаниями против "врагов народа", не только направляли общественные эмоции в подготовленное русло, но и повышали мобилизационные возможности самой системы, ее устойчивость, ее иммунитет. На основе манипуляции общественными настроениями создавался особый механизм преодоления кризисных ситуаций. Система не допускала такого развития событий, когда критически заряженные эмоции масс сформируются в блок конкретных претензий, задевающих основы правящего режима. Неудивительно поэтому, что отсутствие конструктивизма, набора положительных идей составляет одну из характерных черт групповых претензий этого периода. Умение режима овладеть общественными настроениями на уровне эмоций обеспечивало управляемость системы, страховало от непредсказуемых реакций снизу. С этой своей функцией механизм контроля за умонастроениями справлялся достаточно успешно. Однако, добиваясь управления эмоциями, с помощью этого механизма не всегда удавалось обеспечивать программу позитивного поведения, т.е. нужную практическую отдачу.

Это хорошо видно на примере развития внутривнутрипартийной политики. XIX съезд ВКП(б), состоявшийся в 1952 г., среди прочих решений внес ряд изменений в Устав партии, т.е. тот документ, который регламентирует поведение каждого коммуниста. Главный смысл тех изменений заключается в усилении контроля партийных органов над рядовыми членами партии: если раньше коммунист "имел право", то теперь он "был обязан" сообщать о всех недостатках в работе любых лиц, а сокрытие правды объявлялось "преступлением перед партией" (83). В партии начался поход против "недостатков". Однако организованный в столь жестких условиях, поход этот на деле превратился в последовательную цепочку перекладывания вины на плечи нижестоящего. Местные партийные работники, опасаясь быть уличенными в недостаточной бдительности или "преступной бездеятельности", стремились перестраховаться: районные комитеты партии буквально захлестнул поток персональных дел. Даже "Правда" с тревогой сообщала о многочисленных фактах проявления подобного чрезмерного усердия (84).

Это был предел: механизм контроля из фактора, обеспечивающего системе устойчивость, грозил превратиться в фактор дестабилизирующего действия. Если что и помешало тогда дальнейшей эскалации ситуации, то это сопротивление снизу, где помимо законов системы, продолжали действовать, несмотря ни на что, законы человеческие. Они часто решали судьбы людей.

Историк Ю.П.Шарапов вспоминает, как осенью 1949 года, когда он учился в аспирантуре МГУ, у него был повторно арестован отец: “Меня вызвали в партком, а затем на факультетское парт-собрание. Мне грозило исключение из партии. Но когда это было сказано вслух, из последних рядов поднялся мой довоенный однокурсник, тоже аспирант, прошедший войну, вышел на трибуну и сказал слово в мою защиту. А потом было заседание Краснопресненского бюро райкома партии. Меня защищали двое — секретарь партбюро факультета Павел Волобуев и член бюро райкома, начальник окружной дороги, железнодорожный генерал Карпов. И бюро райкома оставило меня в партии” (85).

Случай, о котором рассказал Ю.П.Шарапов, в практике работы партбюро исторического факультета МГУ, когда его возглавлял П.В.Волобуев (ныне — академик РАН), был не единичным, хотя не всегда позицию секретаря поддерживало тогда большинство. Тем не менее, используя особое положение партийной организации при решении кадровых вопросов даже в тех условиях обостренной “бдительности” удавалось оказывать помощь людям — достойным и способным, но имеющим определенные трудности с “анкетой” (детям репрессированных родителей, побывавшим в плену или на оккупированной территории и т.п.). “Я просто выступал против всяких крайностей, — вспоминает то время П.В.Волобуев. — Например, крайностей в борьбе с космополитизмом. Нет, что касается трескотни насчет космополитизма, в том числе и в моих докладах, она продолжалась. Но ни один человек с факультета уж не был уволен, хотя и существовали своего рода “черные списки” (86). Когда я спросил Павла Васильевича, почему он занял такую позицию, доставившую ему лично много сложностей, он сказал: “Вы только поймите, героем я не был. Я был и достаточно суров, и требователен. И поступал в соответствии с законами здравого смысла. Просто в жизни всегда остается место для личного морального выбора, как бы ни трудна была ситуация” (87).

Время не бывает одноцветным: кто-то, рискуя карьерой (а иногда и головой) вступался за близкого или вовсе незнакомого человека, кто-то публично отказывался от родителей, учителей, наставников. Возможно, пространство выбора было тогда небольшим, но способность к нравственному сопротивлению сохраняется

всегда — при любых обстоятельствах и при любых режимах. Тем более, что уже была война, оставившая в наследство законы фронтового братства и взаимной выручки. Это тоже помогло жить. И выжить. Бывшие фронтовики, они и из “окопов” выходили первыми. Как это сделали, например, совершенно по-своему, Валентин Овечкин и Александр Твардовский. Усилиями этих двух людей на свет появились знаменитые “Районные будни” — “первая ласточка” того нового рода послевоенной литературы, которому будет суждено стать возмутителем общественного спокойствия.

Публикация “Районных будней” В.Овечкина началась в девятом номере “Нового мира” за 1952 год. Затем их перепечатала “Правда”. Общественный резонанс публикации был огромным. “Читателям не было дела до определения жанра, — вспоминал Н.Атаров. — Но речь шла о восстановлении ленинских норм демократии, о стиле руководства, о правде отношений между хлеборобом и пашней, между колхозом и государством. Номера “Правды” передавались из рук в руки” (88).

На материалах одного района В.Овечкин рассуждал о проблемах страны, говоря о сельском хозяйстве, поднимал вопросы общегосударственного, общеполитического значения. О его очерках говорили как о “партийном поступке”, а разговор начистоту, предложенный в “Районных буднях”, воспринимался “даже не как литература, а как письмо в ЦК” (89). Проблемы, поднятые В.Овечкиным — о недостатках в практике управления, о материальных стимулах, о противоречиях долга и совести — были в общем не новы. Новым был именно разговор начистоту. В.Овечкин как будто “пробил брешь” в сознании, признавался один из его коллег: “Читая Овечкина, писатели сознавали, что им самим тоже пора писать по-другому” (90).

Овечкин поднял те проблемы, которые лежали на поверхности, и привлек к ним внимание общественности. Однако пока читатели ломали копыта в спорах вокруг “Районных будней”, а некоторые партийные работники призывали привлечь автора к ответу за “очернительство” руководителей, подспудно рождалась уже иная — еще более смелая литература. В начале 50-х годов приступил к задуманному роману “Не хлебом единым” В.Дудинцев. “Тогда еще жив был Сталин, — вспоминал он много позднее. — Я писал и боялся, что меня посадят. Боялся, но выработал шифр для тайных записей. Я был качественно свободен” (91).

Самые мрачные — из всех послевоенных — годы заканчивались, если не надеждой, то предчувствием какого-то просвета. В реальной жизни, казалось бы, ничего не говорило о грядущих переменах. Но они уже были в известном смысле запрограммированы: был жив Вождь, но больной и все больше дряхле-

ющий, он не мог, как раньше, контролировать поведение своего окружения, в котором началось размежевание, предопределившее последующую расстановку сил в борьбе за “наследство”. Экономические решения, принятые после войны, загоняли страну в тупик сверхпрограмм: “великие стройки” ложились тяжелым бременем на государственный бюджет. Основу экономической политики определял старый курс на индустриализацию. Он не только оставил безусловными приоритеты тяжелой промышленности, но и фактически законсервировал развитие научно-технического прогресса. Социальные программы — особенно важные с точки зрения помощи вышедшему из войны народу — были сведены до минимума. Кампании по снижению цен имели большой политический эффект, но уровень жизни людей изменили мало.

Деревня была поставлена на грань разорения. “Если назвать самые трагические для советской деревни времена — по безнадежности и уже полному надругательству над всеми человеческими чувствами, — писал А.Адамович, — так это, по моему убеждению, послевоенные, где-то с 1946 по 1953-й” (92). Д.Н.Суханов, работавший в те годы помощником секретаря ЦК КПСС Маленкова, вспоминал, что судя по письмам, которые шли в центральные органы партии в последний период жизни Сталина, деревня стояла на пороге взрыва (93).

Постоянно расширяющаяся зона подневольного труда, рассредоточенная между колхозной деревней, с одной стороны, и ГУЛАГом — с другой, создавала потенциальный источник социальной напряженности. Положение властей предрешающих начинало напоминать сидение на вулкане, внутри которого вызревала и накапливалась энергия огромной разрушительной силы.

Репрессии 1948 — 1952 годов не уничтожили дестабилизирующий фактор — они сделали его массовым, хотя негативная реакция держалась пока под спудом. Репрессивная политика спасла на время правящий режим от критического давления снизу, но она не смогла предотвратить сползание страны к кризисной черте. Более того, репрессии осложнили процесс преодоления кризисных явлений, поскольку уничтожили или серьезно деформировали рожденные войной конструктивные общественные силы, которые могли встать во главе процесса обновления общества. Для массовых настроений по-прежнему был характерен синдром ожидания. Единственный путь преодоления кризисных явлений, на развитие которого можно было рассчитывать в этих условиях, был путь реформ сверху. А единственным барьером, стоящим на этом пути, была фигура Вождя. В этом смысле Сталин был обречен, хотя на деле ситуация разрешилась самым естественным образом. Это случилось 5 марта 1953 года.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. ГАРФ. Ф.7676. Оп.9 Д.528. Л.83.
2. Там же. Оп.9. Д.888. Л.237; Оп.11. Д.189. Л.97.
3. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.125. Д.596. Л.42.
4. Там же. Л.45.
5. Там же. Л.56.
6. Там же. Д.518. Л.10.
7. Земсков В.Н. Черные дыры истории. // Радуга. 1990. N 6. С.47.
8. Там же.
9. Там же.
10. История СССР с древнейших времен до наших дней: в 12-ти тт. Т.11. М., 1971. С.208.
11. Земсков В.Н. Рождение "второй эмиграции". 1944 — 1952 гг. СОЦИС. 1991. N 4. С.8.
12. Земсков В.Н. Спецпоселенцы (по документации НКВД — МВД СССР). // СОЦИС. 1990. N 11. С.9
13. Дугин А. Сталинизм: легенды и факты. // Слово. 1990. N 7. С.23.
14. РЦХИДНИ. Д.17. Оп.125. Д.518. Л.9.
15. Там же. Д.517. Л.34.
16. Там же.
17. Там же. Д.518. Л.12.
18. Там же. Л.9.
19. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. 1918 — 1956. Опыт художественного исследования. // Новый мир. 1989. N 8. С.12.
20. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.125. Д.424. Л.60 — 62.
21. Там же. Л.60 — 61.
22. Там же. Л.69.
23. Там же.
24. Там же. Л.68.
25. Там же. Л.54 — 55.
26. Там же. Л.62.
27. Там же. Л.64 — 65.
28. Там же. Л.50.
29. Там же.
30. Неизвестный Э. Катакомбная культура и официальное искусство. // Литературная газета. 1990. 10 окт. С.8.
31. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.125. Д.424. Л.51.
32. Жигулин А. Черные камни. Автобиографическая повесть. // Знамя. 1988. N 7. С.21.
33. Жигулин А. Указ. соч. // Знамя. 1988. N 7. С.21 — 22.
34. Цит. по: Антонов-Овсеенко А. "Не говорите родителям про арест..." // Московский комсомолец. 1990. 28 марта.
35. Жигулин А. Указ. соч. // Знамя. 1988. N 7. С.21.
36. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.125. Д.424. Л.49.
37. Жигулин А. Указ. соч. // Знамя. 1988. N 7. С.21.
38. Цит. по: Антонов-Овсеенко А. Указ. соч. // Московский комсомолец. 1990. 28 марта.
39. Цит. по: Все мы вышли из сталинской шинели. Дискуссия о событиях 1948 года и их последователях. // Литературная газета. 1990. 21 марта. С.14
40. Земсков В.Н. Спецпоселенцы. // СОЦИС. 1990. N 11. С.9.
41. Известия ЦК КПСС. 1989. N 2. С.131.
42. Вейтловский Л.И. Очерки коллективной психологии: в 2-х ч. Ч.2. С.75.
43. См.: Вопросы философии. 1947. N 1.
44. Фурманов Ю. Уроки одиой дискуссии... // Советская культура. 1988. 12 марта.

45. РІХИДНИ. Ф.17. Оп.125. Д.492. Л.2.
 46. Там же. Д.516. Л.172.
 47. Там же. Л.27.
 48. Там же. Л.28.
 49. Там же. Л.172.
 50. Там же. Оп.132. Д.103. Л.2.
 51. За большевистскую партийность литературной критики. // Новый мир. 1948. N 12. С.193.
 52. РГАЛИ. Ф.631. Оп.24. Д.63. Л.19.
 53. РІХИДНИ. Ф.17. Оп.132. Д.337. Л.287.
 54. Там же. Л.32, 33, 47.
 55. Там же. Л.16.
 56. Там же. Л.10.
 57. Там же. Л.15.
 58. Рапопорт Я. Воспоминания о "деле врачей". // Дружба народов. 1988. N 4. С.224.
 59. Абрамов Ф.А. Пряслины. Трилогия. Л., 1978. С.491 — 492.
 60. РІХИДНИ. Ф.17. Оп.132. Д.550. Л.113.
 61. Там же. Д.291. Л.47.
 62. Там же. Д.550. Л.162.
 63. Там же. Л.115.
 64. Там же. Л.169.
 65. Войцоловский Л.Н. Указ.соч. Т.2. С.75.
 66. См., например: Лацис О. Сказки нашего времени. // Известия. 1988. 15 апреля; Он же. Долгая жизнь сказок. // Там же. 18 июня.
 67. РІХИДНИ. Ф.17. Оп.132. Д.114. Л.27.
 68. Там же. Л.28.
 69. Там же. Л.27.
 70. Там же.
 71. Там же. Оп.125. Д.476. Л.190.
 72. Вопросы экономики. 1950. N 10. С.101.
 73. Там же. С.106 — 108.
 74. РІХИДНИ. Ф.17. Оп.132. Д.291. Л.84.
 75. Там же. Л.85.
 76. Там же. Л.86.
 77. Там же. Л.87.
 78. Правда. 1952. 11 октября.
 79. РІХИДНИ. Ф.17. Оп.132. Д.278. Л.6.
 80. Там же. Л.7.
 81. Там же. Л.10.
 82. Злобин А. Уральские встречи // Новый мир. 1953. N 12. С.194.
 83. Правда. 1952. 13 октября.
 84. Там же. 2 декабря.
 85. Шарапов Ю. Без гнева и пристрастия. Политические заметки // Московские новости. 1989. 3 сентября. С.22.
 86. Интервью с П.В.Цолубуевым. Личный архив автора.
 87. Там же.
 88. Атаров Н.С. Дальняя дорога: Литературный портрет В.Овечкина. М., 1977. С.101.
 89. Там же. С.114.
 90. Там же.
 91. Дудинцев В. Образ свободы // Литературная газета. 1991. 8 мая. С.9.
 92. Адамович А. Тихое имя // Литературная газета. 1989. 18 октября. С.4.
 93. Интервью с Д.Н.Сухановым. Личный архив автора.

“...Статуя закачалась и начала падать. Сотрудник сначала обрадовался и закричал “Наконец-то!”, но потом увидел, что Статуя падает прямо на него, и содрогнулся. Он бросился ее поддержать, но сил не хватило, и она рухнула совсем в другую сторону. И никто не знает до сих пор, в какую именно...”

(А.ЗИНОВЬЕВ)

1. Ситуация “без Сталина” и изменение общественной атмосферы

“...Возле Мавзолея толпилось человек 200. Было холодно. Все думали, что выносить саркофаг с телом Сталина будут через главный вход. Никто не обратил внимания, что с левой стороны от Мавзолея стояли деревянные щиты, над которыми горели электрорампочки.

Поздно вечером справа к Мавзолею подъехала крытая грузовая военная машина. Кто-то крикнул: “Вносят!” Из боковой двери Мавзолея солдаты вынесли стеклянный саркофаг и погрузили его в машину. Вог тут-то мы и увидели, что за щитами солдаты роют могилу. Ни кино-, ни телерепортеров в то время возле Мавзолея не было”(1).

Такими запомнились журналисту В.Стрелкову вторые похороны Сталина, совсем не похожие на те, что состоялись в пятьдесят третьем. Вождь умер, и 6 марта в “Правде” было опубликовано правительственное сообщение об этом событии. “Я хотел задуматься: что теперь будет со всеми нами? — вспоминал свои ощущения того дня И.Эренбург. — Но думать я не мог. Я испытывал то, что тогда, наверное, переживали многие мои соотечественники: оцепенение”(2).

А потом была Трубная площадь в Москве. “Дыхание десятков тысяч прижатых друг к другу людей, поднимавшееся над толпой белым облаком, было настолько плотным, что на нем отражались и покачивались тени голых мартовских деревьев. Это было жуткое, фантастическое зрелище, — напишет потом Е.Евтушенко, оказавшийся в той многотысячной толпе на Трубной. — Люди, вливавшиеся сзади в этот поток, напирали и напирали. Толпа превратилась в страшный водоворот. Вдруг я почувствовал, что иду по мягкому. Это было человеческое тело. Я поджал ноги, и так меня понесла толпа. Я долго боялся опустить ноги. Толпа все сжималась и сжималась. Меня спас только мой рост. Люди маленького роста задыхались и погибали. Мы были сдавлены с

одной стороны стенками зданий, с другой стороны — поставленными в ряд военными грузовиками”(3).

Люди шли к Колонному залу, где был установлен гроб с телом Сталина. “Я стоял с писателями в почетном карауле, — вспоминал И.Эренбург. — Сталин лежал набальзамированный, торжественный — без следов того, о чем говорили медики, а с цветами и звездами. Люди проходили мимо, многие плакали, женщины поднимали детей, траурная музыка смешивалась с рыданиями. Плачущих я видел и на улицах. Порой раздавались крики: люди рвались к Колонному залу. Рассказывали о задавленных на Трубной площади. Привезли отряды милиции из Ленинграда. Не думаю, чтобы история знала такие похороны”(4).

А дальше — главное: “Мне не было жалко бога, который скончался от инсульта в возрасте семидесяти трех лет, как будто он не бог, а обыкновенный смертный; но я испытывал страх: что теперь будет? Я боялся худшего”(5).

Похожие ощущения испытывали в момент смерти Сталина многие. “Это было потрясающее событие, — вспоминал А.Д.Сахаров. — Все понимали, что что-то вскоре изменится, но никто не знал — в какую сторону. Опасались худшего (хотя что могло быть хуже..?). Но люди, среди них многие, не имеющие никаких иллюзий относительно Сталина и строя, — боялись общего развала, междоусобицы, новой волны массовых репрессий, даже — гражданской войны”(6).

Не надежды на перемены к лучшему, а опасения “как бы не было хуже” формировали главную психологическую установку тех дней. Она же определяла состояние общественной атмосферы и на более длительный период — пока люди выходили из психологического шока, вызванного смертью Вождя. В такой обстановке руководство страны оказалось даже в более выгодном положении, чем в ситуации обостренного желания перемен, обычно сопровождающей кризис власти. В данном случае кризис власти на поверхности имел причину естественной утраты, невозможность возмещения которой и неизвестные следствия какой бы то ни было замены рождали столь же естественное желание — оставить все, как есть. Любые начинания послесталинского руководства, рассматриваемые под углом зрения “как бы не было хуже”, казалось, должны были в массовом сознании получать однозначно положительную оценку. Но тоже при одном условии: новые руководители обязаны были действовать как “наследники” Сталина, т.е. сохранять преемственность курса или хотя бы внешнюю форму такой преемственности. В реальной политике это означало бы пойти по пути увеличения заведомо тупиковых решений. Не случайно поэтому среди влиятельных лиц, вошедших в так называемое “коллективное руководство”, не было ни одного (за исклю-

чением, пожалуй, В.М.Молотова), кто бы отстаивал сохранение прежнего курса в неизменном виде.

Однако понимания обреченности пути назад для определения нового политического курса было мало. Предстояло выбрать — хотя бы на уровне общих принципов — вектор движения вперед. И здесь иного пути, кроме преодоления сталинского наследия, просто не было. Доверие народа, обусловленное принадлежностью к “наследникам” Сталина, и исчерпание политической эффективности “наследства” — это противоречие серьезно ослепило перспективные планы правящей группы и отношения внутри ее, которые и без того были непростыми.

Смерть Сталина уже сама по себе внесла серьезные коррективы в систему отношений между народом и властью. Вместе с Вождем исчезло главное звено, обеспечивающее общность этих разноуровневых подсистем, перестал функционировать главный механизм гармонизации их интересов. Эта гармония всегда была относительной (о чем свидетельствует обязательное наличие в палитре общественных настроений претензий и выпадов в адрес властей, прежде всего местных). Обратной стороной этой относительной гармонии было прогрессирующее отчуждение народа от власти: после смерти Сталина оно приобретает тенденцию перерастания в абсолютное (окончательно этот процесс завершился при Л.И.Брежнев). Самым простым выходом из положения было бы обретение нового Вождя, нового баланса. Однако возвращение к системе вождизма в ее надчеловеческой просталинской форме вряд ли представлялось возможным: сама смерть Сталина блокировала этот путь. Земной бог перестал существовать как простой смертный — именно это обстоятельство долго не укладывалось в сознании многих людей.

Журналист Ю.С.Апенченко, тогда студент МГУ, вспоминает, как после давки на Трубной площади, он пришел в медпункт университета: “А перед визитом к врачу надо было обязательно температуру померить. И вот дает мне старушка-нянечка градусник и спрашивает: “Чего ты такой помятый?”. Ну, я рассказываю: Колонный зал, меня там подавили немножко и т.д. А она вдруг: “А зачем ты туда шел? Ты что — покойников не видел?”. Я увидел первого человека, для которого Сталин был просто покойник”(7).

Естественная смерть Сталина как бы придала ему человеческое измерение. Ирония судьбы: Сталин-человек оказался не нужным. “Он умер, его эра кончилась, — записал в своем дневнике американский корреспондент в Москве Г.Солсбери. — На следующее утро (после похорон — Е.З.) я возвратился в “Метрополь”. Наступала новая эпоха. Мой путь лежал мимо Дома Союзов. На приставных лестницах стояли рабочие, залитые призрачным светом фонарей. Они снимали со стены двадцатиметровый портрет

Сталина. Он выскользнул у них и повис над улицей, перекосившись. “Эй, поосторожней!” — крикнул кто-то. “Ничего, — отозвался другой голос. — Эка беда! Да он уже никому больше не понадобится”(8).

Восприятие Сталина как человек в массовом сознании изменило и отношение к его преемникам наверху, которые тоже становились “просто людьми”. Власть лишилась божественного ореола. Но не вполне: от высшей власти по-прежнему ждали “подарков” как от “бога”, а ее действия подлежали рассмотрению уже по законам простых смертных. Этой новой ситуации не оценили тогда наверху, больше полагаясь на отпущенный кредит доверия, нежели задумываясь о том, чем этот кредит реально может быть оплачен. Трезвому анализу ситуации помешали и внутренние разногласия: раздел “наследства”, борьба за власть отодвинули в сторону решение первоочередных экономических и политических проблем. Только после июньского кризиса 1953 г. (“дело Берии”) руководство страны во главе с Г.М.Маленковым начало предпринимать сколько-нибудь значительные практические шаги, определившие контуры нового курса.

В августе 1953 г. на сессии Верховного Совета СССР Маленков выступил по существу с программной речью, в которой определил основное содержание своей экономической политики. Ее стержень опирался на идею социальной пересортировки экономики — с приоритетов роста тяжелой промышленности на подъем промышленности группы “Б”. Предполагалось резко изменить инвестиционную политику, значительно увеличить финансовую “подпитку” отраслей нематериального производства, легкой и пищевой промышленности, обратить особое внимание на развитие сельского хозяйства, организовать на предприятиях тяжелой индустрии помимо производства основной продукции выпуск товаров народного потребления и др. Так был взят курс на социальные программы, который достаточно быстро стал воплощаться в конкретные товары, деньги, жилье(9).

Другим ключевым пунктом новой экономической программы было решение продовольственной проблемы, а вместе с тем и решение вопроса о выводе сельского хозяйства из затяжного кризиса. В числе мер, направленных на подъем деревни, в качестве приоритетных были признаны следующие: снижение сельхозналога, списание недоимок по сельхозналогу за прошлые годы, увеличение размеров приусадебных хозяйств колхозников, повышение заготовительных цен на сельскохозяйственную продукцию, расширение возможностей для развития колхозного рынка(10). Проведение в жизнь комплекса этих мер помимо экономического имело и большой политический эффект. Газету с докладом Маленкова “в деревне зачитывали до дыр, — вспоминала в своем письме к

Н.С.Хрущеву учительница М.Николаева, — и простой бедняк-крестьянин говорил “вот этот за нас”(11).

Совсем другую реакцию встретили меры, принятые в ходе так называемой “борьбы с бюрократизмом”, которая уже к концу 1953 г. приобрела характер широкой кампании. Предыстория ее такова. Еще на одном из первых послесталинских совещаний, организованном в традиционных целях “постановки задач” для партийного и хозяйственного актива, с докладом выступил Маленков. “Главный пафос его речи был, — вспоминал присутствовавший на совещании Ф.М.Бурлацкий, — борьба против бюрократизма “вплоть до его полного разгрома”. То и дело в его устах звучали такие уничтожающие характеристики, как “перерождение отдельных звеньев государственного аппарата”, “выход некоторых органов государства из-под партийного контроля”, “полное пренебрежение нуждами народа”, “взяточничество и разложение морального облика коммуниста” и т.д. Надо было видеть лица присутствовавших, представлявших как раз тот самый аппарат, который предлагалось громить. Недоумение было перемешано с растерянностью, растерянность — со страхом, страх — с возмущением. После доклада стояла гробовая тишина, которую прервал живой и, как мне показалось, веселый голос Хрущева: “Все это так, конечно, верно, Георгий Максимилианович. Но аппарат — это наша опора”. И только тогда раздалась дружные, долго не смолкавшие аплодисменты”(12).

Испуг собравшихся в зале понять можно: заявления, подобные тому, с каким выступил Маленков, вполне могли быть расценены как сигнал к новой “большой чистке”. Никто не знал истинную позицию “коллективного руководства” и его ближайшие намерения. Ситуация вообще характерная для периода 1953 — 1955 гг., когда непроясненность политической линии рождала потребность в самостоятельном доразвитии положений, постулируемых сверху. Это доразвитие шло как в сторону усиления прогрессивных моментов (т.е. углубления начатых сверху перемен), так и в сторону самых худших прогнозов. Руководство, никак не находящее в себе силы до конца самоопределиться, тем самым провоцировало дальнейшую эскалацию этой промежуточной ситуации. В первые месяцы и годы после смерти Сталина не только не были созданы гарантии — прежде всего политическо-правового порядка — от возврата к прошлому, но и то и дело проявлялись моменты, прямо намекающие на реальность возможности возвратного движения.

Например, в июле 1954 г. Н.С.Хрущев говорил на совещании в ЦК КПСС о том, что “надежда некоторых лиц на смену ориентации у партии, на отказ от той политики, которая проводилась при Сталине, неоправданна”(13). Думается, что поводом к подобному заявлению послужило не в последнюю очередь как раз

незапрограммированное развитие ситуации снизу — в русле развития принятых “коллективным руководством” решений. Это были даже не решения, а скорее отсутствие официальных документов, напрямую подтверждающих неизбежность прежней “жесткой” линии. Определенные надежды на “потепление” политического климата вызвали меры по прекращению сфабрикованных в последние годы жизни Сталина дел, слухи о начавшейся реабилитации. Не могло не обнадежить мыслящую часть общества изменение общего тона и содержания газет, со страниц которых постепенно исчезали наиболее воинственные выпады против “космополитов”, “врагов народа”, “иностранных шпионов” и т.д., а потом стали выходить из употребления и сами эти понятия. Это была та отдушина, которой оказалось достаточно, чтобы общественная мысль почувствовала некоторую свободу для самовыражения. Наиболее заметно этот процесс затронул литературу: там стали появляться вещи, не похожие на те, что определяли собой лицо литературы, публицистики еще год назад.

В последних номерах “Нового мира” за 1953 г. были опубликованы роман В.Пановой “Времена года” и статья В.Померанцева “Об искренности в литературе”, в течение 1954 г. журнал предоставил свои страницы критическим статьям Ф.Абрамова, М.Лифшица, М.Щеглова и др.(14) Так начала складываться новомирская традиция, во многом определившая строй духовной жизни 50 — 60-х годов. Ее истоки вели к главной этической традиции русской литературы (и главному смыслу нравственных исканий русской интеллигенции) — поискам правды и смысла жизни. Осознанное или подсознательное ощущение лжи, в которой пришлось прожить жизнь не одному поколению советских людей, сформировало первую потребность — погребность в правде. Эта правда пока не ворошила прошлое (путь туда все еще был закрыт), но стремление понять сегодняшний день, а не ждать объяснений сверху, требовало нового — непредвзятого — видения. Естественно, этот процесс, инициированный послесталинской литературой, не мог замкнуться только в ее рамках: настоятельность разговора о правде была подготовлена всем предшествующим ходом развития общественной мысли. Поэтому писатели и критики, первые поднявшие эту проблему, сразу оказались в фокусе общественного внимания.

В разговор об искренности, предложенный В.Померанцевым, включилась большая читательская аудитория. Многие благодарили автора. “Это смелое, правдивое, справедливое, небывалое в нашей литературе (советской) слово простого честного человека, который давно заметил безобразия, возмущался, порой испытывал страстное желание высказаться, но не мог: то еще мало знал, то не находил слов. И вот наконец — вылилось! Большое-пребольшое

Вам спасибо! Все сколько-нибудь мыслящие и любящие истину люди Вас понимают”, — писал В.Померанцеву Н.Щенников из Куйбышева(15).

“Я считаю, что величайшая заслуга товарища Померанцева состоит в том, — говорил на одной из читательских конференций писатель В.Дудинцев, — что он в первый раз громко крикнул о необходимости искренности, воззвал к нашей совести”(16). К нашей общей совести, уточнял свою мысль В.Дудинцев, потому что “инерция неискренности” — это не только проблема литературы, а болезнь всего общества(17). Проблемность заявленной Померанцевым темы в такой постановке заметно расширялась: здесь уже прочитывается косвенный выход на проблему преодоления наследия прошлого, на проблему общественной “вины” и общественной ответственности. Но главное — осознанное стремление встать на этот нелегкий путь самопознания — и в общественном, и в личном плане... “Прочитав статью “Об искренности в литературе”, я по-прежнему намерен относиться к своей работе, вернее, смелее намерен относиться”(18), — такого рода суждения в читательских откликах на статью Померанцева не единичны.

Но дело было не только в личной позиции, личном выборе. “Искренность писателя не зависит от того, понял он ее необходимость или нет, — делился своими сомнениями Г.Щукин в письме к Померанцеву. — Я почему-то уверен, что ни Ваша статья, ни множество подобных ей статей не изменят принципиально нашей литературы. До тех пор, пока существует предрассудок, ставящий литературе цели “воспитания средствами искусства” и превращающий отношения писателя к литературе в отношение к средству добиться славы, денег, до тех пор, пока существует здесь любая предвзятость, литературы у нас, которой можно было бы гордиться, — не будет. Однако все это уже больше относится к политике, нежели к литературе”(19).

Начатый литературным журналом литературно-критической статьей разговор о правде по мере его развития выходил на самый широкий спектр общественных проблем, получал явно политический оттенок. Статья Померанцева дала лишь решающий импульс процессам, которые давно подспудно вызревали в умах мыслящей части общества. Если судить по читательской почте, люди больше всего были обеспокоены тем, чтоб дискуссия о правде не потеряла набранную высоту, не опустилась до уровня житейско-обыденных трактовок. “Искренность нельзя понимать как поведение мальчика, отдающего мамаше сдачу после магазина, — высказывался по этому поводу московский студент Лавидус. — Искренность надо понимать не только как правильное отображение жизни сейчас, но обращать внимание вообще на те минусы, которые, может быть, не всем заметны”(20).

Современный читатель, искушенный в газетных баталиях, прочитав статью Померанцева, возможно, вообще не поймет, из-за чего тогда разгорелись такие страсти, осложнившие жизнь и автору статьи, и редактору "Нового мира" Твардовскому, и самому журналу. Действительно, на первый взгляд в статье Померанцева, а также выдержанных в близком духе других выступлениях журнала не было ничего, что противоречило бы официально провозглашенным идеологическим и политическим принципам: именно сверху прозвучал тогда призыв бороться против "приукрашивания жизни", против так называемой "теории бесконфликтности". Не случайно в своем письме, адресованном членам Президиума ЦК КПСС (июль 1954 г.), Твардовский писал: "Никакой особой "линии" у "Нового мира", кроме стремления работать в духе известных указаний партии по вопросам литературы, нет и быть не может. Указания партии о необходимости развертывания смелой критики наших недостатков, в том числе и недостатков литературы, обязывали и обязывают редакцию, в меру своих сил и понимания, честно и добросовестно выполнять их" (21).

Решение ЦК КПСС, оформленное как резолюция президиума правления Союза советских писателей "Об ошибках журнала "Новый мир" (август 1954 г.), давало понять, что Твардовский и возглавляемый им журнал поняли свои задачи неверно, увлекшись критической стороной дела (22). Это было первое предупреждение. Причем не только "Новому миру", но и всем, кто готов был разделить формирующиеся этические принципы журнала.

Аналогичная судьба постигла литераторов, взявшихся за развитие другой темы — антибюрократической. Причем в отличие от официальной линии критики бюрократизма, замкнутой в общем на побочных процессах — волоките, очковтирательстве и т.д. — продолженная литературой тема сразу вышла на качественно иной уровень — на проблему номенклатуры как таковой. Одним из первых с такой постановкой выступил Л.Зорин в пьесе "Гости" (журнал "Театр", 1954 год, N 2). В трактовке драматурга один из главных героев пьесы вовсе не похож на надоедливую, но в общем безобидную бюрократа-волокитчика — в духе представлений о "типичном" образе этого персонажа. "Я знаю, что вы и ваши друзья — вовсе не бумажные чертики, — говорит герою его главный оппонент. — Знаю, что вы на все пойдете, знаю, чем мне это грозит" (23). И здесь же готовность к борьбе против "сильных мира сего": "Знаю, что сам я не богатырь, не исполнил, а самый обычный и сильно немолодой, столь же сильно побитый жизнью. Но при этом — человек, не отученный ни думать, ни чувствовать, ни надеяться. Есть в этой жизни один закон: гости приходят и уходят, а хозяева остаются" (24). Но кто в этой жизни "гость", а кто — "хозяин"? Этот вопрос автор оставляет откры-

тым. Момент противостояния зафиксирован, как зафиксирована и основная линия будущей борьбы. Этот момент получил моментальную оценку — и наверху, и внизу. Целый ряд разгромно-разоблачительных статей, общая тональность которых явно указывала на присутствие организующего начала, поспешили объявить пьесе “клеветнической”, “идейно порочной”, “фальшивой”, страдающей “отсутствием истинных жизненных конфликтов”, “ложным разоблачительством” и т.п.(25)

В то же время пьеса Зорина стала одним из первых литературных произведений, послуживших поводом для развития нового общественного начинания — кампаний поддержки в форме письменных обращений к руководству. Одно из таких писем написал А.Д.Сахаров. “Я не помню, в чем там (в пьесе. — Е.З.) было дело, — вспоминал он позднее, — но пьеса, написанная на грёбе “оттепели”, задевала новую советскую партийную бюрократию... Конечно, мне не стоило так начинать свою эпистолярную деятельность (Сахаров имеет в виду письмо к Хрущеву в защиту пьесы Зорина. — Е.З.), это было “не постановочно”, я просто поддался на “подначку”. Но с другой стороны, как-то надо было начинать. А принципиально выступить против “нового класса”, по терминологии Джиласа, было не так уж плохо. Это было мое первое письмо Хрущеву и вообще первое выступление вне специальности. Я плохо помню, чем кончилось это дело. Кажется, из какого-то отдела ЦК пришла формальная отписка”(26).

Это были только первые проблески нового общественного сознания, которое формировалось на основе преодоления прежнего — “установочного” — мышления, когда казалось, что все, что спускается сверху или делается по указанию оттуда, изначально правильно и непогрешимо. Но стоило отказаться от этой предопределенности (или хотя бы усомниться в ней) — и в сознании поселялись парадоксы — от несхожести оценок, от чувства внутреннего протеста, от несогласованности собственного мнения и мнения официального. Может быть, тогда, в 50-х, и появилось собственное мнение как общественная реальность. И общественная самооценка. И произошло это не в последнюю очередь потому, что появилась литература, которая, несмотря на все проработочные выпады официальной критики, оставалась прежде всего литературой в самом глубинном смысле этого понятия. Литературой, способной не только подтвердить усвоенные ранее взгляды, но и изменить их, поставить под сомнение, еще раз задаться вопросом, что есть истина и ложь в этом мире.

“В феврале этого года я прочитал в “Правде” статью т.Бубеннова о романе Гроссмана “За правое дело”... — писал А.Твардовскому инженер И.Ефимов из Минска. — Не имея достаточно времени, чтобы знакомиться со всеми новинками художественной

литературы, я принял за правило — не тратить времени на чтение тех произведений, которым дана отрицательная оценка в газете “Правда”, и за 30 лет не было случая, чтобы оценка “Правды” не оправдалась бы... Да иначе, казалось, и быть не может. Ведь “Правда”, наряду с классиками марксизма, формирует не только наше сознание, но и художественные вкусы. Прочтя уничтожающую критику первой книги романа “За правое дело” не где-нибудь, а в “Правде” и не кого-нибудь, а члена редколлегии журнала, напечатавшего этот роман, стоило ли тратить время на чтение “идейно порочного” романа с “серыми” героями? Но вот, отдыхая в санатории со скудной библиотекой, я был вынужден взять книжки “Нового мира” и начал перелистывать “За правое дело”. Однако вместо перелистывания отрывался от чтения этого романа, только чтобы принять пищу и обязательные санаторные процедуры. Как же случилось, что меня, немолодого инженера, давно читающего художественную литературу, заранее подготовленного авторитетной статьей в “Правде”, что это серое, рыхлое, безыдейное произведение, захватило такое произведение и я с удовольствием прочитал его два раза подряд? Я мог объяснить себе этот факт только тем, что впервые за много лет мне попала книга, где правдиво показаны люди такими, какими они бывают в жизни, а не сработанные по схеме “отрицательных” и “положительных” (27).

Это одна позиция. Однако, как свидетельствуют те же читательские письма, далеко не все оказались готовыми принять “откровенный разговор”, начатый литературой и публицистикой 50-х годов. Комментируя эту ситуацию, Ф.Абрамов со свойственной ему иронией как-то заметил: “Писать правду всего легче, чем неправду; труднее печатать ее. Но и напечатать — не самое сложное, труднее же всего, когда свой брат писатель и читатель, выросший на фигурах у: алчания и красивых замсах, отвыкший от полной правды, считает ее неподходящим для искусства, неэластичным материалом, который грубостью и прямолинейностью губит форму и не производит должного впечатления” (28).

Кто-то смутился, не умея подвести новых героев под категории “положительных” и “отрицательных”, кто-то пришел в возмущение, не увидев в книгах и очерках “руководящей роли” партии. Позиция была примерно такова: если есть “руководящая роль”, значит все недостатки преодолимы; партия рассматривалась как единственная сила, обеспечивающая обществу необходимую стабильность. Один из читателей, высказывая претензии по поводу очерка А.Злобина “Месяц в пятом районе”, продолжившего “борзовскую” тему В.Овечкина, писал: “Автор очерка, вырвав отдельный факт из жизни великой стройки (речь в очерке шла о строительстве. — Е.З.), не показал всех ее сторон. Неужели не было на такой крупной

стройке ни одного честного, принципиального коммуниста, как реагировал на это политотдел стройки? В очерке совершенно не показана роль партийной организации как органа контроля деятельности администрации. Совершенно не показано, как же в конце концов было исправлено положение дел на строительстве" (29).

Стоит ли говорить о том, что "исправление положения" автору этого и подобных ему писем виделось только как результат вмешательства партийных органов. Сама же "руководящая роль" партии мыслилась как присутствие партийного работника в нужном месте и в нужное время. Поскольку же партия в понимании таких людей всегда была "на страже", любые недостатки, промахи, ошибки выглядели досадным "недоглядом" бдительного партийного ока, обидным, но в общем легко устранимым недоразумением. Или, выражаясь языком защитников этой точки зрения, они были "нетипичны".

Двухмерное восприятие жизни как сочетание "положительного" и "отрицательного", "типичного" и "нетипичного" в принципе очень удобное для навешивания разного рода ярлыков на все и вся, кто не вписывался в эту жесткую схему, было совершенно недостаточным, чтобы обеспечить конструктивный анализ действительности, ничего общего не имеющий с двухмерным пространством прямолинейного мышления. Тем более в то время, когда эта действительность больше ставила вопросов, чем давала ответов на них. Отсюда — рождение стремления выйти из порочного круга старых схем, попытаться осмыслить конфликты реальной жизни в их первоизданности. Общественные науки, хоть и с опозданием, но тоже включились в этот процесс.

В 1955 — 1956 гг. на страницах журнала "Вопросы философии" прошла дискуссия о противоречиях при социализме. Какие противоречия существуют в социалистическом обществе? Каковы их природа, характер, методы разрешения? Как соотносятся противоречие и конфликт? Эти и другие вопросы стояли в центре внимания участников дискуссии. Главный вывод дискуссии заключался в признании и обосновании того факта, что противоречия при социализме имеют объективную природу и не являются результатом "злого умысла" и "происков врагов". Проводилась мысль, что далеко не все противоречия возникают вследствие действия закономерностей социалистического развития или остаются в наследство от прошлого. Часть из них обостряется в результате проведения неправильной политики, неумения организовать общественную практику в соответствии с объективными законами развития социализма. Принципиальное значение придавалось вопросу о выборе момента разрешения противоречий, способах и формах этого разрешения. "При социализме противоречия решаются постепенно, без взрыва, по инициативе сверху — партии и госу-

дарства, при все возрастающей поддержке снизу, со стороны народных масс”, — считал, например, Ц.А.Степанян(30). В этой особой роли центра при разрешении конфликта виделось отличие социализма от капитализма, где противоречия разрешаются путем “революционного натиска низов”(31). Подобная позиция встречала и возражения. “Разве правильно противопоставлять верхи низам? — спрашивал П.Н.Трусов. — Разве в истории нашей Родины не возникали стихийно в массах коммунистические субботники или, например, стахановское движение и другие формы социалистического соревнования, которые были подхвачены верхами и облечены затем в организационную форму? Вот почему правильно будет полагать, что в разрешении противоречий социалистического общества проявляли и впредь будут проявлять инициативу и низы, и верхи...”(32). В тот период, когда общество стояло на пороге перемен, вопрос, кто начнет эти перемены, из области теории переключался в область непосредственной практической деятельности. Ответ на него всегда носит конкретно-исторический характер.

Процесс роста политически активных общественных сил хотя и начался, но развитие его в 1953 — 1955 гг. протекало вяло, он так и не принял тогда массового характера. После 1953 г. средства массовой информации стали проявлять повышенный интерес к системе обратной связи, т.е. к реакции читателей на те или иные выступления печати. В ряде газет и журналов появились специальные рубрики, предназначенные для публикации писем читателей. Увеличение читательской корреспонденции стало считаться делом престижа. Поскольку новое поветрие был общим, а активность общественности — не везде на желаемом уровне, то ее приходилось имитировать (и такие случаи действительно имели место).

Когда редактор областной ворошиловградской газеты обнаружил, что редакция за 1953 г. получила писем меньше, чем за 1952-й, он немедленно решил поправить положение: поручил корреспондентам газеты организовать по 25 писем каждому. Дальнейшее развитие событий очевидец описывает так: “Корреспонденты заволновались. В редакции то и дело раздавались телефонные звонки: “Разъясните смысл и идею нового почина”, “Какие темы больше всего интересуют газету?”. Из редакции отвечали: “Валйте на любую тему, это ведь не для газеты, а для отчетности”. Три дня длился аврал. Поток писем нарастал. Разгадав подлинный смысл бюрократической затеи, отдельные корреспонденты действовали скоростными методами. Так, корреспондент по Беловодскому району за один день организовал 26 писем. Все они написаны одной рукой на одну и ту же тему — “Досрочно отремонтируем тракторы”. “Дружными усилиями задание было перевыполнено”(33).

Нередко можно слышать, что годы, прошедшие от смерти Сталина до XX съезда партии, были своего рода межвременьем, когда в обществе мало что сдвинулось с места. Если судить происходившие тогда процессы по их поверхностному течению, то это, возможно, и так. Но глубинный смысл начавшихся тогда перемен был несколько иным, о чем весьма точно, вспоминая свои собственные ощущения, написал И.Эренбург: "1954 — 1955 годы кажутся затянувшимся прологом в книге бурных походов, неожиданных поворотов, драматических событий. Это, однако, не так. В моей личной жизни то время отнюдь не было тусклым: сердце оттаивало, я как бы начинал заново жить. Названные годы не были бледными и в жизни нашей страны. Начало справедливой оценки несправедливостей прошлого не было случайностью, оно не зависело ни от добрых намерений, ни от темперамента того или иного политического деятеля. Просыпалась критическая мысль, рождалось желание узнать об одном, проверить другое. Сорокалетние постепенно освобождались от предвзятых суждений, навязанных им с отрочества, а подростки становились настороженными юношами" (34).

Журналист А.Злобин, который всего несколько лет назад думал над тем, почему люди предпочитают не замечать истинные "болевые точки" действительности, также констатировал начало поворота в общественном сознании: "мы заговорили о наших недостатках в полный голос" (35).

2. Социально-психологические проблемы реабилитации

Движение к открытому обществу, признаки которого наметились в 50-е годы, осуществлялось как стихийно, так и под воздействием принятых тогда политических решений. В числе последних безусловный приоритет принадлежит решениям по освобождению и реабилитации политических заключенных. Спустя много лет именно это событие по оценкам современников (прежде всего интеллигенции) воспринимается не только как главный политический шаг постсталинского руководства, но и своего рода момент искупления его настоящих и будущих "грехов". Тогда, в 50-х, действительно казалось, что ворота тюрем и лагерей открылись исключительно благодаря "доброй воле" властей; сам факт был настолько ошеломляющ в своей очевидности, что мало кто задумывался над истинными причинами столь решительного поведения руководства.

Вопрос о числе жертв сталинских репрессий до сих пор является предметом споров между учеными и публицистами, в которых цифры колеблются от нескольких миллионов до десятков миллионов человек (36). Однако несмотря на все расхождения, ис-

следователи этой темы фактически сходятся в одном; к моменту смерти Сталина в лагерях и колониях ГУЛАГа находилось самое большое за все годы советской власти (не говоря уже о российской истории в целом) число репрессированных. Это был целый социум, живущий как бы в отдельном государстве, которому А.Солженицын придумал особое имя — Архипелаг ГУЛАГ, имя удивительной страны, “географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, — почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую населял народ зэков. Архипелаг этот чересполосицей иссек и испестрил другую, включающую страну, он врезался в ее города, навис над ее улицами — и все ж иные совсем не догадывались, очень многие слышали что-то смутно, только побывавшие знали все” (37).

Содержать это “государство в государстве” чем дальше, тем больше становилось все менее выгодным. И не только по меркантильным соображениям, всегда ставящим под сомнение эффективность использования принудительного труда. Но и по соображениям чисто политического характера: ГУЛАГ, созданный для поддержания общественной стабильности, по мере роста сам становился источником социальной напряженности. Кроме того, новому руководству страны предстояло позаботиться о своем международном престиже; имидж демократической страны, на который работала вся советская пресса, плохо сочетался с огромной армией политзаключенных, которой — в таких масштабах — не имел ни один откровенно деспотический режим. Так что реабилитация могла принести большой политический выигрыш, как средство формирования доверия к “коллективному руководству” внутри страны и за ее пределами.

Вместе с тем надо признать, что, несмотря на всю обусловленность и даже настоятельную необходимость решений по реабилитации, они являли собой принципиально новый шаг в политической истории последних десятилетий, факт инициативы верхов, стимулированный законами здравого смысла, заслонившими на какое-то время разногласия и вражду внутри правящей группы.

Первые признаки некоторого смягчения общего политического климата в стране дали себя знать фактически сразу после смерти Сталина: в апреле 1953 г. прошла реабилитация по “делу врачей”, были отменены постановления ЦК ВКП(б) 1952 г. о якобы раскрытой в Грузии мигрельской национальной организации. В сентябре 1953 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ликвидировалось Особое совещание при МВД СССР и другие внесудебные органы (“тройки”, “пятерки” и т.д.), вершившие в недавнем прошлом расправу без суда и следствия. В апреле 1954 г. Верховный Суд СССР пересмотрел “ленинградское дело” и реабилитировал осужденных по нему партийных и хозяйственных ру-

ководителей. Годом позже началась реабилитация по политическим процессам 30-х годов. Уже в 1953 — 1954 гг. из лагерей и ссылкок начали возвращаться люди.

После XX съезда партии, когда процесс реабилитации принял массовый характер, А.А.Ахматова как-то грустно заметила: “Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили” (38). Соглашаясь и споря с Ахматовой, историк Ю.П.Шарапов уточнил: “Великий поэт была права и неправа. Неправа Ахматова в том, что не упомянула третью Россию — ту, что не сажала, ту, которую не сажали. Эта Россия тоже существовала; десятки миллионов советских людей в 30 — 50-х годах жили и работали по одну сторону колючей проволоки, десятки миллионов — по другую. Советское общество не состояло только из заключенных, с одной стороны, палачей и доносчиков — с другой...” (39).

Действительная ситуация часто выбивалась и из трех измерений, являя каждый раз жизненные драмы, поломанные судьбы: среди жертв могли оказаться бывшие “доносчики и палачи”, а среди лагерных службистов можно было встретить и истинных палачей, и людей, потенциально честных, но обманутых перевернутым пониманием чувства долга и смысла служения. За всем этим клубком человеческих судеб — настоящая трагедия целого поколения. В ней истоки духовных поисков шестидесятых, но в ней же и одна из причин раскола поколений, заострившего до антагонизма вечный конфликт “отцов” и “детей”. ГУЛАГ превратился в большой вопрос, как-то сразу обретя единый духовный смысл ответственности и вины. ГУЛАГ был той самой реальностью, с существованием которой не могло примириться сознание молодых, а старшие не находили удовлетворяющих максимализм юности объяснений своей причастности или непричастности к этой реальности.

Известный ученый Б.В.Раушенбах, которому довелось провести несколько лет в лагере, писал о разном восприятии лагерной жизни, ее наиболее жестоких проявлений людьми, смотрящими на эту жизнь извне и изнутри. Эти взгляды трудно сопоставимы, потому что у человека, попавшего в сети ГУЛАГа, происходил психологический сдвиг, своего рода привыкание к новой реальности, когда страшное начинало восприниматься как естественное (40). Аналогичные процессы “привыкания” характерны и для общества в целом: если это общество принимает ГУЛАГ как свою “нормальную” часть — значит там тоже происходит психологический сдвиг, т.е. появляется иное измерение вещей.

Реабилитация нарушила это привычное измерение. Но психологическое отчуждение бывших гулаговцев от людей свободных преодолевалось с большим трудом. Не в последнюю очередь эти трудности предопределялись самим характером реабилитации, в

народе названной “стыдливой”. Она даже не была реабилитацией в полном смысле слова, свобода пришла как некое отпущение грехов, как результат “высшей милости”. Однако это было освобождение, а вышедшие на свободу люди первоначально вообще не задумывались о ее “исполноценности”.

Надо было видеть, как люди покидали “зону”, читаем строки из письма бывшего заключенного А.П. Борисова, “когда зэк, выйдя за ворота, вдруг обнаруживает, что за ним нет конвоя и он не слышит обычного “не вертхайся!”. Свобода! За долгие годы жизни в зоне мы совершенно утратили чувство ориентировки на свободе и вели себя, наверное, странно. Зэк, вышедший на свободу, держится в стороне от людей и бежит в природу. Я готов был обнимать и целовать каждую березку, каждый тополь, шелест опавших листьев казался мне сладчайшей музыкой и слезы навертывались на глаза. Мне было наплевать на то, что я получал 500 граммов хлеба — ведь я мог читать книги, газеты и часами слушать тишину”(41).

На момент освобождения свобода была высшей ценностью, заслионившей собой трудные проблемы жизненного обустройства бывших гулаговцев. Но со временем эти проблемы из как будто бы второстепенных превратились в первоочередные, поскольку речь шла вовсе не о быте, а о жизненном статусе тысяч и миллионов людей. Их не всегда принимали на места прежней работы (решение этого вопроса положительно было скорее исключением, нежели правилом), для них практически была закрыта дорога в высшие учебные заведения, в любом отделе кадров подозрительно смотрели на человека с биографией репрессированного.

Об этой проблеме, столкнувшись с ней на собственном опыте, написал В.Л. Жевтун, арестованный 16-летним подростком и проведший в заключении восемь лет. После освобождения он добился пересмотра дела и был полностью реабилитирован. Однако его судьба после реабилитации изменилась мало: в вуз его, несмотря на все попытки, не приняли, ссылаясь на прошлое, и он устроился работать кочегаром. И вот итог: “Я не злопамятен. Все хорошо, что хорошо кончается. Но вся беда в том, что до сих пор встречаются люди, прошедшие через весь этот ад и до сих пор не нашедшие своего места в жизни. Одни, не принятые обществом, стали искать утешения в религии, стараясь создать новые верования, дающие возможность хоть на время забыть действительность и удовлетворить свою духовную потребность. Не случайно такое большое количество различных сект, активизирующих свою деятельность в настоящее время. Они возникли вследствие поисков утраченной и искалеченной жизни, потери доверия к обществу. Другие стали искать забвения в водке. Для живущего в нормальных условиях человека трудно представить, что значит

водка для парии, отверженного. В ней все: и забвение прошлого, и прекращение дум о том неизвестном, что ждет впереди, в ней воля, уголок счастья, за который можно отдать и отдают все. Мои же спасителями всегда была книги. Они помогли мне пережить самое страшное, сохранить веру в людей" (42).

Это письмо относится к началу 60-х годов, когда уже прошла массовая реабилитация и даже было принято решение поставить памятник жертвам репрессий. А проблем у бывших политзаключенных было все еще больше, чем надежд когда-нибудь их разрешить. "А что, до конца ли мы, бывшие эски, ни в чем не виновные, будем реабилитированы? — задавался вопросом Д.И.Маркелов из Керчи и сам же отвечал: — Вопрос мною решен: Нет! Не будем! Моя судьба? Мое будущее? Оно уже определилось: на словах — доверие; на деле — сомнение; в душе — вечная подозрительность со стороны власть имущих. И меня это уже не беспокоит. Главная задача все-таки решена: мои дети на вопрос в анкете "кто отец?" могут писать смело и честно: "офицер запаса, участник Великой Отечественной войны, коммунист с 1931 года" (43).

Так в советском обществе обозначилась проблема "изгоев", по своему скорректировавшая историческую память народа. Признание полной невиновности жертв означало бы не снятие проблемы вины, а перенесение ее на тех, кто беззакония творил, и в какой-то степени на тех, кто этот порядок вещей принимал. Пусть косвенно, но бремя ответственности в таком случае падало на всех, кто оставался на свободе. Не всякое сознание готово принять на себя такой груз, а тем более сознание людей, сформированное на принципе противостояния. Такое сознание способно еще "перекрашивать" врагов, но не в силах отказаться от образа врага как такового; последнее — дело долгой культурной эволюции. Массовое восприятие "болевых точек" действительности, всегда сориентированное на поиски виноватого, не было подготовлено к одномоментной перестройке: не принимающее идею безвинности жертв, оно было способно лишь к движению от убеждения "зря у нас никого не сажают" к сомнению, что, возможно, все-таки "посадили не тех". Социальная память была не только травмирована искаженными представлениями о сути происходивших в стране процессов, когда откровенные преступления подавались как "акт возмездия", но и ее возможная эволюция в направлении самопознания долгое время искусственно сдерживалась. "Лагерная" тема была под запретом.

Первая брешь в этой стене молчания появилась лишь в 1962 г., когда журнал "Новый мир" опубликовал повесть А.Солженицына "Один день Ивана Денисовича". Это была первая общедоступная информация о лагерной жизни, увидевшая свет поч-

ти десять лет спустя после того, как были приняты решения о реабилитации. Десять лет молчания не могли пройти бесследно, и прежде всего для развития общественной мысли, которая успела к тому времени разделиться на два потока, два направления: легальное, поддерживаемое волной "оттепели", и нелегальное — с гулаговской "родословной". Их пути если не разошлись совсем, то во всяком случае не слились воедино. Одни искали ключи к прогрессивным переменам внутри существующей системы или, по крайней мере, отталкиваясь в своих поисках от сложившихся обстоятельств, вторые же, поставленные этой системой в положение "изгоев", изначально не принятые ею, в своем духовном движении усилили тенденцию отторжения. В этой реакции отторжения истоки советского диссидентства — движения, пытавшегося найти нишу вне общественной системы, на трансформацию которой оно стремилось повлиять. В этом его особенность, его смысл, но где-то здесь — и трагическая обреченность "постороннего".

Реабилитация решила часть проблем (прежде всего проблему освобождения репрессированных), но одновременно принесла с собой новые, заставившие мыслящую часть общества взглянуть другими глазами на прошлое страны и ее будущее. Сейчас есть все основания честно и без предвзятости оценить тот первый шаг. Но одного, видимо, отрицать все-таки нельзя: несмотря на все издержки и недоговоренности, то был шаг от перманентной гражданской войны к гражданскому миру.

3. Поворот к человеку: путь "сверху" и "снизу"

Обычно, когда говорят о десталинизации, имеют в виду прежде всего процессы политического свойства, изменения в политической жизни советского общества 50 — 60-х годов. Отчасти это верно, однако увлечение политическими акцентами оставляет в стороне по-настоящему глубинные процессы, определившие духовный смысл "оттепели". Этот смысл не проявился вдруг — как очевидно — он выросал изнутри, совершенно естественно и даже неожиданно. Само понятие "оттепель" возникло тоже ведь не как констатация случившегося, а как предчувствие того, что еще только должно было произойти; оно рождалось скорее на уровне ощущений, нежели логических заключений, а потому было в общем личным. За личным же стоял человек. Так уж случилось, что общество, привыкшее иметь дело исключительно с "человеческим материалом", благодаря этому личному взгляду вдруг начало открывать для себя (или в себе?) новую ценность — человека.

И здесь снова не пройти мимо главной точки отсчета — марта 1953-го, соединившей почти мистический ужас перед идолом, который оказался простым смертным, и житейское осознание неизбежности столь человеческого исхода. Это был поворот, вернее опять-таки предчувствие поворота, которому еще только предстояло как-то оформиться, организовать, обрести плоть и кровь конкретности. Естественно, что в первую очередь он дал себя знать в наиболее чувствительной к интуиции сфере — духовной жизни, материализуясь в новой литературе, театре, музыке, живописи. Именно там во весь голос зазвучала “личная тема”, которую приходилось не просто реабилитировать (хотя бы опираясь на классическую традицию), но буквально отвоевывать: так сильно оказалась власть стереотипов, расставившей приоритеты между “общественным” и “личным”.

Личная жизнь воспринималась как своего рода приложение к производственному процессу, и хотя время революционной романтики, отложившее “чувства” до победы мировой революции, давно прошло, его наследство прочно сидело в умах, создавая целую систему неформальных нормативов поведения для каждого. Личная жизнь считалась делом общественным: партийные комитеты и профсоюзные организации бдительно следили за “моральным обликом” своих членов, разбирая семейные конфликты, служебные романы и просто сплетни. Конечно, несмотря ни на что, люди жили своей жизнью, организуя ее по собственному разумению, а та жизнь, которой им надо было бы жить, исходя из официально утвержденного набора моральных ценностей, существовала большей частью на экранах и в книгах.

К этому привыкли. Поэтому, когда в литературу, кинематограф постепенно и даже робко стала проникать реальная жизнь, где люди были такими, какие есть, а не такими, какими им надлежало быть, это вызвало сложную реакцию. Правда, уже не такую однозначную, как раньше. Раньше читательский глаз был бдительнее: стоило герою несколько отвлечься от проблем производства и заняться личной жизнью, ему уже трудно было попасть в число “положительных” персонажей. Так, Г.Г.Марейчев из Новосибирска, читая повесть А.Бска “Новый профиль”, обратил внимание, что в то время, как главный герой повести всецело увлечен мыслями об усовершенствовании технологии забивания шпунта, его подруга Надя “недостаточно думает о производстве”, а питает к герою чувства “иного рода”. “Это значит, что Надю несколько не затрагивает вопрос о шпунте, — говорит бдительный читатель, — что она просто Надя и что она несколько не любит Васю и не только Васю, но и строительство. Если бы она любила, она бы загорелась вместе с Васей”(44).

Этот читательский отклик можно было бы отнести к числу курьезных, если бы не одно обстоятельство: в его спрямленной логике распространенные стереотипы мышления отражены в своих крайних формах, выступают в чистом виде добросовестного примитивизма, в общем характерного для массового сознания тех лет. Подобные взгляды уже тогда вызвали чувство протеста: думающий читатель не принимал героев, “любящих пушку больше, чем свою жену”, и откровенно приветствовал книги, в которых живую жизнь не заслоняло ее схематичное подобие(45). “Надоело читать одинаковые, похожие друг на друга, однообразные, прилизанные, бесконфликтные или непременно с “производственным” конфликтом романы, повести, рассказы, пьесы, — писал В.Оскотский из Ленинграда. — А киноискусство зашло еще дальше: вместо фильмов о нашей повседневной жизни нас пичкают заграничной макулатурой типа “Тарзана” или “Острова страданий”. Конечно, куда легче ставить историко-биографические фильмы или экранизировать спектакли. Легче — это значит безопаснее. Но человека нет на экране. Современного человека”(46).

“Отсутствующего” человека читатели нашли в книгах В.Гроссмана, В.Пановой, И.Эренбурга, Э.Казакевича и др. Небольшая повесть Э.Казакевича “Сердце друга”, опубликованная “Новым миром”, неожиданно вызвала бурную реакцию негодования со стороны “блюстителей нравственности”. Поводом для резкого осуждения (а автора упрекали ни много ни мало, как в “биологизме”, “опошлении советской женщины” и тому подобных “грехах”) послужил всего один эпизод — сцена свидания героя повести капитана Акимова с учительницей Наташей, решенная Э.Казакевичем, быть может, в более естественной, чем полагалось канонами советской литературы, форме. Протестовали целыми педагогическими коллективами. Вот один из типичных откликов этой серии (его автор — директор школы из Москвы): “Вы, т.Казакевич, неверно и слишком бесцеремонно размахнулись за счет советской учительницы, которая всегда под руководством нашей партии отдавала все для воспитания советских патриотов. У Вас же на фоне всех положительных образов учительница Наташа получилась такой жалкой и одинокой, которая доступна только для удовлетворения чисто мужских страстей случайно подвернувшихся советских офицеров”(47). Давались и практические советы, как “усовершенствовать” повесть: вызвавшую споры сцену предполагалось переделать в “положительном” ключе, т.е. без “этого”(48).

Но была и совершенно противоположная реакция. “Обвиняют Вас в биологизме, — писал Э.Казакевичу читатель В.Бойцов, — а я, например, искренне обрадовался Вашей смелости, ибо обычно интимные отношения в книгах выставляют в виде многоточия, в то время как прямым долгом писателя является учить молодежь

серьезно и с уважением относиться к интимным отношениям людей" (49). Вопрос ставился шире: имеет ли человек вообще право на личную жизнь — всегда, при всех обстоятельствах и жизненных ситуациях? Несмотря на кажущуюся риторичность самого вопроса, он вызвал вполне конкретные и весьма острые споры. Часто вспоминался в этой связи опыт недавней войны.

"В дни Великой Отечественной войны советский человек-патриот не думал о пирогах и вечерках, а также любовных интрижках, — писала, например, А. Остапенко из Винницы. — Вся мысль его была устремлена к нашей любимой Отчизне, к любимой Советской Армии, к Великому и Мудрому полководцу И.В. Сталину" (50). Но многие из тех, кто прошел фронт, считали по-другому. Человек и на войне оставался прежде всего человеком, только война внесла свои нечеловеческие коррективы в нормальную человеческую жизнь. Но она, эта жизнь, все равно продолжалась, размышлял в своем письме бывший фронтовик Ю. Головцов из Таллинна, обращаясь к невидимому оппоненту. — "Да! Любовь на войне зачастую (если не всегда) была "болью", "тревогой", "ревнивым беспокойством" и часто "с нею надо было бороться". Поговорите-ка по душам с бывшими советскими воинами, прошедшими горнило фронтов Отечественной войны в течение четырех лет на передовой" (51).

Восприятие права на личную жизнь как права на внутреннюю свободу личности в этой своей зависимости быстро находило отклик, особенно в среде молодых людей. Так начиналось движение к внутренней раскрепощенности, без которой не может быть и открытого общества. На этом пути стояло слишком много нерешенных вопросов — философско-этических и личностно-конкретных, стереотипов прошлого наследия, устоявшихся норм поведения и характера мышления, чтобы рассчитывать на быстрые и устойчивые результаты нового порыва. Но процесс набирал силу и становился настолько заметным, что блокировать его только посредством "возмущенной общественности" было трудно. Настала очередь официальной реакции, которая последовала прежде всего со стороны инстанций, призванных отвечать за состояние общественного духа.

На Втором Всесоюзном съезде советских писателей (1954 г.) "проблема человека" звучала в ряду самых актуальных для современной литературы тем. Официальное литературное руководство, в свое время направлявшее дискуссии о "положительном" и "отрицательном", о "типичном" и "нетипичном", о "конфликтном" и "бесконфликтном", решило сказать свое слово о "производственном" и "личном". "В центре картины нашей современности, — говорил на съезде К. Симонов, — должны стоять те люди, которые стоят в центре жизни нашей эпохи, люди творческого труда, люди рывковые и несущие в себе вместе с тем ге-

роическое начало. Изображать этих людей *только в труде* ...значило бы, однако, показывать их однобоко. Ибо труд — центр их жизни, но еще не вся жизнь. ...Сколько секретарей райкомов, населяющих наши романы, повести, рассказы, лишились права на сон, обед, на врачебную помощь в случае болезни — я уже не говорю о любви и личном счастье — и все во имя того, чтобы таким бессмысленно жестоким, а главное — чаще всего неправдоподобным образом утвердить существование примата общественных интересов над интересами личными”(52). К.Симонов не покушался на сам принцип примата, полагая его самим собой разумеющимся (“это реальная правда жизни”)(53), но пытаясь, по-видимому, найти более гибкое соединение общественного и личного начала, пришел к такому заключению: “Общественная деятельность, труд как творчество, все в большей мере становятся личным делом человека, а в личной жизни его все большую роль играет отражение общественных интересов”(54).

Дело было за конкретными примерами. Они прозвучали в докладе А.Суркова. В качестве автора, сумевшего найти “правильное” сочетание личного и общественного, был назван В.Кочетов (роман “Журбины”), а в число отрицательных примеров попали И.Эренбург (повесть “Оттепель”) и В.Панова (роман “Времена года”). Чем же провинились, по мнению руководителя писательского союза, эти авторы? “Беда в том, — говорил А.Сурков, — что вопреки объективным законам метода (социалистического реализма, — Е.З.), они встали на нетвердую почву абстрактного “душеустройства” и противопоставили закономерностям развития личности общественного человека произвол авторских субъективных представлений о советских людях как индивидуумах, личная жизнь которых резко отграничена от их общественной жизни и трудовой деятельности”(55). Такую оценку получили писатели и книги, которые в большинстве читательских откликов приветствовались как раз за тот подход к предмету литературы, который именовался на языке официоза “абстрактным душеустройством”.

Механизм “табу” срабатывал в той самой точке, где намечалось наиболее уязвимое звено в структуре отношений между человеком и государственной системой. Эти отношения всегда держались на принципе подконтрольности человека как объекта управления, который постоянно находился внутри системы двойного прессинга: сверху — государство, снизу — коллектив. Замкнутое пространство выбора поступков, где на первый план выступали интересы групповые (по сути — корпоративные), сужало масштабы самореализации личности до комплекса служения. Служение выступало как обязанность всех, что предполагало личную растворенность в общей работе. Отсюда — привычка говорить и мыс-

лить "от имени", отождествляя себя с той или иной общностью ("коллективом").

Разбирая читательскую почту газет и журналов 50-х годов, можно отметить одну характерную особенность: среди писем, авторы которых стоят в целом на охранительных позициях, преобладают коллективные или начинающиеся словами типа "я, как и весь советский народ", "мы, советская молодежь", "нас, советских учителей" и т.д. И напротив, письма, спорящие с официальными трактовками, как правило, авторские. В них — зародыш того самого личного взгляда — аргументированного и не очень, который в основе своей идет на разрыв с традицией корпоративного мышления. А значит, становится менее управляемым, менее подверженным идеологической и всякой другой обработке. Принцип служения не исчезает, но становится осознанно зависимым от индивидуального выбора. В перспективе этот процесс мог стать одной из составляющих перестройки всей системы внутригосударственных отношений, заключающейся в отказе от традиционного патернализма и переходе к формированию основ демократических властных структур.

Подобная перспектива между тем совершенно расходилась с тем модернизаторским курсом, который, наконец, определила для себя верховная власть. Руководство страны после смерти Сталина осуществило поворот к социальным программам, пытаясь перенести центр тяжести экономической политики с форсированной индустриализации на те сферы производства, которые непосредственно обеспечивают рост народного благосостояния (легкую промышленность, сельское хозяйство, жилищное строительство). Разрабатывалась широкая система социального обеспечения, была проведена паспортизация на селе, сокращался рабочий день, увеличивались отпуска, предприятия приступили к расширенному строительству баз отдыха и санаториев для своих работников. Действительно, таких масштабов социальных изменений, как в 50 — начале 60-х годов, наша страна еще не знала. Кажется, политика действительно повернулась "лицом к народу", к достижению той самой "лучшей жизни", о которой говорилось и с высоких трибун, и в обыкновенной семье. Почему же и тогда, и по сей день мы нет-нет, да и сталкиваемся с просто с пренебрежительным, а откровенно враждебным отношением к тому, что делалось для людей в 50-е годы? Что это — элементарная человеческая неблагодарность или дело упирается в издержки самого подхода к решению социальных проблем, когда за них берется не с того "конца"?

Ответ на этот и подобные ему вопросы, думается, уходит своими корнями в представления тех лет о человеке, его социальной функции, его месте в жизни. Когда он всего лишь предмет при-

ложения государственной политики, то место его в системе общественных отношений не меняется, каково бы ни было реальное содержание этой политики — “обирающее” или “одаривающее”. Заменив “брать” на “давать”, но сохранив за народом в общем пассивную роль в процессах общественного управления, нельзя было рассчитывать на желаемую отдачу и от материальных вложений в человека. Несколько позднее, когда начатая в 50-х линия на автономный подъем материального достатка в 70-х закономерно пришла к тупику, председатель одного колхоза как-то заметил: “Если раньше не работали из-за того, что знали — все равно ничего не дадут, то теперь не работают, потому что знают — все равно дадут” (56).

Позицию лидеров определял принцип государственного социализма, слепое следование которому низводило идею “поворота к человеку” до уровня тривиальной благотворительности.

“Теперь мы построили много домов с ванными комнатами и холодильниками, мы объявили войну жилищной нужде и нехваткам всякого рода, мы будем во сто крат больше заботиться о человеке. Дома при заводе должны строиться вместе с заводом, в любом городке должно все продаваться. Да, так и нужно, — написал В.Померанцев, а потом добавил. — Да, мы будем жить хорошо. И все-таки... все-таки, борясь за благоустроенный быт, нам надо оставаться *над бытом*” (57). Еще не было мысли, что состоялся “не тот” поворот (никто не отрицал необходимости решения бытовых проблем), но появились опасения, что сам поворот к быту может быть понят как самодостаточное движение.

Эти опасения В.Померанцева вполне разделял, например, В.Дудинцев. “Против моего дома есть балкон, — рассказывал он на читательской конференции в Ленинграде. — Всегда был “идейный” вид, “ничего не было” в кавычках, нельзя было понять, чем живут жильцы в этом доме. Но вот вдруг после постановления партии и правительства распахивается дверь на балкон, красивые занавески, жирный локоть и фокстроты с утра до вечера! ...Есть публика, которая неправильно поняла поворот к быту, выплоснула ребенка вместе с мыльной водой и самое прекрасное качество характера человека, что не бежит на танцульки, а мечтает перевернуть мир, ищет точку опоры, как Архимед, и вдруг это обесценивается” (58).

Боязнь быта, больше свойственная революционному романтизму 20-х годов, воскресшая в 50-е, несмотря на свой известный максимализм, все-таки имела и рациональную подоснову. Протест против “сползания” в быт, пусть выраженный в крайних и не всегда оправданных формах борьбы с “фокстротами” и “фикусами”, обозначил серьезную проблему, которая заключалась в осо-

знании главного: поворот к человеку и поворот к быту — явления не тождественные, во всяком случае не совпадающие абсолютно.

Социальная политика 50-х годов, несмотря на свой размах, фактически прошла мимо тех процессов духовного взросления общества, которые постепенно развивались снизу. Познание самооценности человеческой личности, ее исканий и страстей, занимающее общественную мысль, с одной стороны, и приверженность властей старому, объектному подходу к человеку — с другой, привели со временем не только к расхождению на этих двух уровнях оценок путей дальнейшей эволюции общества, но и к различному восприятию главной политической и нравственной проблемы 50-х годов — проблемы преодоления сталинского наследия.

4. Решения о “культе личности” и их влияние на общество

Теперь уже трудно восстановить доподлинно и точно, кому принадлежит сомнительная творческая находка — подвести под политические и экономические просчеты целых десятилетий теоретическое обоснование в виде ссылки на “культ личности”. Одно можно сказать определенно: появление этого понятия в лексиконе политических лидеров и на страницах печати первоначально вовсе не преследовало цель заложить краеугольный камень новой теории. Его употребление было достаточно условным, призванным как-то оформить “на словах” отказ от ритуального чествования вождей.

Вопрос этот поднимался уже на первом после похорон Сталина Президиуме ЦК 10 марта 1953 г., когда Г.М.Маленков, выступив с критикой центральной печати, подытожил: “Считаем обязательным прекратить политику культа личности” (59). Секретарю ЦК П.Н.Поспелову было дано поручение обеспечить необходимый контроль за прессой, а Н.С.Хрущеву — непосредственно за материалами, посвященными памяти И.В.Сталина (60). Таким образом, первоначально весь вопрос преодоления культовой традиции свелся к перестройке пропаганды.

Видимо, в ЦК существовала стойкая тенденция на этом и ограничиться, потому что несколько месяцев спустя, в июле, на пленуме ЦК Маленков сделал новое уточнение: “...Дело не только в пропаганде. Вопрос о культе личности прямо и непосредственно связан с вопросом о коллективности руководства” (61). Так был сделан еще один шаг в направлении к изменению основ партийной жизни. “Вы должны знать, товарищи, — говорил на пленуме Маленков, — что культ личности т.Сталина в повседневной практике руководства принял болезненные формы и размеры, методы

коллективности в работе были отброшены, критика и самокритика в нашем высшем звене руководства вообще отсутствовала.

Мы не имеем права скрывать от вас, что такой уродливый культ личности привел к безапелляционности единоличных решений и в последние годы стал наносить серьезный ущерб делу руководства партией и страной" (62).

На пленуме приводились конкретные факты, когда Сталин единолично при молчаливом одобрении остальных принимал заведомо ошибочные решения. Вспоминалась его инициатива с новым повышением налогов на древесину, идея строительства Туркменского канала без обоснованных экономических расчетов. Была подвергнута сомнению научная состоятельность некоторых теорий "жорифея". Маленков, например, говорил о том, что идея продуктообмена была выдвинута в работе Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР" "без достаточного анализа и экономического обоснования" и что она в силу этого "может стать препятствием на пути решения важнейшей еще на многие годы задачи всемерного развития товарооборота" (63).

Однако главным пунктом в комплексе ошибок "вождя", если следовать логике обсуждения этого вопроса на пленуме, был феномен Берии (пленум и собрался прежде всего в связи с делом Берии, незадолго до этого арестованного). Происки Берии, говорил, например, на пленуме Молотов, — "результат недостаточной бдительности нашего ЦК, в том числе и товарища Сталина. Берия нашел некоторые человеческие слабости и у И.В.Сталина, а у кого их нет? Он ловко их эксплуатировал и это удавалось ему в течение целого ряда лет" (64). Каганович: "Он ловко втерся в доверие товарища Сталина" (65). Хрущев: "Он очень крепко впилился своими грязными лапами в душу товарища Сталина, он умел навязывать свое мнение товарищу Сталину" (66).

Итак, Берия был объявлен результатом "человеческой слабости" Сталина; в этом вопросе участники пленума были, пожалуй, единодушны. Мнение о самом Берии у руководителей партии не сразу оформилось в единую установку, претерпев известную эволюцию. Логика этой эволюции достаточно очевидна, если привести последовательно те характеристики, которые давали Берии выступавшие на пленуме ораторы. Маленков: "нарушитель", "подрывник единства нашего ЦК", "враг партии и народа", "перерожденец", "преступно разложившийся человек" (67). Хрущев: "коварный человек, ловкий карьерист", "не-коммунист", "provokator", "авантюрист", "прохвост", "интриган" (68). Молотов: "агент чужого лагеря, агент классового врага", "provokator" (69). Сердюк: "пробравшийся к руководству авантюрист", "шпион", "отъявленный враг нашего советского государства" (70). Каганович: "контрреволюционный фашистский заговорщик", "шпион

международного масштаба" (71). Микоян: "выполнял социальный заказ буржуазии, нашего капиталистического окружения и их агентов внутри страны" (72).

Нетрудно заметить, как шаг за шагом, от выступления к выступлению по адресу Берии не только усиливается резкость высказываний, но и постепенно выстраивается общая концепция, определяющая отношение партийного руководства к феномену Берии. Основой конструирования этой концепции становится мотив отчуждения, по мере развития которого Берия объявляется сначала "внутренним врагом", а затем и "агентом международного империализма". Объявленный "чужаком", человеком другого лагеря, Берия тем самым как бы изгоняется из общности "мы" и переходит во враждебную "они". Отсюда — оценки личности Берии, имеющие исключительно отрицательную окраску ("перерожденец", "интриган", "морально разложившийся человек" и т.д.). Прочность данной психологической конструкции нарушает только одно обстоятельство: до недавнего времени "чужак" считался "своим" и даже одним из первых среди "своих". Это противоречие разрешается с помощью комплекса "нашей вины", которая в общем и целом сводится к признанию "недостаточной бдительности". Впрочем, и для объяснения этой "вины" быстро находится смягчающий мотив, указывающий на особые свойства "чужака", который "маскировался" и "втирался в доверие" к остальным. Их ошибки, таким образом, становятся результатом злого умысла "чужака", а общая ответственность, персонифицируясь, превращает последнего в единственного носителя вины. Мотив отчуждения играет и другую принципиальную роль, которая выводит за скобки возможной критики не только конкретных лиц, но и систему в целом: деятельность "чужого" субъекта носит внесистемный и даже враждебный существующей системе характер.

"Вина" Сталина, переключенная на "происки" Берии, тоже получает внесистемную оценку, т.е. оценку, не связанную с законами функционирования государственной власти. Она объявляется "человеческим грехом". В этой точке Сталин отделяется от сталинизма, система от носителя. Вся последующая политика, направленная против культа Сталина, будет строиться уже на основе этого разделения понятий. Это будет борьба с именем, борьба с идолом, но не с причинами, этот идол породившими.

Строго говоря, критика Сталина вообще не могла пойти по "варианту" Берии. Сталина нельзя было сделать, скажем, "иностранным шпионом", т.е. его нельзя было вывести за рамки системы. Он все равно оставался "своим". Эта внутренняя встроенность феномена Сталина в систему, названную его же именем, изначально задавала предельный уровень результативности всех организованных сверху антикультовых мероприятий, всегда оста-

навливающих у порога внутрисистемного анализа. Где-то здесь “ключ” к разгадке неустойчивости и прерывистости всей истории борьбы против “культ личности”.

Чтобы адекватно оценить феномен Сталина, требовалась другая логика мышления, иное ментальное измерение, просто недоступное людям той системы. Новый взгляд мог появиться только извне или постепенно развиваться на основе внутренней эволюции прежней власти, а его носителями должны были стать люди, отнесенные свободно от комплекса прошлой вины. На начальном же этапе все вопросы, так или иначе связанные с именем Сталина, вообще не вышли за пределы обсуждения узкого круга посвященных. Все, о чем шла речь на пленуме ЦК в июле 1953 г., о чем спорили, с чем не соглашались его участники, для народа оставалось тайной “за семью печатями”.

Когда на страницах газет впервые появилось понятие “культ личности”, в массе своей современники не оценили это событие как предвестие большого поворота. Только чуткая мысль могла уловить тогда новые акценты в трактовке вопросов о движущих силах истории, о роли личности и народных масс, о партии и ее вождях. 10 июня 1953 г. “Правда” опубликовала материал под заголовком “Коммунистическая партия — направляющая и руководящая сила советского народа”, рассчитанный на широкий актив партийных пропагандистов. Эта публикация в целом была направлена на преодоление субъективистских подходов в понимании роли партии и отдельных личностей в истории общества. Упомянулось при этом о вреде культа личности, против которого выступали Маркс, Энгельс, Ленин. В рядах первых борцов с культом был назван и Сталин. Его имя было огорожено спасительным “табу”, а сама критика культовой традиции получала исключительно положительную направленность, оформленную как переход на коллегиальные основы руководства.

Эта положительная заданность имела и особый психологический фон: в обществе после смерти Сталина достаточно сильны были настроения, отражающие не столько ожидание перемен (как это было, например, в первые послевоенные годы), сколько надежду на стабильность, на преемственность общего курса нового руководства и сталинской политики. Учитывая эти настроения, руководители партии должны были действовать в общем как “наследники Сталина”.

И все-таки вопрос “от какого наследства мы отказываемся?” впервые прозвучал именно сверху, хотя его конкретное осмысление продвигалось медленно, шаг за шагом, путаясь в противоречиях общественного блага и личной ответственности. Определенным стимулом к конструктивным размышлениям послужило “дело Берии”. С его именем культ личности впервые официально по-

лучил персональный адрес (имя Сталина в этой связи в печати все еще не упоминалось). Вопрос был поставлен шире: в каких условиях возможно выдвижение людей, способных сосредоточить в своих руках неограниченную власть? Тогда же прозвучала мысль о том, что “монопольное положение Коммунистической партии” может иметь свои “теневые стороны”. Эти “теневые стороны” представлялись как возможность проникновения в партию врагов и авантюристов, “ловко маскирующихся под коммунистов” и использующих “авторитет и положение правящей партии в личных корыстных интересах” (73).

Что же предлагалось конкретно? Казалось бы, альтернативой жесткому централизму и партийной монополии может быть только движение по демократическому пути. Однако логика не всегда сопутствует реальной политике, а тем более — пропаганде. Ответ на поставленный вопрос прозвучал поэтому хоть и не совсем логично, зато совершенно в духе времени: “Революционная бдительность — наше оружие против всех врагов. Будем же держать это оружие всегда отточенным, всегда готовым к бою. И тогда любые происки врагов наверняка потерпят крах” (74).

За призывами повышать “революционную бдительность” в прошлом обычно следовал переход к чрезвычайным мерам, усилению партийного и государственного контроля. В 1953-м ситуация складывалась иначе: новой волны “чрезвычайщины” не последовало. Более того, после осуждения Берии мотив бдительности вообще исчезает с газетных полос. Но вместе с ним исчезает и упоминание о культе личности. Вопрос о культе, незаметно сведенный до “рецидива Берии”, на какое-то время был снят. Процесс познания прошлого приостановлен.

Общество получило ту дозу правды, которую посчитали нужным дать ему руководители. Наверху по-прежнему полагали, что дозировать истину и справедливость входит в компетенцию руководящих сфер. Казалось, “там” всегда ведали, что для народа “лучше”, а что “хуже”, что ему “можно”, а что “нельзя”. Почему-то существовала твердая уверенность, что многие вещи, доступные пониманию руководителей, народ обязательно поймет “неправильно”. А хуже, если начнет действовать, тоже, разумеется, “неправильно”. Чтобы переступить эту невидимую черту, разделяющую общество на всезнающих “вождей” и неосведомленные “массы”, мало было осторожной осмотрительности Маленкова. Здесь нужен был порыв, прыжок в неизвестность, на который оказался способным лишь Хрущев. Да и то не сразу.

Некоторое время запрет на упоминание имени Сталина в связи с критикой культа личности поддерживался в руководстве достаточно единодушно. Сам же феномен культа воспринимался как своего рода “болезнь”, поразившая партийный аппарат. “То, что

принято именовать “культом личности”, — писал много позднее Маленков, — заключает в себе прежде всего утверждение и самоутверждение руководителя в положении человека непогрешимого в действиях и поведении, независимо от того, правильны они или порочны и ошибочны” (75). А если так, то недопущение подобных явлений действительно могло быть представлено как “внутреннее дело” руководства.

Однако это была очередная иллюзия, попытка сделать из Сталина фигуру умолчания принесла эффект, который лидерам страны в общем трудно было предвидеть.

В канун 8 марта 1954 г. (прошел год со дня смерти Сталина) в студенческом общежитии на Стромынке по традиции к женскому дню показывали фильм “Член правительства”. В фильме есть финальная сцена, когда в огромный зал под гром аплодисментов собравшихся входит Сталин. И вот, как только Сталин появился на экране, зрительный зал тоже встал и зааплодировал. Эти ребята не были фанатами Сталина, во всяком случае тот поступок питался другими чувствами: контраст между прежней шумихой, окружавшей имя “вождя”, и внезапным провалом молчания был настолько искусственен, что казался безнравственным.

“Когда имя Сталина исчезло со страниц газет, а потом очень быстро появилась формулировка “культ личности”, то этим было как-то задето нравственное чувство, чувство справедливости, — рассказывает И.А.Дедков, тогда студент МГУ, ныне — известный журналист, критик, публицист. — Как же так? То он заполнял собой все газеты, все на него молились. И кто в первую очередь молился? Все эти “начальники”, руководители страны. Почему Вы раньше кричали “ура!”, а теперь молчите? В общем, это было сделано как-то безнравственно. Не по-человечески” (76).

А 5 марта 1954 г. И.Дедков перед первой лекцией подошел к доценту и предложил почтить память Сталина вставанием. И курс встал. “Это был какой-то поступок, — скажет потом Игорь Александрович. — Потому что это шло поперек волны. Хотя параллельно нарастало критическое отношение к действительности. Очень быстро, причем и у моих товарищей тоже.” (77).

Они тогда еще не задумывались о сущности таких понятий, как Сталин и сталинизм, но интуитивно, движимые нравственным чувством, встали на тот путь преодоления Сталина, который в итоге оказался конструктивнее и глубже тех антикультурных мер, которые были предложены верховной властью. Задача, на первый взгляд, была как будто бы одна, но разные общественные силы подошли к ее решению с различными нравственными критериями и разной степенью восприимчивости к грядущим политическим изменениям. Одни были готовы отдать в залог общественному мнению Сталина-человека, оставив в сущности неприкосновен-

ным, хотя и слегка модернизированным государственный режим. Другие шли в своих исканиях и сомнениях от человека и потому не только не приняли Сталина в виде жертвы (или сочли ее недостаточной), но и сразу встали на иной — более высокий уровень восприятия общественных проблем и возможностей их решения. К кульминационной точке — XX съезду партии — руководство страны и та часть общества, которая за это время успела наработать известный запас переосмысленных реалий и идей, подошли с разной степенью готовности к переменам и разной глубиной видения этих перемен.

25 февраля 1956 г. — последний день работы XX съезда партии — впоследствии войдет в историю. Именно тогда неожиданно для абсолютного большинства присутствовавших на съезде делегатов Хрущев вышел на трибуну с докладом “О культуре личности и его последствиях”. И хотя заседание было закрытым и делегатов предупредили о секретности происходящего, тайны, долгие годы окружавшей имя Сталина, с того момента больше не существовало. Поэтому документы, рожденные XX съездом, до сих пор стоят на особом счету среди всех других партийно-правительственных материалов. Они воплотили в себе фактически первую серьезную попытку осмыслить суть пройденного этапа, извлечь из него уроки, дать оценку не только прошлой истории как таковой, но и ее субъективным носителям.

При этом “личному моменту” было придано почти что самодедулюющее значение, а возникновение негативных явлений в практике социалистического строительства отнесено к определяющему влиянию недостатков характера Сталина. Сама же деятельность Сталина оказалась разделенной на два периода — “положительный” (период борьбы с оппозицией, время индустриализации, коллективизации, Великая Отечественная война) и “отрицательный”, когда у Сталина, упрощенно говоря, стал “портиться характер”. Так, в истории появился и особый период — “период культа личности”. Его хронологические рамки не были определены достаточно четко: начальная рубежная вежа то отодвигалась на 20 лет назад (в конец 30-х годов), то появлялись ссылки на “последние годы” жизни и деятельности И.В. Сталина. Сам по себе этот период воспринимался более всего в качестве “аппендикса” в нашем цельном историческом организме, своего рода “зигзага”, “случайности”, “в дорах, мения”. Не было бы Сталина — не было бы и “периода культа личности”.

Такой преимущественно верхушечный характер критики культа личности, сведение его корней к “злой воле” Сталина не позволило вникнуть в глубь этого явления, рассмотреть его во взаимосвязи политических, экономических, психологических и нравственных сторон. Но первый шаг был сделан. И этот шаг тоже

имеет свою нравственную оценку — как факт политического мужества тех, кто поддержал Хрущева.

Слово правды о Сталине, произнесенное с трибуны съезда, стало для современников потрясением — независимо от того, были для них приведенные факты и оценки откровением или давно ожидаемым восстановлением справедливости. Особенно ошеломляли факты — цифры, имена — обогнанных, репрессированных, преданных забвению. В их числе виднейшие представители “ленинской гвардии”, выдающиеся ученые, военачальники, деятели культуры. Цвет общества, его интеллектуальная элита, тысячи просто честных, преданных партии людей. И рядом с этой национальной трагедией — имя того, кто долгие годы воплощал в себе все успехи и победы, все, что удалось достичь ценой величайшего напряжения сил всего народа. “На закрытом заседании 25/II во время доклада Хрущева несколько делегатов упали в обморок, — вспоминал впоследствии И.Эренбург. — Не скрою: читая доклад, я был потрясен, ведь это говорил не реабилитированный в кругу друзей, а первый секретарь ЦК на съезде партии. 25 февраля 1956 года стало для меня, как для всех моих соотечественников, крупной датой” (78).

Постепенно содержание материалов XX съезда по вопросу о культуре личности становилось достоянием сначала партийной, а затем и более широкой общественности. В общественном сознании зрел перелом, не случайно 1956 г. зафиксирован в нем однозначно в качестве рубежной вехи. Неоднозначны были только оценки этого рубежа: в результате “смятения умов” одни приобретали стимул к развитию мысли, другие теряли “точку опоры”. В ходе одного из социологических опросов 60-х годов, целью которого было выяснение отношения людей к различным событиям своей жизни, в числе прочих был получен и такой характерный ответ: “Называю самое плохое. Все события, связанные с критикой деятельности Сталина и работы партии в тот период. Никакое другое событие в своей жизни я так тяжело не переживала, даже неудачи первых месяцев войны с фашистской Германией” (79). Вот другое свидетельство — первая реакция после обсуждения доклада Хрущева: “Уже прошла неделя с тех пор, как наша партийная организация подробно ознакомилась с материалами XX съезда партии по культу личности и все время хожу под их впечатлением... В первые дни раздражало то, что суд устраиваем над умершим человеком и так хотелось, чтобы на всю жизнь Иосиф Виссарионович Сталин остался в памяти такой справедливый и честный, каким нам его рисовали в течение более трех десятилетий... И теперь, когда узнали о его крупнейших недостатках, трудно, очень трудно погасить в сердце эту великую любовь, которая так сильно укоренилась во всем организме” (80).

5 марта 1956 года студенты Тбилиси вышли на улицу, чтобы возложить цветы к памятнику Сталина в память третьей годовщины со дня его смерти. Чествование "вождя" превратилось в акцию протеста против решений XX съезда. Демонстрации и митинги не прекращались в течение пяти дней, а вечером 9 марта в город были введены танки. До Будапешта оставалось всего несколько месяцев, до Новочеркасска — шесть лет.

Тбилисские события — это своего рода индикатор состоятельности и продуманности всей антисталинской кампании. Уже в истоках ее — серьезнейший просчет — результат пренебрежения общественной психологией. Момент времени, выбранный для решительного разоблачения Сталина, практически совпал с датой его смерти, т.е. днем памяти. Подобные совпадения, даже если они не умышленны, а являются следствием обычной случайности, могут привести к психологическим "сшибкам", провоцирующим реакцию отторжения даже "благих" в своей основе начинаний. Именно с такого рода реакцией пришлось столкнуться Хрущеву в марте 1956 года.

По-иному отреагировал на "новую линию" партаппарат, который недвусмысленно продемонстрировал свое стремление как можно быстрее спустить все "на тормозах", ограничившись ритуальной стороной дела. Судя по массе вопросов, которые шли в различные партийные инстанции, партийных работников больше волновал не анализ происходящего, а внешняя форма его выражения. Что делать с портретами Сталина? Можно ли пользоваться трудами Сталина в пропагандистской и преподавательской работе? Является ли теперь Сталин классиком марксизма-ленинизма? Партийные комитеты давали разъяснения по этим и другим аналогичным вопросам. Однако поскольку никаких специальных указаний на этот счет не было, неизбежно возникала путаница.

В учреждениях меняли портреты. Однако далеко не все легко шли на смену декораций. Начальник цеха одного из заводов не стал снимать у себя портрета Сталина. Когда пришел домой и рассказал об этом жене, та сразу же посоветовала: "Иди и сам сними, а то тебя арестуют и посадят, как культ личности" (81). Подобные опасения сейчас могут показаться наивными, но появление их в то время весьма примечательно: многие не отделяли новую кампанию от прошлой практики борьбы: "врагами народа", даже несмотря на то, что не было и намека на используемые в прошлом методы проведения подобных кампаний. Страх продолжал жить, питая и поддерживая психологию постороннего: "Мы люди маленькие".

Но это только один "срез" общественных настроений. Была и другая реакция, причем весьма активная, на события, связанные с разоблачением преступлений эпохи сталинизма.

Многие не приняли, например, концепцию личной вины Сталина как абсолютно достаточное объяснение. Общее настроение сомневающихся выразило, думается, одно из писем, направленных в те годы в редакцию журнала "Коммунист": "Говорят, что политика партии была правильной, а вот Сталин был неправ. Но кто возглавлял десятки лет эту политику? Сталин. Кто формулировал основные политические положения? Сталин. Как-то не согласуется одно с другим" (82).

О.Р.Лацис вспоминает, какое впечатление доклад Хрущева произвел на него и его товарищей (тогда студентов пятого курса МГУ): "Его доклад, несмотря на всю нашу неготовность, неопытность, сразу же поразил отсутствием какого бы то ни было осмысления. Сообщалось о "великом гении", что он был великий злодей — и на этом ставилась точка. Мы поверили, что он великий злодей, фактам нельзя не поверить. Но это вызвало еще больше возражений и сомнений. Как же это могло быть в нашей стране, в нашей партии, в нашей революции? Как все это совместить с социализмом? Сведение всех этих вопросов к личности было заведомо несостоятельным: ведь это была личность не какого-то отщепенца, но вождя, за которым все мы шли. Два вопроса возникли сразу: как это могло случиться и где гарантии, что это не повторится? Ни на тот, ни на другой вопрос ответа не было. Мы требовали создания этих гарантий, а их никто не собирался создавать. Все свелось к замене одних лиц на другие, но мы понимали, что это не гарантия" (83).

Сомнения рождали раздумья, раздумья — новые вопросы. Шли собрания, неформальные обсуждения, споры и дискуссии. "Повсюду говорили о Сталине — в любой квартире, на работе, в столовых, в метро, — вспоминал И.Эренбург. — Встречаясь, один москвич говорил другому: "Ну, что вы скажете?..." Он не ждал ответа: объяснений прошлому не было. За ужином глава семьи рассказывал о том, что услышал на собрании. Дети слушали. Они знали, что Сталин был мудрым, гениальным... и вдруг они услышали, что Сталин убивал своих близких друзей... что он свято верил в слово Гитлера, одобрившего пакт о ненападении. Сын или дочь спрашивали: "Папа, как ты мог ничего не знать?" (84).

Одна дискуссия питала другую, волна общественной активности становилась шире и глубже. Не обошлось и без крайних выступлений. К такому размаху событий политическое руководство оказалось не готовым. "После XX съезда, когда развернулись активные выступления, мы не были подготовлены к тому, чтобы дать отпор", — призналась на собрании московского партактива Е.А.Фурцева (85). Был принят решение временно прекратить чтение закрытого доклада Хрущева. На поступающие с мест в этой связи вопросы обычно давались следующие разъяснения: чтение доклада временно пре-

крашено; а) во избежание происков западной пропаганды и б) для проведения более тщательной подготовительной работы среди коммунистов, у которых возникло в ряде случаев "неправильное отношение" к "нездоровым высказываниям" (86).

Считалось, что в результате распространения критики культа личности были допущены "перегибы", ведущие, с одной стороны, к стихийному митингованию, а с другой — к попыткам свержения авторитетов как таковых. Между тем отдельные "перегибы" получались в результате логических рассуждений: если партия выступает против обожествления вождей, то почему по сей день существуют памятники живым людям, находящимся у руководства, почему их именами называются города, колхозы, предприятия?

В обществе начала складываться особая ситуация. Свергнув Сталина с его пьедестала, Хрущев снял вместе с тем "ореол неприкосновенности" вокруг первой личности и ее окружения вообще. Система страха была разрушена (и в этом несомненная заслуга нового политического руководства), казавшаяся неизбежной вера в то, что сверху все видней, была сильно поколеблена. Тем самым Хрущев, хотел он того или нет, поставил себя под пристальный взгляд современников. Все властные структуры оставались прежними, но внутренний баланс интересов этот новый взгляд на лидера, безусловно, нарушал. Теперь люди вправе были не только ждать от руководства перемен к лучшему, но и требовать их. Изменение ситуации снизу создавало особый психологический фон нетерпения, который, с одной стороны, стимулировал стремление к решительным действиям властей, но, с другой стороны, усиливал опасность трансформации курса на реформы в пропагандистский популизм. Как показало развитие дальнейших событий, избежать этой опасности так и не удалось.

5. Генезис движения "шестидесятников": опыт микроуровневого анализа (на примере факультета журналистики МГУ)

На развитие общественных процессов можно смотреть по-разному. Можно попытаться обрести целостное видение, поднимаясь над конкретикой внутренней эволюции этих процессов. И это важно. Но не менее важно и другое: найти точку зрения, которая эти же самые процессы высвечивает как бы изнутри, раскрывая логику связей, недоступных внешнему взгляду. Многие процессы этого уровня могут служить микромоделью более общих движений и социальных изменений. Хотя само понятие "модель" здесь весьма условно, поскольку именно на микроуровне история менее всего схематична, именно здесь она обретает свое неповторимое ли-

цо, отличающее одну эпоху от другой. Если социальный портрет времени 40-х годов в главных чертах определяли фронтовики, то "оттепель" принесла с собой нового героя — "шестидесятника".

Почти все "шестидесятники" вышли из студентов. Это было первое студенческое поколение, пришедшее в вузы после фронтовиков. Студенческая молодежь 50 — начала 60-х годов — это "дети войны", причем младшие "дети войны", чье рождение приходится на 30-е годы. У сверстников того времени было много общего: глухие воспоминания о войне, трудный быт, идеалы юности. Это помогало понять друг друга. Социализация молодых людей послевоенного времени, их вступление в самостоятельную жизнь проходили зачастую быстрее, чем развитие культурное; последствия войны, события конца 40-х годов, резко ограничившие пределы доступности интеллектуальной среды и изменившие качество последней, безусловно, повлияли на процесс культурного роста молодого поколения.

"Мы ведь в массе своей были очень плохо образованы, — вспоминает Ю.Апенченко. — Я, например, только в 10-м классе прочитал маленький, "кастрированный" сборничек Пастернака. А, скажем, Ахматова существовала для нас вообще только как персонаж известного постановления. Мы многого не знали, а этого знания как раз и не хватало" (87). В данном случае не так важен сам факт недостатка культурной подосновы, как субъективное осознание существующего пробела, что служило импульсом к самообразованию. А самообразование неизбежно захватывает те культурные пласты, которые, как правило, не попадают в поле зрения официальной образовательной системы. Выход на культуру — не то, чтобы подпольную, полулегальную — но просто более разноплановую, чем предлагали к потреблению школьные и вузовские программы, положил начало размежеванию с культурным официозом в целом и постепенно сформировал потребность в особом "стиле". "Стиль" стал символом самовыражения — понятия в те времена почти запретного, по сути — крамольного. Конкретные формы поиска своего "стиля" были самыми разнообразными — от музыки и моды до поэзии и политики. "Стиляги" — это только самые броские "маяки" того движения "непослушания", которое родилось в студенческой среде 50-х годов. Но они, несмотря на весь внешний эффект, все-таки остались лишь фасадом молодежной жизни, за которым шла трудная внутренняя работа. Работа ума и работа чувства.

Как это было в начале 50-х (а именно в 1952 — 1953 гг.) на факультете журналистики московского университета. Студенты тех времен вспоминают, как весь факультет охватило тогда общее повествование: все начали писать стихи. Стихи получались разные — хорошие и не очень, подражательные и "свои", а самостоятельные

поэты очень скоро разделились на два лагеря — тех, кто писал стихи лирические (они же — “безыдейные”), и тех, кто писал патристические (т.е. “идейные”) стихи.

Размежевание носило серьезный характер, самой жесткостью противостояния отдавая дань времени: за “безыдейные” стихи могли исключить из комсомола, вынести взыскание или “наказать” каким-либо другим способом. “Лирики” больше оборонялись, защитники идейности — наступали, превращая вечера поэзии в политические баталии, а комсомольские собрания — в поэтические дискуссии (правда, с политическими оргвыводами).

К сожалению, эти стихи большей частью не были опубликованы, остались только на страницах самиздатского сборника “Подснежники”, размноженного на машинке в нескольких экземплярах. Стихи Юрия Аленченко, Евгения Коршунова, Сергея Дрофенко, Анатолия Горюшкина — в чем-то это была действительно “другая” поэзия — очень личная, но предназначенная для всех. Поэзия стала тем источником самовыражения, который, минуя официальные каналы, позволял вести откровенный разговор — ровесника с ровесником. Поэтическая традиция Политехнического — родом из того же источника.

Вечера поэзии на факультете журналистики МГУ становились традиционными, они продолжались и в 1954, и в 1955, и в 1956 г. г. Но параллельно в студенческой среде зарождалось и набирало силу другое движение, в котором уже чувствовались политические мотивы.

Все началось весной 1956 г., после XX съезда партии, когда комсомольское бюро IV курса решило провести собрание “О месте журналиста в общественно-политической жизни страны” — в духе тех идей, которые прозвучали на съезде. Это было необычное собрание, когда сами студенты ввели его подробную стенограмму, а главное, был сделан не совсем традиционный для такого рода мероприятий доклад. С ним выступил комсорг курса Игорь Дедков. По сути это было выступление политического характера — в поддержку гласности и курса на демократизацию (кстати, слово “гласность” там тоже присутствовало, как и слово “сталинизм”, которое официальная идеология отвергала как буржуазную терминологию). Весь смысл того выступления И. Дедкова передают заключительные строки доклада: “Доверяя Центральному Комитету партии, мы должны внимательно следить за тем, чтобы старые догмы не были заменены новыми, хотя и более прогрессивными. Гарантия отныне — бдительность народа” (88). На том собрании студенты много выступали, часто — довольно резко. Один студент требовал превращения Кремля в музей, другой — чтобы на собрание пришел или министр культуры, или член Политбюро,

третий — допуска к произведениям Троцкого, четвертый — чтобы органы печати не подчинялись партийным комитетам и т.д.

XX съезд вообще создал вокруг себя особую “ауру”, влияние которой оказалось сильнее, чем собственно формальные решения съезда. Главное из них — о культе личности — вообще транслировалось глухо, с массой недомолвок и запретов. Но именно эти недоговоренности рождали стремление додумать все до конца, т.е. эффект умолчания, как это часто бывает, получился обратный ожидаемому. Всем предшествующим ходом духовной эволюции (особенно за послевоенные годы) мыслящая часть общества и прежде всего молодежь, менее других отягощенная стереотипами и сохранившая способность к динамичному развитию, была подготовлена к более глубокому восприятию проблем, за решение которых взялось партийное руководство. Инициатива в постановке этих проблем, безусловно, исходила сверху, но сама эта инициатива стала лишь сигналом к активизации тех общественных сил, которые, используя ситуацию “открытого шлагбаума”, начали вполне самостоятельное движение. Этой особенности не учли тогда наверху, расценив всплеск общественной активности не как следствие принятых в 56-м решений, а как результат неожиданно разбухевшей стихии.

Начавшееся брожение в среде студенчества воспринималось властями тоже под этим углом зрения. После памятного собрания на журфаке в МГУ его инициаторов в чем только не обвиняли: в мелкобуржуазной распушенности, анархизме, нигилизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме, политической невоспитанности, растленности и даже растлении малолетних — в том смысле, что на собрании было принято обращение к студентам младших курсов (89). Однако никаких специальных санкций в отношении комсомольского бюро IV курса тогда принято не было. Вся стенограмма собрания была не только отпечатана, но и вывешена для всеобщего ознакомления. Инициатива курса быстро распространилась на весь факультет.

Это было время решительных переоценок. Летом 1956 г. старшекурсники по традиции уехали в военные лагеря. Летние события сыграли тогда ключевую роль в развитии всей истории на журфаке: наступил момент объединения тех, кто еще недавно стоял по разные стороны баррикад на знаменитых поэтических баталиях. Бывшие “противники”, независимо друг от друга они пришли к некому единому пониманию. “Мы вдруг все стали заодно, — вспоминает И.Дедков. — Мы вдруг поняли, что хотим одного в то же же, и то, что мы не принимаем, у нас общее. Просто мы шли разными дорогами. Все противоречия снялись как-то сами собой и возникло поразительное единство, которое захлестывало даже тех, кто раньше вообще стоял в стороне” (90).

Ю.Апенченко — представитель “другой стороны” — рассказывает примерно то же самое: они помирились — “лирики” и “патриоты”, сами пока еще не сознавая, как символично было само это слияние. Слияние поэзии и политики.

“Игорь тогда стал настоящим лидером, — говорит Ю.Апенченко о И.Дедкове. — Лидером того молодого потока, который хотел каких-то перемен. И он был в начале работы тогда” (91). Момент выделения лидера — принципиально важный для развития любого движения, поскольку этот человек становится точкой притяжения сил и одновременно выразителем основных идей всего потока, даже где-то его символом. Это было время, когда появлялись яркие личности, лидеры по складу характера и по духу, возникающие в обход общепринятым правилам — непослушные, сомневающиеся, обладающие особым запасом достоинства и внутренней свободы, которые сразу выделялись на фоне серой массы партийных и комсомольских функционеров. Таким был Игорь Дедков — бывший центр-форвард студенческой футбольной команды, комсомольский лидер факультета, первый поверивший в то, что они, студенты, действительно что-то способны изменить.

Так думал не он один, потому что тогда же, летом 56-го, будучи в военных лагерях, студенты договорились о своих ближайших планах. А планы были такие: с началом учебного года взять в свои руки все “командные высоты” на факультете, и в первую очередь факультетские и курсовые комсомольские бюро. Осенью, как всегда, началась отчетно-выборная кампания, на этот раз проходившая особенно бурно (факультетское отчетно-выборное собрание вообще шло два дня подряд). Ребята уже заинтересовались, на собраниях, даже курсовых (что в общем не было принято) присутствовали представители райкома комсомола, партийных организаций. Их не слушали, стучали ногами, прогоняли с трибуны.

В общем “захват власти” произошел довольно быстро и относительно безболезненно. Сменились все курсовые бюро и бюро комсомола факультета. С этого момента на журфаке началась новая жизнь. Вновь избранное комсомольское бюро II курса (в его состав вошли тогда студенты, а ныне известные ученые Г.Водолазов и В.Хорос) выступило, например, с обращением ко всем студентам своего курса, в котором были сформулированы главные принципы его будущей работы. Вот текст этого обращения с незначительными сокращениями:

“Товарищи!

С сегодняшнего дня приступает к работе новое бюро ВЛКСМ II курса.

Комсомольцы нашего курса!

В новой, создавшейся в нашей стране обстановке, в обстановке борьбы с бюрократизмом, унтер-пришибевщиной и администри-

рованием, решающую роль играет КОЛЛЕКТИВ. В одиночку мы ничего не сможем сделать. Но если мы, свыше полтора ста комсомольцев, будем выступать как один человек, любая бюрократическая преграда будет преодолена. Коллектив создается не во время совместных посещений театра и не на танцевальных вечерах, а в борьбе за общую идею. НИГДЕ, НИ В ЧЕМ НЕ НАРУШАТЬ ПРИНЦИПЫ ДЕМОКРАТИИ! Мы планируем ОБСУЖДЕНИЕ существующих программ читаемых нам курсов, ВЕЧЕРА критических замечаний и пожеланий в адрес преподавателей, ПОСТАНОВКУ перед деканатом вопроса об освобождении некоторых преподавателей от занимаемых ими должностей.

Но для того, чтобы наши претензии были действительно СПРАВЕДЛИВЫМИ и обоснованными, мы со своей стороны должны работать безупречно. НЕОБХОДИМО лучше готовиться к семинарам по политэкономии и диалату. НЕОБХОДИМО резко улучшить дисциплину на лекциях и семинарах...

За прошедшие два с половиной месяца, когда ни комсомольская организация курса, ни ее бюро не работали, наша общественная жизнь подернулась плесенью, появилось много пессимистов и скептиков. Вы, наверное, услышите их голоса на ближайшем комсомольском собрании курса. Тема этого собрания: О КОМСОМОЛЕ, О ПЕССИМИСТАХ...

Что ж, поспорим!..."(92)

Когда новые комсомольские бюро приступили к работе, первое, что они сделали — начали пересматривать все персональные дела. Это было что-то вроде процесса "реабилитации", но в мини-масштабах. Все в прошлом гонимые, преследуемые, наказанные были реабилитированы. "Причем я сейчас понимаю, — признался И.Дедков, — что не все они того заслуживали. Среди "реабилитированных" были и откровенные бездельники. Но поскольку было желание все переделать, мы и их брали под защиту. Теперь очевидно: все это очень напоминало детскую игру, когда дети стремятся подражать взрослым. Вот такие политические детские игры. И все-таки что-то в этом было, конечно"(93).

В том, что студенты в своей деятельности в какой-то степени копируют процессы, идущие наверху, нет ничего удивительного: они действовали в рамках все той же системы, где микроуровень автоматически воспроизводит в главных чертах особенности макроуровня. И элемент подражательной "игры" на начальном этапе развития молодежного движения — тоже скорее закономерность, нежели случайность, и тем более не свидетельство несерьезности намерений его инициаторов и участников. Последние как раз были весьма серьезны, а методом "игры" только нарабатывался своего рода политический опыт. Поднятое эмоциональной волной, студенче-

ское движение постепенно направляло свою энергию в практическое русло, обратясь к решению производственных проблем.

Дело в том, что на факультете журналистики уровень преподавания специальных предметов был чрезвычайно низким, обычно там дорабатывали люди пенсионного возраста, направленные на преподавательскую работу из центральных газет. Комсомольское бюро факультета разработало целую программу действий по совершенствованию учебного процесса. Программа была предложена для обсуждения комсомольскому собранию факультета, на котором присутствовали главный редактор "Правды" П. Сатюков и поэт Н. Грибачев. Сатюков пробыл там недолго и ушел, а Грибачев выступал, говорил о половодье, о вздымающихся волнах, грозящих захлестнуть все и вся, — в общем в духе времени и указаний руководства. Собрание было очень эмоциональным, хотя бюро контролировало ситуацию, не позволяя обсуждению перейти черту, отделяющую полемику от митинговой стихии. По решению собрания были подготовлены специальные письма — в Министерство высшего образования, газеты "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец".

По мере того как студенческая инициатива набирала силу, увеличивалась и сила сопротивления, усиливалось давление сверху — со стороны администрации и партийных инстанций. Одновременно студенческое движение столкнулось и с внутренними трудностями. "Что обнаружилось? — комментирует создавшуюся тогда обстановку И. Дедков. — Выступать, критиковать, гнать — это одно. Это получалось. Когда же надо было что-то делать, то оказалось, что мы в общем плохо понимаем друг друга, каждый сам по себе. Начались сложности. План работы мы еще сочинили, неплохой, кстати, план: придумали дискуссионные клубы, тематические вечера; распределили обязанности. Ну, и что? А у нас 5-й курс, дипломы, времени мало. И все стало как-то вяло двигаться" (94).

Помимо названных были еще и другие мотивы, под влиянием которых тот первый общий порыв впоследствии разделился на несколько потоков. Если одни студенты (а их было большинство) всерьез увлеклись критикой учебного процесса, то для других этого было недостаточно (в том числе и для самого И. Дедкова): лидеры в своем развитии в известной степени переросли общий поток, больше занятые работой ума, нежели учебной практикой.

В том же 1956 г. группа студентов с факультета журналистики собралась на Ленинских горах и решила организовать кружок по изучению марксизма. События, прошедшие со дня смерти Сталина, XX съезд партии давали много пищи для размышлений. Многие из будущих "шестидесятников" вспоминают то время как период духовного взросления, когда некоторые в прошлом бесспорные вещи (относящиеся, например, к характеристике природы

советского строя, проблемам демократии в СССР и др.) начали восприниматься под знаком сомнения. Доступной литературы по-прежнему не хватало, но для того, чтобы стать "ревизионистом", достаточно было просто внимательно читать Маркса и Ленина. И сравнивать. К наследию классиков марксизма у большинства людей, стремящихся осмыслить строки канонических трудов под новым углом зрения, не было предвзятого негативного отношения: речь шла лишь о том, чтобы самостоятельно разобраться в постулируемых истинах. Более того — Маркс, Ленин, 1917 год были точкой опоры, в какой-то степени мерилом ценностей. "Наше поколение шестидесятников, — вспоминает поэт Е. Евтушенко, — не приемля Сталина, противопоставляло ему Ленина. Ленин был нашим оружием в борьбе за демократию" (95).

Идеалы революции оставались для них святыми, "ошибки" они искали не в природе 1917 г., а в событиях последующей истории, многие из которых представлялись ложным наростом на "чистом" теле революции. "Мы считали так, — подводит итог размышлениям своей юности И. Дедков, — диктатуры пролетариата нет никакой, есть диктатура партии, которая отняла власть у пролетариата. Вся фразеология — это мнимости. И поэтому для меня тогда все герои были позади. Я мог перечислить имена всех — от Николая Островского до оппозиционеров. Революция была предана. Ее предали "они" — люди, узурпировавшие власть. Было какое-то четкое отчуждение от власти и даже противопоставление ей — "мы" и "они". Только Хрущева еще некоторое время уважали, да и то недолго" (96).

Конечно, студенты 50-х годов вряд ли что-нибудь слышали о своих сверстниках, что пришли к подобным же выводам десятилетие назад, об участниках таких же кружков и молодежных групп конца 40-х: к этому времени оставшиеся в живых только начали возвращаться из лагерей. Преемственность поколений в точке преемственности идей в результате репрессий была нарушена, поэтому "шестидесятникам" пришлось начинать свое движение как бы заново, с "нуля", наследуя сильные и слабые стороны своих идейных предшественников.

Кружок, задуманный на Ленинских горах студентами журфака, в общем не состоялся: в течение 1956 г., а особенно в 1957-м окружающая атмосфера — и в университете, и за его пределами — становилась все более напряженной, порой в ней усиливался даже элемент драматизма. Все, что делали студенты, находилось под контролем, как подконтрольны были и они сами. Вызывали в партийные инстанции, в ректорат, в дело вмешался куратор КГБ (была и такая должность в университете). Но закончилась вся проработочная кампания относительно благополучно: просто "неблагополучные" студенты были распределены на работу по-

дальше от столицы. Игорь Дедков получил распределение в Кострому, из которой вернулся в Москву спустя 30 лет.

Пройдет всего год после окончания истории на "мятежном" журфаке, и возникнет так называемое "университетское дело" 1957 г. (больше известное как "дело Краснопевцева"), участниками которого станут аспиранты и преподаватели исторического факультета того же Московского университета. Они и падут в числе первых жертв режима, который оказался не в силах удержаться на высоте "оттепели". Потому что 1956 и 1957 годы — это во многом разные времена.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Свидетельствую... // Аргументы и факты. 1988. N 50. С.3.
2. Эренбург И.Г. Собр.соч. в 9-ти т. М., 1968. Т.9. С.730.
3. Цит. по: Неделя. 1989. N 19.
4. Эренбург И.Г. Собр.соч. в 9-ти т. Т.9. С.731.
5. Там же.
6. Сахаров А.Д. Воспоминания // Знамя. 1990. N 12. С.34.
7. Интервью с Ю.С.Аленченко. Личный архив автора.
8. Солсбери Г. Москва, 1953-й // За рубежом. 1990. N 37. С.18.
9. Правда. 1953. 9 авг.
10. Правда. 1953. 6, 9 авг.
11. Известия ЦК КПСС. 1989. N 6. С.149.
12. Бурлацкий Ф. Вожди и советники. М., 1990. С.27.
13. Цит. по: Луковцева Т.А. Поиск путей обновления общества и советская литература в 50 — 60-х годах // Вопросы истории КПСС. 1989. N 1. С.39.
14. Абрамов Ф.А. Люди колхозной деревни в послевоенной прозе // Новый мир. 1954. N 4; Лифшиц М.А. Дневник Мариэтты Шагинян // Там же. N 2; Щеглов М.А. "Русский лес" Леонида Леонова // Там же. N 5.
15. РГАЛИ. Ф.1702. Оп.6. Д.72. Л.69.
16. Там же. Д.77. Л.52.
17. Там же.
18. Там же. Д.72. Л.3.
19. Там же. Л.21.
20. Там же. Д.77. Л.21.
21. Твардовский А. Из рабочих тетрадей (1953 — 1960) // Знамя. 1989. N 7. С.139.
22. См.: Новый мир. 1954. N 8. С.3 — 7.
23. Зорин Л. Гости // Оттепель. 1953 — 1956. Страницы русской советской литературы. М., 1989. С.119.
24. Там же.
25. Там же. С.434 — 436.
26. Сахаров А.Д. Воспоминания // Знамя. 1990. N 12. С.59.
27. РГАЛИ. Ф.1702. Оп.4. Д.317. Л.19.
28. Цит. по: Его сотворенное поле. Валентин Распутин о Федоре Абрамове // Советская культура. 1987. 10 марта.
29. РГАЛИ. Ф.1702. Оп.4. Д.391. Л.3.
30. Вопросы философии. 1955. N 2. С.76.
31. Там же.
32. Там же. N 6. С.189.
33. Правда. 1954. 11 янв.

34. Эренбург И. Люди, годы, жизнь // Огонек. 1987. N 22. С.23.
35. Злобин А. После совещания // Новый мир. 1955. N 7. С.38.
36. Антонов-Овсенко А. Противостояние // Литературная газета. 1991. 3 апр.
- С.3, Десять "железных" чаркомов // Комсомольская правда. 1989. 29 сент.; Дугин А. Сталинизм: легенды и факты // Слово. 1990. N 7; Земсков В.Н. Гулаг: историко-социологический аспект // СОЦИС. 1991. N 6, 7 и др.
37. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ // Новый мир. 1989. N 8. С.8.
38. Цит. по: Огонек. 1989. N 11. С.9.
39. Шаронов Ю.П. Указ.соч. // Московские новости. 1989. 3 сент. С.22.
40. Все не так, ребята // Советская культура. 1990. 7 апр.
41. РГАЛИ. Ф.1702. Оп.10. Д.2. Л.167.
42. Там же. Л.32, 32/об/.
43. Там же. Л.155 — 156.
44. РГАЛИ. Ф.1702. Оп.6. Д.35. Л.82.
45. Там же. Оп.4. Д.317. Л.19 — 20.
46. Там же. Оп.6. Д.72. Л.15 — 16.
47. Там же. Оп.4. Д.318. Л.40.
48. Там же.
49. Там же. Л.60.
50. Там же. Д.317. Л.33.
51. Там же. Д.318. Л.104.
52. Второй Всесоюзный съезд советских писателей. 15 — 26 декабря 1954 г.: Стеногр. отчет. М., 1956. С.102.
53. Там же.
54. Там же. С.102 — 103.
55. Там же. С.27 — 28.
56. Цит. по: Правда. 1987. 4 февр.
57. Оттепель. 1953 — 1956. С.52.
58. РГАЛИ. Ф.1702. Оп.6. Д.77. Л.56 — 57.
59. Барсуков Н.А. Март 1953-го // Правда. 1989. 27 окт.
60. Там же.
61. Известия ЦК КПСС. 1991. N 2. С.195.
62. Там же.
63. Там же. С.196.
64. Там же. N 1. С.166.
65. Там же. С.187.
66. Там же. С.149.
67. Там же. С.146.
68. Там же. С.149.
69. Там же. С.165.
70. Там же. С.177.
71. Там же. С.187.
72. Там же. N 2. С.156.
73. Правда. 1953. 15 июля.
74. Там же.
75. Личный архив Г.М.Маленкова.
76. Интервью с И.А.Дедковым. Личный архив автора.
77. Там же.
78. Эренбург И. Люди, годы, жизнь // Огонек. 1987. N 23. С.22.
79. Цит. по: ЭКО. 1987. N 10. С.67.
80. РЦХИДНИ. Ф.599. Оп.1. Д.82. Л.
81. Там же. Д.82. Л.
82. Там же. Д.88.
83. Интервью с О.Р. Лацисом. Личный архив автора.
84. Эренбург И. Люди, годы, жизнь // Огонек. 1987. N 23. С.22.

85. РЦХИДНИ. Ф.556. Оп.1. Д.693.
86. Там же. Д.705.
87. Интервью с Ю.С.Апенченко. Личный архив автора.
88. Интервью с И.А.Дедковым. Личный архив автора.
89. Там же.
90. Там же.
91. Интервью с Ю.С.Апенченко. Личный архив автора.
92. Личный архив И.А.Дедкова.
93. Интервью с И.А.Дедковым.
94. Там же.
95. Евтушенко Е. Непривычка к свободе // Московский комсомолец. 1990. 25 нояб.
96. Интервью с И.А.Дедковым. Личный архив автора.

Г Л А В А IV. 1957 — 1964: КОЛЕБАНИЯ

“Обманутый наружным спокойствием обывателей, он очутился в самом щекотливом положении. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего; с другой стороны, тоже чувствовал — что ничего не делать нельзя”.

(М.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН)

1. Общественное мнение и “венгерский синдром”

Насколько серьезны и глубоки происходящие после смерти Сталина изменения? Можно ли сомневаться в необратимости процесса обновления, который происходит в стране? Эти вопросы занимали умы современников — наших соотечественников и тех, кто наблюдал за жизнью Советского Союза со стороны. Исход исторического поворота не может быть определен заранее: всегда сохраняется возможность его развития как в сторону углубления, так и в сторону свертывания, постепенного сведения на “нет” начатых прогрессивных реформ. Сам по себе период поворота — один из самых неустойчивых, социально уязвимых моментов в развитии общества, момент конфликтного столкновения разнохарактерных политических сил, момент наиболее широкой вариативности развития ситуации. “Запас прочности” поворота складывается из многих факторов: исходного состояния (нормального или кризисного), наличия катализаторов поворота (в форме внешних или внутренних импульсов), гибкости инициативного центра, его способности к управлению в нестандартных условиях, уровня политизации общества и др. Немаловажную роль при этом играют

целевые установки поворота — в их первоначальной и последующей интерпретации.

В начале 1961 г., оглядываясь на события прошедших лет, Хрущев говорил: “Накануне XX съезда вопрос стоял так: или партия открыто, по-ленински осудит допущенные в период культа личности И.В.Сталина ошибки и извращения, отвергнет те методы партийного и государственного руководства, которые стали тормозом для движения вперед, или в партии возьмут верх силы, цеплявшиеся за старое, сопротивляющиеся всему новому, творческому”(1). Из этого заявления видно, что изначально программные установки курса нового партийного руководства строились на принципе неповторения — в данном случае неповторения того, что казалось “ошибками и извращениями” в прошлом. Подобный подход характерен для всех “установочных” документов того периода. Другой особенностью этих материалов является их весьма низкий аналитический уровень, и прежде всего в части позитивной программы, которая в общем и целом исчерпывалась рядом известных деклараций. Отсутствие программных разработок давало себя знать во всех областях формирования государственной политики — от общих теоретических принципов до конкретных практических вопросов.

Хрущев, выступая на XX съезде партии, отметил “разнобой и путаницу” в трактовке различных вопросов теории социализма. Согласно одной точке зрения, в СССР к тому времени были созданы только основы социализма, другая же переводила тезис о постепенном переходе от социализма к коммунизму в призыв к непосредственному осуществлению на данном этапе коммунистических принципов общественной организации(2). Весьма неопределенными оставались представления о перспективах развития общественного строя в стране.

В провозглашенном курсе на постепенное перерастание социалистических общественных отношений в коммунистическое делалась ставка прежде всего на коммунистическое “завтра”. При этом как-то забывалось, что заветное “завтра” появится не вдруг и не откуда-нибудь, а из того, чем общество располагает сегодня. Не изучив “стартовой площадки”, не наметив ступеней, ведущих к конечной цели, нельзя было получить достаточно развернутого и конкретного представления о самой цели движения. Руководство страны приступило к большой и долгосрочной работе, не имея по существу развернутой концепции реформ. Концептуальный “вакуум” ставил инициативный центр в достаточно сложное положение, толкая его на путь тактических действий, лишенных стратегической основы. А значит — и уверенности в правильности и своевременности принимаемых мер. Тем более, что их послед-

ствия часто приобретали непредвиденный характер, трудно контролируемый сверху.

Менялась общественная атмосфера, шел процесс расконсервации общества. Советский Союз открывал для себя мир и сам становился более открытым для мира. Международные обмены и контакты, поездки наших делегаций за рубеж и визиты в нашу страну. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. Но самое существенное — иной становилась жизнь внутри страны. Она уже меньше напоминала улицу с односторонним движением и активно впитывала новые формы открытого общения. На волне общественного подъема рождались новые литература, живопись, театр. "Современник" вызывал на откровенный разговор современника, возрожденный "авангард" отстаивал право на свое видение мира, литература и публицистика — почти неразделимые — активно вторгались в повседневную жизнь, заставляя каждого определить свое место по ту или иную сторону "баррикад". Процессы духовного освобождения и духовного возрождения, энергия которых накапливалась десятилетиями, вдруг вырвались наружу, получив мощный импульс и новое качество.

Критический взгляд на прошлое из 1956 г. оказался как бы "опрокинутым" в настоящее: люди стали острее реагировать на проблемы дня сегодняшнего. В связи с этим росла почта газет и журналов. Главной темой, определяющей содержание этой корреспонденции, стала проблема культа личности. Кто-то требовал не ворошить прошлое, кто-то призывал идти до конца. Но больше всего было вопросов — о том, что было, и о том, как жить дальше.

Прошлое нуждалось в обстоятельном анализе. За 1955 — 1956 гг. в журнале "Вопросы истории" (главный редактор — А.М.Панкратова) появился целый ряд статей и материалов, в которых, говоря обобщенно, были сделаны попытки выйти за направляющие рамки "Краткого курса истории ВКП(б)" и сформулировать задачи исторической науки, исходя из потребностей современного момента. Эти материалы, как и журнал в целом, были подвергнуты такой решительной критике, что А.М.Панкратова вынуждена была направить в ЦК КПСС специальную записку (август 1956 г.) с отзодом необоснованных обвинений в адрес журнала. "Неправильное отношение к работе нашего журнала... имеет большое принципиальное значение, — говорилось в записке. — В исторической науке, как и в других общественных науках, накопилось много серьезных ошибок и недостатков, нетерпимых в свете решений XX съезда КПСС. Но первые же попытки нашего журнала выступить прогив этих ошибок и недостатков встретили сопротивление" (3).

Сопротивление — явное и косвенное — встречали не только сотрудники этого журнала. Единомыслие по-прежнему оставалось официальной нормой, а за любыми отклонениями от “нормы” виделись враждебные происки и “подрыв устоев”, — касалось ли это содержания научных дискуссий или молодежной моды.

Знаменитые “стиляги” 50-х. Их прорабатывали на собраниях, исключали из комсомола, “протаскивали” в фельетонах. Правда, радители “культуры” и критики “вульгарного вкуса” сами при этом не всегда отличались высокими вкусовыми достоинствами, печатая критические вирши вроде таких: “Наш Саша в моде “чемпион”. Он вместо брюк спесиво напялил пару макарон и думает — красиво!”(4).

“От стиляги до преступника расстояние микроскопическое”, — звучали более категоричные суждения(5). Вместе с тем и в этот период делались попытки за внешней стороной увидеть суть явления, преодолеть примитивные взгляды на “опознавательные знаки” сознательности и несознательности. “Стилягами я считаю не тех, кто одевается по моде (узкие брюки — это еще не признак стиляги), — делился своими размышлениями один из участников социологического опроса Института общественного мнения “Комсомольской правды”, — а тех, кто вместе с брюками зауживает свою честь, свою совесть. Эти люди бравировуют наплевательским отношением к труду, к жизни, ко всему святому. Сам по себе они не страшны — их мало, и в любой момент их можно смести в мусорный ящик. Но они служат дурным примером в безделье, пижонстве, разврате, плохо влияют на молодежь. Совсем как вирусный грипп, страшный не сам по себе, а своими осложнениями. Такими осложнениями сгиляжничества я считаю открытое тунеядство, хулиганство, бандитизм”(6).

В спорах, дискуссиях — организованных, а чаще импровизированных — рождался новый для советской действительности феномен — *общественное мнение*. О том, что это было именно мнение (а не настроения, эмоции, чувства) свидетельствует аналитический, оценочный характер высказываний и суждений. Достаточная массовость и публичность подобных высказываний заставляет отнести к ним как к явлению общественному, т.е. отражающему интересы определенных социальных слоев и групп. Для формирования института общественного мнения помимо общеполитических условий, создающих возможность для открытого публичного выражения идей и взглядов, необходим, как правило, конкретный объект, на котором общественное мнение может быть сфокусировано. После смерти Сталина роль фокуса общественных оценок и суждений — по российской традиции — взяла на себя литература.

В восьмом номере за 1956 г. журнал "Новый мир" начал печатать роман В.Д.Дудинцева "Не хлебом единым", повествующий о жизненных коллизиях молодого инженера-изобретателя Лопаткина, его столкновениях с чиновничьим аппаратом в лице директора Дроздова, сложной, порой драматичной судьбе "нестандартной" личности в мире устоявшихся стандартов. Конечно, и сам Дудинцев понимал, что его книга по тем временам — это вызов, и члены редколлегии журнала отдавали себе отчет в том, что публикуют в общем далеко не безобидную вещь, но вряд ли кто из них мог тогда предположить, что роман вызовет буквально взрывную общественную реакцию.

"Первое обсуждение романа (оно состоялось в октябре 1956 г. в Союзе писателей. — Е.З.), — вспоминает В.Дудинцев, — собрало столько народу, что была вызвана конная милиция. Люди поднимались по водосточным трубам до второго этажа здания на улице Воровского, чтобы в форточку послушать выступления" (7). А послушать действительно было что. Начатое на нейтральной ноте — в духе поддержки XX съезда КПСС — обсуждение постепенно, не в последнюю очередь благодаря решительно настроенной студенческой "галерке", приобретало характер все более резкой критики, объектом которой стал бюрократический аппарат (8). Всем присутствующим особенно запомнилось тогда выступление К.Паустовского, который сказал: "Я не собираюсь говорить о литературных достоинствах или недостатках романа Дудинцева. Дело сейчас не в этом. Роман Дудинцева — крупное общественное явление, и в этом его значение. Это первое сражение с дроздовыми" (9). Эту речь Паустовского затем многократно перепечатывали и распространяли первые "самиздатчики", а позднее ее стали забирать при обысках как "антисоветский документ" (10).

Социальную сущность романа, его антибюрократическую (по сути — антиаппаратную) направленность сразу оценили читатели, которых не смутили отрицательные отзывы на роман, появившиеся сначала в "Известиях", а затем в "Литературной газете" (11). "Я совершенно не согласен с вашей оценкой, — писал в редакцию "Литературной газеты" инженер А.Щербаков, — и считаю появление... романа на страницах нашей печати очень важным делом... Он... зовет к борьбе против бюрократов и карьеристов во всех инстанциях, вплоть до главков и министерств, к борьбе против монополистов-консерваторов. в науке, дает почувствовать (странно, как вы это не увидели в романе?) наряду с существующим бюрократизмом и волокитой такую жизнь, где о них не будет и речи" (12).

Полемизируя с теми, кто готов был объяснить основную конфликтную линию романа "пережитками прошлого", тот же критик резонно замечал: "Помилуйте, старые, вымирающие типы

за 40 лет советской власти уже вымерли. А это новая порода, которая о вымирании и не думает, а, наоборот, сама еще многих заставит подумать о незадавшейся жизни" (13). "Такие руководители засиделись в своих креслах, — как бы продолжает эту мысль уже другой читатель, — они боятся, что критика их вышибет из насиженных должностей..." (14). "Бюрократы", — следует вывод из многих писем, полученных редакцией "Нового мира", добровольно своих позиций не сдадут. А значит, предстоит борьба: очевидность близкого столкновения с теми, кто олицетворяет собой чиновничью власть — тоже одна из главных идей откликов на роман Дудинцева. "Так и надо! Громче! — писал, обращаясь к Дудинцеву, П. Кузнецов из Тагила. — Мы Вас слушаем и сами кое-что делаем. Выступаем против наших монополистов. Их ведь немало наплодилось за годы культа личности. Но собрания у нас становятся интересными. Драки мы не боимся" (15).

Общественное мнение, сформированное вокруг романа Дудинцева, отражало не только готовность к "драке", но и требовало определенных прав для себя как неформального социального института. Главным образом эти требования касались изменения установившегося порядка, когда критиковать считалось возможным только по принципу сверху — вниз, со стороны "вышестоящих инстанций". Подобные выступления, предложения, требования, естественно, вызывали нервозность у работников аппарата, особенно заметную на низших и средних его уровнях. В ряде библиотек по распоряжению местных властей вообще запрещали выдавать роман "Не хлебом единым" читателям (16). Но механизм, работающий на развитие общественной реакции, уже был запущен. Современники, передавая свои ощущения, признавались, что вокруг романа "действует какая-то внутренняя пружина, когда приходят и говорят: "Р-я знаете? Вы читали?". Люди, никогда ранее не читавшие журнала "Новый мир", с ног сбились — ищут этот роман Дудинцева" (17).

"Не будем говорить о художественной силе этого произведения, давайте поговорим, как нам бороться против дроздовых", (18) — звучала мысль во время обсуждения романа в Ленинградском университете. Тогда же из Ленинграда в Московский университет студенты направили письмо с призывом: "Давайте объединяться для совместных действий против дроздовых" (19).

Официальная критика романа, к которой примкнула и часть читательской аудитории, упрекала автора в "очернительстве", "нетипичности" представленных фактов, "политической незрелости" и т.д. Но подоплека подобных обвинений основывалась на более широких, нежели ошибки отдельного автора, принципах: речь шла о пределах дозволенного, о тех рамках, в которых дол-

жна была держать себя общественность, если она не хотела идти на конфликт с властями. Один из ответственных работников бюро ЦК КПСС по РСФСР, вероятно, выражая не только свое мнение, по поводу Дудинцева как-то заметил: "Пусть обобщает, как это делал Ажаев. Или вот у Малышкина старик говорит о чайнике: "Вот Советская власть какая, даже чайник не умеет сделать". Мы и это допускаем. Но мы не можем допускать, чтобы отдельные элементы влияли на молодежь. Нам нужно единство. Не та сейчас обстановка" (20). Планка "дозволенной" критики не случайно опустилась до "уровня чайника": обстановка действительно была "не та".

А связь событий складывалась тем временем следующим образом. "В тот самый день, — вспоминает Л.Копелев, — ...когда для нас важнее всего было — состоится ли обсуждение романа Дудинцева, издадут ли его отдельной книгой, именно в эти дни и в те же часы в Будапеште была опрокинута чугунная статуя Сталина, шли демонстрации у памятника польскому генералу Бему, который в 1848 году сражался за свободу Венгрии. Там начиналась народная революция" (21).

Так внутренняя жизнь страны оказалась вписанной в международный контекст: венгерский вопрос для советского руководства стал своего рода индикатором, определяющим степень взрывоопасности внутривластной обстановки. Венгерский кризис на том уровне был воспринят как перспективная модель развития общественного движения в Советском Союзе, вызвав опасение повторения уроков Будапешта в "советском варианте". Среди партийных функционеров осенью-зимой 1956 г. распространялись панические настроения, ходили слухи о том, что уже тайно составляются списки коммунистов для будущей расправы (22). Слухи дополняли газетные публикации, фотоматериалы которых были как нарочно подобраны, чтобы служить средством устрашения. С помощью компании, организованной в советской прессе, из отдельных сюжетов и комментариев лепился образ "кровавой контрреволюции", на фоне которого ввод советских войск в Будапешт выглядел не протизональным действием, попирающим все нормы международного права, а как чуть ли не акт спасения.

Венгерский кризис стал одновременно и кризисом нового курса советского руководства: "будапештская осень" как будто проверила его на прочность, обнаружив самые уязвимые точки обновительного процесса, существование которых ставило возможность его поступательного развития под сомнение. И самым уязвимым, поскольку самым важным, вопросом в этой связи был вопрос об отношении советских властей к политической оппозиции как к одному из гарантов необратимости прогрессивных реформ. Вмешательство в дела Венгрии и последующие события внутри страны

показали, что о легализации оппозиции — при той структуре и том составе власти — не могло быть и речи. Руководители, добившиеся высоких постов в ходе борьбы с разного рода “оппозициями” и “уклонами” 20 — 30-х годов, само понятие оппозиционности воспринимали как безусловно враждебное, подлежащее поэтому уничтожению — еще в зародыше, в тенденции, в помысле. Среди тех, кто вершил судьбу страны в 50-е, не было, пожалуй, ни одного человека, кто исповедовал бы другие принципы.

Венгерские события стали поворотным пунктом в развитии внутривластных реформ, продемонстрировав всему миру пределы возможного либерального курса Хрущева. Для советского лидера настал момент решительных действий. Тем более, что его поведение — гораздо более самостоятельное и независимое — не могло не настораживать остальных членов Президиума ЦК. В руководстве постепенно сложилась антихрущевская оппозиция, названная впоследствии “антипартийной группой”. Ее открытое выступление пришлось на июнь 1957 г. Прошедший тогда же пленум ЦК КПСС, на котором “оппозиционеры” (Молотов, Маленков, Каганович и др.) потерпели поражение, положил конец периоду “коллективного руководства”. Хрущев в качестве Первого секретаря стал единоличным лидером. (В 1958 г., когда он занял пост Председателя Совета Министров СССР, этот процесс получил свое логическое завершение).

Вместе с тем “венгерский синдром” имел и более широкие (и гораздо более серьезные для судеб реформ) последствия, поскольку руководство страны поспешило принять меры перестраховочного характера, призванные блокировать развитие внутренних событий по “венгерскому варианту”.

В декабре 1956 года ЦК КПСС обратился ко всем членам партии с “закрытым” письмом, название которого говорит само за себя — “Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских, враждебных элементов”. В письме были подробно перечислены “группы риска”, особенно поддающиеся влиянию чуждой идеологии, в число которых в первую очередь попали представители творческой интеллигенции и студенчества. Письмо, фразеология и дух которого настолько узнаваемы, что оно вполне могло быть отнесено ко времени самых яростных разоблачительных кампаний 30 — 40-х годов, особенно выразительно в своей заключительной части, где ЦК КПСС считает уместным специально подчеркнуть: “...в отношении вражеского охвоста у нас не может быть двух мнений по поводу того, как с ним бороться. Диктатура пролетариата по отношению к антисоветским элементам должна быть беспощадной” (23). И в качестве оговорки — о “части советских людей”,

которые “иногда не проявляют достаточной политической зрелости”: “таких людей нельзя сваливать в одну кучу с вражескими элементами”(24). Оставалось только отделить “таких” от “не-таких”. Итог же слишком хорошо известен, чтобы обольщаться самой возможностью выбора.

Первой жертвой кампании по борьбе с “венгерским синдромом” стала отечественная интеллигенция, прежде всего писатели: В.Дудинцев (“Не хлебом единым”), авторы альманаха “Литературная Москва”, Б.Пастернак (“Доктор Живаго”). “Нападки на писателей были связаны не с критикой литературных произведений, а с изменением политической ситуации, — делился своими наблюдениями той поры И.Эренбург. — Люди старались не вспоминать о XX съезде и, конечно, не могли предвидеть XXII. Молодежь пытались припугнуть, а студенты перестали говорить на собраниях о том, что думали, говорили между собой. Страх, заставлявший молчать людей при Сталине, исчез. Он заменился обычными опасениями: если много кричать, пошлют на работу подальше от Москвы”(25).

Казалось, возвращаются недоброй памяти времена борьбы с космополитизмом и разного рода “буржуазными” веяниями. В мае 1957 г. состоялась встреча руководителей партии с писателями — участниками правления СП СССР — первая в ряду ставших затем традиционными “исторических встреч”. В.Каверин, присутствовавший на той встрече, впоследствии вспоминал, что у писателей тогда еще была жива надежда на Хрущева, силу его авторитета, который мог поддержать либеральное направление в литературе(26). Но произошло совершенно обратное. Хрущев заговорил о Сталине, упрекая литераторов в том, что они поняли критику культа личности “односторонне”. “Сталин займет должное место в истории Советского Союза, — разъяснял собравшимся Первый секретарь. — У него были большие недостатки, но Сталин был преданным марксистом-ленинцем, преданным и стойким революционером. Наша партия, народ будут помнить Сталина и воздавать ему должное”(27). Обозначив таким недвусмысленным образом принципиальные идеологические подходы, Хрущев перешел к их конкретизации. “Как ни бессвязна была речь Хрущева, — писал В.Каверин, — смысл ее был совершенно ясен... Пахло арестами, тем более что Хрущев в своей речи сказал, что “мятежа в Венгрии не было бы, если бы своевременно посадили двух-трех горлопанов”(28).

“Рассеяние последних иллюзий”, — так прокомментировал ситуацию 1957 г. А.Твардовский(29). Это был поворот, отступление — тревожное даже не столько фактом своим (колебания в политике всегда неизбежны), сколько тем обстоятельством, что коснулось оно по сути главного достижения последних лет — сво-

боды слова — относительной, еще очень ограниченной, но свободы. После 1957 г., прошедшего под лозунгом восстановления единомыслия, о свободе слова, о гласности — даже урезанной — уже не могло быть и речи. А без гласности, как известно, не может быть и полноправного общественного мнения.

В условиях отсутствия свободы слова общественное мнение неизбежно переходит на “катакомбный” уровень: так развивалось советское диссидентство — течение, изначально оппозиционное по отношению к власти и ее политике. Загнанное в подполье политической несвободой, диссидентство сосредоточило энергию своих помыслов и действий в сфере политической и юридической, постепенно оформляясь в правозащитное движение. Специфическая направленность движения и его откровенная оппозиционность, бескомпромиссность вычленили диссидентство из контекста политической жизни, обрекая его на путь противостояния одиночек. Подобный исход был характерен не только для диссидентства: сама общественная атмосфера и поведение властей подталкивали людей к выбору пути индивидуального сопротивления, конкретные формы которого совсем не обязательно носили “диссидентский” оттенок.

Вспоминая свои отношения с властями после переезда в Кострому, И.Дедков рассказывал: “Именно тогда, в эти годы я пришел к выводу: всякая попытка организованного противодействия обречена на провал. Потому что все контролировалось, каждый шаг — даже в провинции, где я жил. Я помню, ко мне приезжали мои товарищи из Москвы, у них еще головы бродили — идеи, планы. А я сказал “нет!”. Единственный путь, который я считал тогда возможным, — это путь индивидуального, духовного, морального сопротивления. Только индивидуального. Потому что все перекрыто. Я почувствовал это просто физически: если какого-то провинциального студента, который просто пишет и получает письма, надо так “облюжить”, то это означало одно из двух: либо им делать было нечего, либо их было так много, что на всех хватало” (30).

Изменившиеся политические условия внесли определенную специфику и в историю “шестидесятничества”, которое стало тяготеть к малым формам “дружеского круга” — со своим духовным настроем, неповторимым обаянием истинной человечности, дошедшим до нас в поэзии 60-х годов, бардовской песне, литературе. В столичных городах и провинции этот круг создавал “другую жизнь”, существующую как бы наряду с официальной, общепринятой, но лишённую ненужной шумихи, парадного пафоса, неизбежной лжи. Они — эти два уровня общественной жизни еще не разделились окончательно, как в 70-е годы, и не в последнюю очередь потому, что и в официальной жизни, несмотря на победоносную фальшь, в 60-е еще сохранялся духовный подъем — подлинный и живой в своей основе.

2. Космос и коммунизм: некоторые особенности мышления современников

В 1960 г. во время очередной "исторической встречи" руководителей партии с деятелями литературы и искусства Хрущев сказал: "В нашем историческом движении к коммунизму бывают такие периоды, когда нужно осмотреться кругом, оценить пройденный путь и перед новым наступлением провести смотр своих сил, всех родов оружия для того, чтобы выбросить все старое и заржавевшее, принять на вооружение новые, более совершенные средства борьбы, расчистить путь от завалов, убрать все отмершее и ненужное. В жизни нашего Советского государства таким периодом разборки и расчистки был период после смерти И.В.Сталина" (31). Так была подведена черта под временем "оттепели" — в ее критически-очистительном смысле, а вместе с тем дан новый вектор всей последующей политике.

Этот вектор имел уже исключительно положительную направленность, определившую дух и конкретное содержание всех принятых в период 1957 — 1961 гг. решений. Их главная цель состояла в переориентации духовной энергии современников с критики прошлого на мечту о будущем, воплощенную в практической работе сегодняшнего дня. Народ должен был поверить в свои силы, чтобы эта бера стала символом жизни. "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью", — слова популярной в 30-е годы песни прозвучали тогда современно и ново — поскольку совершенно конкретно. Советский Союз шагнул в космос.

В октябре 1957 г. международная пресса сообщила о запуске первого искусственного спутника Земли. "Сегодня в ответ на сообщение о советском стутнике Земли, — писала в эти дни газета "Нью-Йорк геральд трибюн", — здесь с огорчением пришли к выводу, что наша страна понесла поражение в эпическом соревновании XX века" (32). Тогда же американский журнал "Форчун" на своих страницах заметил: "Мы не ждали советского спутника, и поэтому он произвел на Америку Эйзенхауера впечатление нового технического Пирл-Харбора" (33). 9 октября 1957 г. в "Правде" на первой странице — там, где обычно помещаются важнейшие партийно-правительственные постановления и портреты ведущих политических деятел: й, ч татели увидели большую фотографию спутника. День за днем газеты приводили подробные данные о наблюдениях за спугником с указанием городов мира и точного времени, когда жители этих городов могут наблюдать за его движением.

По радио транслировались сигналы спутника — позывные из далекого мира землянам, которые, наверное, впервые благодаря реальному соприкосновению с космосом смогли почувствовать себя таковыми. И в 1961 г. первый космонавт — Юрий Гагарин — стал одновременно и первым гражданином Мира. Так начиналась новая эпоха — эпоха развития земного мира как единой цивилизации, не только в объективных предпосылках (каковой она была всегда), но и на уровне субъективных восприятий.

Этот процесс впереди ожидали большие сложности: барьеры непонимания, соображения государственного престижа, отголоски “холодной войны” и многое другое, но его развитие пошло уже по собственным законам, ставящим здравый смысл выше идеологических принципов. Возможно, в Советском Союзе процесс формирования мирового самосознания протекал наиболее трудно. Сказывались десятилетия изоляции от мира, от мировой культуры, напоминала о себе старая болезнь вечных “окруженцев осажденной крепости”. Но процесс освобождения от психологического и идейного наследия прошлого все-таки начался, о чем свидетельствовало прежде всего постепенное стирание механизмов самоизоляции, благодаря разрушению которых другой мир воспринимался уже не как неизбежное (в чем-то даже и нежелательное) дополнение к собственному, а как необходимая часть внутренней культуры. А отсюда — сомнения, раздумья, новые чувства и новые потребности духа.

“Я хочу, чтобы Вы помогли мне разобраться в вихре моих чувств, — писала И.Эренбургу Ю.Белинская из Харькова. — Если бы эти чувства и мысли возникли только у меня, я бы отнесла их за счет никому не нужных колебаний в душе, но они свойственны многим и немало людей мечутся в поисках ответа на них. Мне 23 года, работаю инженером на заводе уже пять с лишним лет, учусь на ” курсе Политехнического института, занимаюсь музыкой с учительницей, хожу в заводскую литературную студию... Почти все мои друзья работают, учатся, увлекаются спортом или литературой, или математикой, или всем этим вместе. Короче говоря, живем напряженной, полнокровной жизнью... И как часто появляется горькая мысль, что мы что-то упустили, что жизнь с чем-то очень важным, главным идет мимо. Но на это очень просто возразить: мы ведь своими руками делаем то главное, что определяет нашу эпоху. Но это формальный ответ. Жизнь в какой-то своей части действительно идет мимо, не удовлетворяя наших запросов. Нам не достает знаний, культуры, образования, и это не наша вина. Мы не пропускаем ни одной нужной нам лекции..., ни одного концерта, следим за новинками литературы. Некоторые мои друзья владеют иностранными языками. Но все это крохи по сравнению с большой настоящей куль-

турой... Мы со своими исканиями, стремлениями, жадной жаждой знаний ничего не стоим перед миром большой культуры. Я не хочу, чтобы это выглядело самоуничижением, но беспомощными себя мы чувствуем. Мы ведь никогда не видели ни одной картины направлений иных, чем классицизм или реализм, и на веру должны воспринимать реализм лучше, чем, скажем, конструктивизм, кубизм и пр. Почему это так?.. Неужели мы не заслуживаем того, чтобы знать жизнь широко и полно?" (34).

Раздумья и сомнения автора этого письма можно назвать достаточно характерными для молодежи 60-х, наиболее остро отреагировавшей на феномен духовного вакуума, который возник в том месте, где действовали идеологические запреты и политические предрассудки. "Я учусь в 10-м классе, — писал Ан. Катенев из Магнитогорска. — Очень часто на переменах у нас заходят споры о том, почему за океаном люди не хотят свергнуть тот строй, в котором они живут и который им ненавистен? Всегда говорят об Америке. А может быть, им не так уж плохо живется, как об этом пишут, говорят, показывают? Я лично в огромном восторге от китайцев, которые живут как-то самобытнее, смелее нас. А почему? Так много неразрешимых вопросов в нашем огромном мире. Так хочется все узнать. И неужели человек — создатель жизни на Земле, не имеет права видеть то, что им создано? Кого винить в этом?" (35).

Потребность в объективной и широкой информации, оставляющей право оценки за человеком — без заданной предвзятости — проявляла себя не только по отношению к вопросам общим и принципиальным, но и в конкретных случаях, как это было, например, в истории с романом Б. Пастернака "Доктор Живаго". В разбросе мнений, из которых складывалась полемика вокруг никем не прочитанного (поскольку не опубликованного) романа можно было встретить и такого рода суждения: "До каких пор будем мы принуждаться все воспринимать через духовных наставников, из которых многие только духовные пристава и большинство духовные ремесленники, да и то по текущему ремонту? Только откровенность, начиная со статистики и кончая искусством, сблизит и сплотит всех... Не бойтесь, не запутаемся на бесчисленных дорожках человеческих исканий, а если и поблуждаем, то лучше узнаем — выберем дорогу... Дайте все увидеть и среди нас, и по сторонам. Социализм будет существовать и развиваться, если он будет нравственен" (36).

Гласность и нравственность — эта мысль-связка заслуживает внимания, поскольку позволяет еще раз увидеть, как по-разному процессы общественного обновления воспринимались властью и народом, если под народом в данном случае понимать не массу, а его мыслящую, совестливую часть. Приносить гласность, духов-

ную свободу в жертву политическим расчетам безнравственно, какой бы высокой целью эта жертва ни оправдывалась — очевидность этой истины с точки зрения развития общественного духа значила многое. Она поднимала духовные процессы над “политикой”, но одновременно отчуждала процессы политического и духовного развития друг от друга, что не могло не иметь последствий для обоих: политика становилась все менее нравственной, а духовная жизнь утрачивала те небольшие контактные механизмы, которые давали возможность хоть как-то влиять на принятие политических решений. Правда, произойдет это отторжение окончательно немного позднее — в конце 60 — начале 70-х годов.

Проблема включенности в мировую культуру, определившая стержень духовных поисков 60-х, получала самые различные интерпретации в зависимости от конкретного повода. “Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе” (37), — написал почти в шутку Борис Слуцкий — и неожиданно оказался в центре самой популярной полемики конца 50 — начала 60-х годов — дискуссии о “физиках и лириках”. “Нужна ли человеку в космосе ветка сирени?” — так образно была сформулирована проблема, вошедшая в нашу жизнь вместе с научно-технической революцией. “Мне кажется, — рассуждал по этому поводу поэт П. Антокольский, — и стихотворение Б. Слуцкого, и общее внимание к нему, и множество отрицательных, резких оценок — все это по-своему весьма симптоматично: Слуцкий затронул предмет, о котором многие из нас размышляют с тревогой... “Поэзия” и “Физика” в нашем контексте суть дорожные знаки, под которыми подразумевается содержание, более широкое и устойчивое в культуре: искусство и точное знание — два разных метода познания мира” (38).

“Разговор о поэзии и физике... следует продолжить, — откликнулся на выступление П. Антокольского Е. Мордвинов из Ленинграда, — дать определенный ответ на вопрос о причинах столь заметного разрыва в развитии искусства и точных наук. Не является ли такой причиной чрезмерное сужение творческих задач деятелями искусства? Смелое вторжение в жизнь... творческие искания, не уступающие по своему размаху дерзновенной мысли человека, проникающего в космос, — вот что является решительным залогом новых побед нашего искусства” (39).

Разрыв в масштабах решаемых задач между искусством и точными науками, который был замечен участниками дискуссии о “физиках и лириках”, был лишь отражением более общих процессов той политики, которая отдавала предпочтение политически нейтральному, но работающему на государственный престиж техническому знанию и стремилась всячески ограничить свободу са-

моя выражения в трудноуправляемой, а потому не вполне “благонадежной” сфере духовного творчества.

После тех проблем, которые волновали мыслящее общество после XX съезда партии, дискуссия вокруг “ветки сирени” вообще подчас выглядела надуманной, выполняющей роль своего рода отвлекающего маневра (тем более, что ее главным организатором выступила работающая тогда в русле официоза “Литературная газета”) — и это не прошло мимо внимания читателей. “Зачем ломать словесные копья в бесплодном споре? — задавался вопросом Е.Емельянов из Вологодской области. — Разве нет иных проблем? После вашего спора ничего не изменится. Останутся физики, останутся лирики, и они по-прежнему будут мирно существовать и даже почитать друг друга. Мы не роботы. Мы — живые люди” (40).

Дискуссия о поэзии и физике, оттолкнувшись от конкретного факта (в данном случае от стихотворения Б.Слуцкого), постепенно уходила в мир абстрактных рассуждений. Совершенно обратное произошло с другой дискуссией, тоже своеобразной “визитной карточкой” времени начала 60-х. Сформулированная как абстрактная цель будущего, проблема той дискуссии в конкретном переложении была настолько детализирована, что очень быстро спустилась до уровня практических задач. Речь идет о дискуссии по проблемам строительства коммунизма, которая после XXI съезда КПСС (1959 г.) и особенно в связи с обсуждением проекта новой партийной программы (1961 г.) привлекла к себе достаточно пристальное внимание общественности.

В программе КПСС, как известно, на решение стратегической задачи — построение основ коммунистического общества — отводилось 20 лет, а сам процесс строительства дополнялся точным расписанием движения общества к заветной цели. “Необходимо было настроить людей, подготовить их к масштабной беспрецедентной работе, — вспоминал один из авторов программы партии А.М.Алексеев. — Но я вам точно могу сказать, что в реальности построения основ коммунизма в 1980 г. мало кто сомневался” (41). Возможно, эта позиция сейчас выглядит излишне оптимистичной, но у нее были свои аргументы. Содержание читательской почты партийных газет и журналов (а таковых было большинство) конца 50-х годов показывает, что отсутствие новой программы партии, работа над которой слишком затянулась, беспокоило коммунистов, вызывало вопросы. После XXI съезда КПСС, провозгласившего развернутое строительство коммунизма, вопросы и предложения приняли уже вполне конкретный характер.

“Если коммунизм действительно близок, а это так и есть, — писал в редакцию журнала “Коммунист” пропагандист Е.Парфенов из Москвы, — то нельзя ли хотя бы схематично показать,

что требуется от советского народа для его осуществления, с тем чтобы нам, коммунистам, опираясь на этот материал, еще сильнее зажечь массы, еще шире развернуть борьбу за коммунизм. Ведь строим же мы свои планы, рассчитанные на 5 — 15 лет. Почему бы не довести до нашего народа, до народов всех стран план нашего развития на 30 — 40 лет? Почему бы не показать, как будет увеличиваться вместе с производством наше потребление, как будет увеличиваться покупательная способность рубля, с тем чтобы показать массам их ближайшее будущее и еще шире увлечь их на приближение его?" (42).

Схема и сроки построения коммунизма, как видно из этого письма и других сходных с ним по содержанию, были не просто плодом фантазии авторов программы партии, но и определенной реакцией на социальный заказ, сформулированный рядовыми коммунистами.

За подобным совпадением взглядов на перспективу достаточно быстрого движения к коммунизму, угадывается особое мироощущение эпохи, особый строй духовной жизни тех лет. Шестидесятые воскресили дух революционного романтизма первых постреволюционных лет с их верой в коммунистический идеал и созидательную силу самой идеи построения коммунизма. Это не оправдывает, но дает возможность понять. И не только политических лидеров, но и общество в целом: ведь если кто и протестовал тогда относительно программных установок на форсированное строительство коммунизма, то протест этот в большинстве случаев касался конкретных сроков строительства, но отнюдь не идеи в целом. Не будем ссылаться на ученых, взявшихся доказывать, что намеченные темпы вполне реальны и достижимы: эта работа началась уже вдогонку принятым решениям. Гораздо важнее прислушаться к мнению тех, кто действительно торопил время, кто всю жизнь прожил во имя будущего, не всегда ощущая настоящее как вполне достаточное. Люди, вынесшие на своих плечах тяжесть трех революций и трех войн, бешеные темпы созидания и разрушительные силы беззакония, вправе были требовать от программы партии что-то осязаемое для себя. Не следует забывать при этом, что к тому поколению принадлежал и сам Хрущев.

Что же конкретно имел в виду Хрущев, когда обещал, что коммунизм будет построен при жизни одного поколения советских людей? "Дело ведь не только в слове "коммунизм", — разъяснял он свою позицию. — Мы стремимся к лучшей жизни, к самой прекрасной жизни на земле, чтобы человек жил без нужды, чтобы он всегда имел работу, которая ему по душе, чтобы человек не думал с тревогой о завтрашнем дне... чтобы он жил красиво и благородно, а не просто существовал, прозябал" (43).

Если действительно не принимать в расчет слово “коммунизм”, то это была та программа, у которой вряд ли нашлись бы оппоненты. Однако в данном случае “слово” не осталось безразличным, определенная им цель не только увлекала, но и давила, заставляя решать многие проблемы не с точки зрения целесообразности и своевременности, а “по-коммунистически” — согласно представлениям о коммунизме того времени.

Представления о коммунизме в свою очередь обычно не могли перешагнуть уровень общих рассуждений о равенстве и коллективизме. Кос-кто был готов и к немедленному “введению” коммунизма, когда казалось, что “настанет время, и диктор Ю. Левитан объявит по радио, что с такого-то числа такого-то месяца и такого-то года в стране объявляется полный коммунизм. Ну, примерно так же, как было объявлено в конце 1947 г. об отмене карточной системы”(44). Были предложения создать на каком-нибудь заводе “маленькое опытное коммунистическое общество”(45). Всерьез обсуждались вопросы “коллективизации быта”, борьбы с “дачным”, “личным” и всякого рода иным “капитализмом”. “Надо сделать так, — высказывалось одно из типичных мнений на этот счет, — чтобы нечестным людям некуда было тратить деньги. Пока вор может покупать дома, дачи, автомобили, роскошную мебель, ковры, хрусталь и драгоценности, до тех пор будут объективные условия для возрождения паразитических элементов”(46). А далее предлагалась целая программа мер, которые, по мнению автора процитированного письма, должны были обеспечить всеобщее равенство и справедливость путем: 1) муниципализации всего жилищного фонда, 2) передачи всех личных дач предприятиям и организациям, 3) прекращения продажи легковых автомобилей частным лицам и передачи личного автотранспорта прокатным базам; 4) сокращения продажи на внутреннем рынке дорогой мебели, ковров и драгоценностей, производства этих товаров только на экспорт(47).

Самое примечательное в этих предложениях даже не примитивизм поисков “простых” решений, а то, что они отражали отнюдь не частное мнение. Вспомним Хрущева: “Дальше развитие легкового автомобильного транспорта будет идти у нас в следующем направлении: мы будем увеличивать производство легковых автомобилей, создавая при этом широкую сеть прокатных гаражей. Частнособственническое капиталистическое направление использования легковых автомашин для нас не подходит. Мы будем вносить в обслуживание населения социалистический метод”(48). Аналогичные оценки высказывались и по отношению к дачному строительству: “Строительство индивидуальных дач и индивидуальное садоводство... нецелесообразны с точки зрения организации летнего отдыха широких масс, воспитания коллективизма”(49).

Большой популярностью э те годы пользовалась идея коллективизации быта и создания бытовых коммун. Вот, например, какой представлялась картина "коллективного быта" Ф.Я.Полянскому из Москвы: "Для среднего города средней полосы России, Украины, Поволжья, Сибири и т.д. типичным должен стать 20-квартирный дом, расположенный на участке в 1 гектар... Бытовая коммуна без особых затруднений может создать коллективный сад, домовый огород, общедоступный цветник, спортплощадку, музыкальную раковину для самодеятельности, экран для кинопередвижек, уголок для детских игр. Встанет вопрос о создании домовой прачечной, где женщины и мужчины смогут по очереди стирать белье с помощью искусных механизмов. Дойдет дело и до организации общей кухни, где тоже каждый по очереди готовил бы для всех вкусные обеды. Само потребление их, вероятно, останется индивидуальным. Тогда любой дом к 1980 году превратится в социальную ячейку, станет клеточкой коммунистического общества". Вполне вписанной в подобную концепцию перестройки основ нашего общежития могла оказаться и идея замены существующего календаря на календарь Коммунистической Эры, начинающий летоисчисление с победы Октябрьской революции и отменяющий "божественное" воскресенье и месяцы, напоминающие о римских императорах(50).

Эти идеи, которые, казалось бы, могли зародиться только в умах героев Андрея Платонова и затвердеть в постулатах "военного коммунизма", вряд ли все-таки следует относить к случайным отголоскам прошлого. Связь времен здесь теснее и очевиднее: с помощью "генетического кода" двадцатых, передававшего из поколения в поколение оптимизм первых лет революции, веру в близость и достижимость больших целей, происходило наследование и особого образа действий для претворения намеченных целей в жизнь. Этот образ действий всегда выражался в доминирующей тенденции не столько построить, сколько установить (а еще лучше — ввести декретом) "самое справедливое" общество, ориентируясь преимущественно на его "опознавательные знаки", начертанные на лозунге "вместе и наравне".

Спустя годы тенденция тяготения к декретированному способу решения задач социалистического строительства не только не была преодолена, но и представляла собой одно из организующих начал политической жизни страны на протяжении долгих лет, отступая лишь в те относительно непродолжительные промежутки времени, когда под давлением обстоятельств верх брали реализм целей и реализм возможностей. И в 60-е годы названная тенденция заставляла считаться с собой как с одним из факторов, влияющих на выработку политических решений.

В борьбе утопических и реалистических подходов рождались представления о будущем страны. В пылу полемики были слышны голоса тех, кто активно возражал против наивно-упрощенческих подходов к выработке программных установок и конкретных задач партийной политики. "Ведь речь идет о Программе строительства коммунизма, — писал, например, член партии с 1918 г. В.Гриднев из Москвы, — а не такого общества, где всем все поровну и всем все одинаково. Этим нас пугали еще в 18-м году, когда говорили: "Коммунизм — это всем спать под одним одеялом". Тогда-то это мало действовало, т.к. коммуны все не возникали, а сейчас этот рецепт и подавно не подействует"(51).

Споры вокруг вопроса об основах организации коммунистического общества и способах его построения, разногласия суждений и откровенная путаница в мыслях в общем говорили о том, что эти коренные проблемы программного документа партии остались неотработанными. Главное же — они оказались плохо вписанными в контекст реальной политики. Пространство между конечной целью и стартовой отметкой оставалось незаполненным, единственный путь решения поставленных задач по-прежнему виделся в приращении уже достигнутого. Со временем разрыв между теорией и действительностью увеличится настолько, что связь между ними можно будет обеспечивать только средствами пропаганды. "Мне, как и всем, ясно, что мы строим светлое будущее, мечту человечества, коммунизм, — делился своими мыслями А.С.Лавров из Николаева, — а вот что такое коммунизм в реальных жизненных чертах (а не только в идейно-политических принципах) — непонятно... Пытаясь сориентироваться в представлениях других по этому вопросу, я пришел к неутешительному выводу, что "призрак" коммунизма", побродив за сотню лет по всему миру, утрачивает, к сожалению, черты реального в умах его первостроителей"(52).

Утрата реальности образа, который воплощал собой конечную цель — проблема отнюдь не чисто теоретическая. Цель, которая на данный момент не только объективно нереальна, но и субъективно воспринимается как нереальная — это "пустая" цель, т.е. она уже не может служить инструментом политического действия. В этом случае номинальное сохранение ее в качестве доминантной программной установки не только не снимает и не компенсирует будущей перспективой противоречий сегодняшней жизни, но и в результате усиливающегося контраста ведет к их обострению (прежде всего на уровне субъективного восприятия).

Процесс девальвации цели усиливался по мере того, как обнаруживали свою несостоятельность или малую эффективность практические начинания, которые в замысле призваны были материализовать идею коммунистического строительства. Речь идет

о судьбе движения за коммунистический труд и о попытках перехода на основы общественного самоуправления. Последняя идея получила распространение главным образом в форме работы на общественных началах.

В партийном аппарате появились внештатные инструкторы, советы старых коммунистов, парткомиссии. Создавались так называемые подрайкомы, которые включали в свой состав не более трех штатных работников и широкий партийный актив. К началу 60-х годов относится массовое распространение на предприятиях различных общественных бюро, технических советов, производственных совещаний. Сама идея подключения общественности к решению партийных и производственных проблем, безусловно, неслучайно в себе рациональное зерно. Однако те условия, которые были предложены для ее реализации, существенно ограничивали возможности "проращивания" зерна новыми, последовательно демократическими формами управления производственными и — шире — общественными процессами. Создаваемый таким образом "общественный" аппарат напоминал собой точную копию штатного и был фактически полностью подчинен ему. Рядом с существующей бюрократической макроструктурой формировалась аналогичная микроструктура (своего рода "параллельный аппарат"): ссылка на "общественное мнение" очень быстро стала простым прикрытием обычных бюрократических процедур, придававшим им внешний демократический блеск. Чтобы понять это, достаточно вспомнить "общественные суды" над представителями интеллигенции 60-х годов.

Обратимся к реалиям того времени. Уже к середине 60-х годов одни только постоянно действующие производственные совещания были созданы на 66 тыс. предприятий и строек, а в их работе ежегодно принимало участие не менее 40 млн. человек (53). Однако, как свидетельствуют данные социологических исследований, эти и подобные им формы привлечения людей к управлению делами производства после энергичного и эффективного начала по-прежнему как бы доходили до какого-то "потолка" (54). Этим "потолком" был совещательный характер их деятельности, то, что они в принципе ничего не решали (55).

Известного "потолка" к тому времени достигло и развитие движения за коммунистический труд. Неясны были его перспективные стимулы, особенно для коллективов, добившихся почетного звания. "Коллектив добился звания — отлично! — писал в этой связи журналист Л. Спиридонов. — А дальше что?.. Бригады этого не знают. У некоторых начинается головокружение от успехов, они... сдают позиции" (56). Движение нередко замыкалось на идее "коллективизации" (производства, быта и т.д.), тяготело к старой тенденции уравнилельного распределения.

Искусственная в своей основе попытка переключить демократическое движение из политической сферы (где оно только и имеет смысл) в сферу производства и быта зашла в тупик, как зашел в тупик и собственно процесс либерализации, ограниченный однопартийностью, идеологическим и политическим монизмом. Хрущев сохранил власть, упрочил свои позиции в качестве единоличного лидера, не дав окрепнуть оппозиции. Но парадокс: те самые принципы, которые обеспечивали власти стабильность, одновременно блокировали реформы, которые работали на авторитет этой власти, формируя прогрессивный имидж Хрущева.

Стремлением преодолеть этот парадокс, вероятно, и объясняется попытка Хрущева вернуться вновь к вопросу о Сталине. Это случилось в 1961-м.

3. Начало 60-х: общественное мнение и политика центра

“Мы не только раскритиковали недостатки прошлого, но провели такую перестройку, которую без преувеличения можно назвать революционной в деле управления и руководства всеми областями хозяйственного и культурного строительства”, — сказал Хрущев в одном из своих публичных выступлений 1960 г. И добавил: “...Мы, в Президиуме ЦК, очень довольны положением, которое сейчас сложилось в партии и в стране. Очень хорошее положение!” (57) Таково было мнение лидера страны. А что думал народ?

Многие, безусловно, могли бы разделить оптимизм позиции руководителей. В начале 60-х годов Институт общественного мнения “Комсомольской правды” провел анкетный опрос молодого поколения страны с целью выяснения жизненных ориентаций молодежи, понимания ею смысла жизни, ее идеалов и планов на будущее. По результатам этого опроса (хотя они, конечно, не могли отразить настроения молодых во всех частностях) нетрудно воссоздать мироощущение наших “шестидесятников”. В качестве наиболее характерных черт, свойственных молодому поколению в целом, чаще других назывались целеустремленность, жизненная активность, оптимизм, подкрепленный “повседневной работой на коммунистический идеал” (58). “Каждый должен представлять себе ту высокую ответственность, которая возложена на наше поколение, — рассуждал один из участников опроса В.Соловьев. — Сохранить огонь Октябрьской революции, не сдать ни одного рубежа, подняться еще на одну ступеньку в человеческом восхождении к солнцу, к счастью, к свету” (59). “Мы живем в прекрасное время, — как бы продолжал эту мысль В.Вильчинский из г.По-

лоцка. — И оно прекрасно не тем, что мы богаче, чем раньше, живем, интересней работаем, веселее и лучше проводим досуг. Наше время прекрасно прежде всего потому, что сегодня на наших глазах и при нашем участии строится коммунизм...” (60)

Вместе с тем вера молодежи в коммунистический идеал, оптимизм восприятия настоящего и будущего отнюдь не заслоняли собой недостатки действительности. “...Сейчас мы не имеем права видеть только хорошее, то, что у нас уже есть и чего у нас нельзя отнять, — писал в своей анкете Г.Лаврентьев из Москвы. — Конечно, ошибочно видеть и только плохое, но, с другой стороны, нельзя закрывать на него глаза, как это бывало (порой оправданно) прежде. Сегодня надо кричать о плохом, поднимать на борьбу с ним весь народ” (61). В чем же конкретно виделось это “плохое”? Интересно, что, несмотря на достаточно мощный критический запал, представления молодежи о недостатках и трудностях современного момента были в общем ограничены набором социально-нравственных проблем. Именно нравственные аспекты развития общества выдвигались ими на первый план, а в качестве наиболее нестерпимых черт, нашедших, по мнению участников опроса, распространение в молодежной среде, назывались равнодушие, пассивность, иждивенчество и т.п. Отсюда — призывы встать “контролерами” у входа в будущее, “чтобы не пропустить никакой грязи в его чистые и светлые залы” (62). Можно говорить о недостаточной глубине критического анализа и наивности суждений, присутствовавших в оценках молодых, но, пожалуй, единственного, чего нельзя отрицать, это высокого в целом нравственного потенциала молодого поколения шестидесятых, его созидательной активности, готовности к “Большой Работе”. Этот настрой тогда, в начале 60-х, был преобладающим, он как бы возвышался над скепсисом, равнодушием к жизни и эгоизмом, имевшим место у части молодежи. Во всяком случае, именно они — “романтики” — определяли лицо поколения.

Мысли и размышления молодых — весьма характерный, однако только один из срезов общественных настроений. К сожалению, мы не всегда располагаем социологическими данными, чтобы представить более или менее адекватную картину общественного мнения на конец 50 — начало 60-х годов. Но хоть бы в самой общей форме сделать это не только можно, но и необходимо. Знание того, о чем люди думали и разговаривали — причем не в официальной обстановке и даже не на страницах печати, а между собой, для понимания проблем и характера времени дает подчас больше, чем констатирующий текст того или иного постановления.

Примерно в то же самое время, когда Хрущев заверял соотечественников, что в стране, наконец, сложилось “очень хорошее

положение", редакцией журнала "Коммунист" было получено любительное письмо, автор которого (подписавшийся как К.Гай из г.Дрогобыча) решил собрать наиболее часто встречающиеся в разговорах людей критические замечания в адрес партийного руководства. Свое письмо он предварил замечанием: "Прошу поместить следующие подслушанные в пути мысли и ответить на них людям" (63).

Что же это за мысли, которые, не высказанные публично (кстати, так и не опубликованные), имели "хождение в народе"? Приведем текст письма с некоторыми сокращениями: "Н.С.Хрущев... называет наших руководителей "слугами народа", это все равно, что черное назвать белым... Всегда слуга плату получал у хозяина, хозяин ее ему устанавливал. У нас наоборот. Страшно широкий замкнутый круг общегосударственных и местных вождей, считающих себя гениями против руководимой ими черни, сами себе установили огромные оклады, боятся разрешить самому народу подумать об установлении оплаты руководителям, о выборе руководителей... Опубликуйте, кто из депутатов и сколько получал "за" и "против" (персонально), зачем скрывать это от избирателей?.. Программу коммунистов Югославии нужно же дать почитать всем желающим, а то детективные романы переводят с любого языка, а небольшую программу коммунистов (пусть и ошибающихся) прячут... В судах должно быть больше нарзасов, чем присяжных, доверяйте людям, приобщайте к руководству страной, решению общегосударственных дел... Проводите референдумы.

Люди хотят снижения цен. Его нет несколько лет...

Нужно, чтобы хотя бы по внешнему виду наши руководители были похожи на трудящихся больше, чем на буржуев...

По радио и в газетах меньше восхвалять сегодняшний день, а больше звать к завтрашнему. Культ личности был не только Сталина и не по его только вине, а большинства руководителей, по их вине. А они в седле" (64).

Из этих разрозненных суждений складывается своеобразная "фотография" общественного мнения с выделением "болевых точек" действительности, существование которых наиболее остро ощущалось на уровне обыденного сознания. Конечно, во все времена были недовольные, и любая, сколько-нибудь серьезная перестройка не приносит быстрых улучшений в положении людей, а на определенном этапе может привести и к снижению жизненного уровня. И все-таки за высказанными критическими мыслями важно увидеть не голый скепсис, а общественную проблему, ущемленное чувство социальной справедливости, которое всегда было важным "индикатором" состояния общества. А после этого уже решать, в каком случае претензии и беспокойство обоснова-

ны, а где имеет место упрощенное понимание принципов социального распределения или недопонимание особенностей момента. С точки зрения особенностей момента, чья же позиция — верхов или определенной части низов — была более жизненной, насколько был обоснован оптимизм одних и пессимизм других?

Закончилась крупная реорганизация управления народным хозяйством (1957 г.), которая на первом этапе дала несомненный эффект. Принят новый план на семилетку. Форсируется развитие науки, готовятся новые космические программы. Политическая жизнь внутри страны стала более стабильной: критическая волна явно пошла на спад, все реже поднимался вопрос о борьбе с культом личности, который в свое время дал импульс общественной активности. Еще в 1959 г. на стадии верстки была остановлена публикация закрытого доклада Хрущева на XX съезде партии: нет Сталина — нет и культа личности, а развенчание “актипартийной группы” легко было представить как последний аккорд в борьбе со “сталинистами”.

Международное положение тоже не внушало пока особых опасений. Напротив, произошла некоторая стабилизация ситуации в Западной Европе, мир следил за развитием национально-освободительных движений в Африке, за событиями на Кубе, вновь поднявшими популярность идеи социалистического выбора. В общем положение дел как внутри страны, так и за ее пределами при одномоментной оценке ситуации могло служить основанием для оптимизма. Правда, с одним лишь условием: если считать это положение неизменяемым или способным к развитию лишь в одну сторону — от хорошего к лучшему.

Между тем любой непредвзятый анализ ситуации показывал, что она чревата серьезными осложнениями. Постепенно сбывались прогнозы тех, кто предупреждал об ограниченности структурных подходов к реорганизации практики управления и видел просчеты проведенной совнархозовской реформы. Реорганизованная система управления народным хозяйством была отличной от существовавшей ранее “министерской”, но не принципиально новой. Сохранился старый принцип разверстки сырья и готовой продукции, экономически ничего не изменивший в отношениях потребителя и поставщика. Диктат производителя по-прежнему воспроизводил ненормальную хозяйственную ситуацию, при которой предложение определяет спрос. Экономические рычаги не заработали. С помощью административной “палочки” обеспечить стабильный экономический рост было невозможно (хотя конкретные цифры развития экономики, предусмотренные Программой партии, были как раз ориентированы на поддержание достигнутого к концу 50-х годов темпов экономического роста — без учета подвижности конъюнктуры и возможностей базового уровня).

Существование целого ряда проблем — экономических, социальных, политических, нравственных — выявило предсъездовское обсуждение проектов Программы и Устава партии. Большинство этих проблем концентрировалось в той области, которая определяет отношения между народом и государственной властью. Приглушение критики, снижение демократического настроения в общественной жизни не прошли незаметно для современников. Очевидная возможность утраты позиций, заявленных на XX съезде партии, с необходимостью ставила вопрос о поиске гарантий необратимости начатых реформ. Если судить по читательской почте того времени, то содержание гарантий от рецидивов культа личности виделось прежде всего в преодолении отчуждения между общественностью и представителями власти. В качестве мер, направленных на преодоление этого отчуждения, предлагалось ограничить срок пребывания на руководящих партийных и государственных должностях, ликвидировать систему привилегий для номенклатурных работников, проводить строгий контроль за соблюдением принципов социальной справедливости. Как вспоминает Ф.Бурлацкий, принимавший участие в подготовке программных документов XXII съезда, именно вопрос о включении в проект Устава тезиса о сменяемости кадров вызвал больше всего споров. Было проработано более десяти вариантов формулировок этого тезиса, однако принцип, согласно которому в составе высшего руководства можно было находиться не больше двух сроков, так и не прошел (65). В окончательном варианте проекта (который и был принят на съезде) остался трехсрочный принцип пребывания у власти с поправкой на возможность его продления в силу "признанного авторитета, высоких политических, организаторских и других качеств" лидеров (66).

Вместе с тем еще в ходе обсуждения предсъездовских документов высказывалась справедливая мысль о половинчатости подобного решения. П.Усачев из г.Баку обосновывал, например, свою позицию тем, что оговорка, позволяющая оставлять руководящего работника на выборном посту "по метивам особой даровитости" — это та отдушина, "которая обязательно создаст условия, когда ею могут воспользоваться не только даровитые и ценные люди, но и те шкурники, которые обманно или случайно пробравшись к руководству раз, насидая часто угодные им кадры, добьются, что и за них "голоснут" более трех четвертей делегатов" (67). Оппоненты идеи ротации кадров также находили поддержку снизу — в основном со стороны низовых выборных работников. Так, депутат сельсовета из Сталинградской области Шульгин высказывал мнение, что введение ограничений для пре-

бывания на выборных должностях породит "отбывательщину", когда человек будет не работать, а "дотягивать срок", как будто речь шла не о партийной и государственной работе, а о пребывании в местах заключения(69).

Не менее ожесточенные споры вызвал вопрос о привилегиях номенклатуры. Протест против существования подобных привилегий шел главным образом снизу. Правда, выход из ситуации виделся подчас довольно простым, когда для восстановления социальной справедливости считалось достаточным ограничить доходы и вернуться к уравнительному принципу распределения различного рода благ. Активно обсуждалась идея партмаксимума и госмаксимума (размеры которых предлагалось установить официально и зафиксировать в Программе партии)(69).

Наиболее радикальные предложения остались за рамками решений, принятых XXII съездом. Некоторые участники предсъездовской дискуссии, можно сказать, предвидели подобный исход, полагая, что сам процесс обсуждения организован недемократично, а чаще — просто формально. "Действительная критика и дискуссия по программе допущены, видимо, не будут, — писал член партии с 1919 г. Ф.Шульц из Москвы. — Серьезная критика берется в штывки, объявляется не деловой, а догматической. Кто же полезет на рожон?! Голосуй за монолитность и вся недолга... Однако это явление нельзя считать достижением и действительным единством партии. Налицо — снижение активности членов партии из-за боязни новых репрессий и взысканий, налицо боязнь критиковать "предначертания" ЦК КПСС"(70). Высказывались опасения, что по-настоящему деловые и критические материалы "упрятываются", нарочно не доводятся до народа(71).

Процесс поворота к демократии оказался совсем не простым: легче было провозгласить принципы коллегиальности, гласности, уважения к общественному мнению, чем их субъективно усвоить, сделать нормой политической жизни. До конца непродолеанным осталось и пространство отчуждения, разделяющее общество на "вождей" и "массы". Однажды уже остановленный механизм демократических реформ вновь начинал поворачиваться с трудом: сказался здесь и явно компромиссный, половичатый характер политических решений, принятых в 1961-м, которые в общем не шли дальше старой практики частичных улучшений. Главное, что они оказались фактически закрытыми для критики, а значит, и для возможности дальнейшего развития. Только что принятая Программа партии сразу была объявлена "вершиной теоретической мысли", "научным подвигом" партии. В таких условиях призывы к развитию и углублению

теории социализма стали восприниматься достаточно однозначно: “Смешными и жалкими сейчас выглядят те, кто ломаясь в открытую дверь, кричат о том, что надо приступить к “обогащению” теории, не замечая, как бурно идет в Советском Союзе процесс развития теории в неразрывной связи с практикой коммунистического строительства...” (72).

Однако даже несмотря на то, что из спектра решений XXII съезда выпали, возможно, самые конструктивные идеи, сам съезд как общественно-политическое событие по тому времени, безусловно, неординарное был по достоинству оценен современниками, особенно в части критики сталинизма. Для многих людей, болезненно переживших отступление от курса на десталинизацию, новый поворот был неожиданным. “После бесцветного XXI съезда, втуне и безмолвие оставившего все славные начинания XX-го, никак было не предвидеть ту внезапную залихватскую яростную атаку на Сталина, которую назначит Хрущев XXII-му съезду! — напишет А.И.Солженицын. — И объяснить ее мы, несомненные, никак не могли! Однако она была, и не тайная, как на XX съезде, а открытая! Давно я не помнил такого интересного чтения, как речи на XXII-м съезде. Я читал, читал эти речи — и стсны моего затаенного мира заколебались, и меня колебали и разрывали: да не пришел ли долгожданный страшный радостный момент — тот миг, когда я должен высунуть макушку из-под воды?” (73). Именно в тот момент, по признанию А.Солженицына, у него созрело решение передать свою повесть “Щ-854” в журнал “Новый мир”, где уже в 1962 г. она увидела свет под известным всему миру названием — “Один день Ивана Денисовича”.

Это произошло в январе 1962-го, а месяцем раньше “Правда” опубликовала стихотворение Е.Евтушенко “Наследники Сталина”. И повесть А.Солженицына, появившаяся благодаря личному участию Хрущева — “с ведома и одобрения ЦК” — и антисталинское выступление Е.Евтушенко в центральном партийном органе должны были продемонстрировать общественности, что руководство страны хранит верность курсу на десталинизацию и намерено твердо идти по пути порчания прошлого. Возможно, это и не была “чистая” демонстрация, но тогда это те самые “благие намерения”, мало общего имеющие с результатами их реализации. И вот почему: объявив новый поход в прошлое, руководство страны опять натолкнулось на “подводный камень”, о который в сущности разбились наиболее радикальные планы XX съезда. Речь идет о степени коррекции опыта прошлого и опыта настоящего, поскольку критически-аналитический подход обладает той особенностью, что он не знает

хронологических границ; напротив, история — если относиться к ней серьезно — всегда служит инструментом познания не только прошлого, но и настоящего. На пути развития этого естественного процесса обремененные властью критики Сталина сразу же выставили ограничитель — 1953 год, разделивший нашу историю на “старое” и “новое” время. Все, что относилось к “новому” времени, проверялось не духом решений по культуре личности, а идеями партийной программы — с ее непротиворечиво-положительной заданностью.

Об отсутствии должной взаимообусловленности между двумя принципиальными решениями XXII съезда — по культуре личности и по программе партии, об опасности углубляющегося разрыва между ними с тревогой писали современники. “Для того, чтобы решения съезда были правильно и всесторонне поняты разными слоями нашего народа, усвоены и закреплены надолго, — обращался к Н.С.Хрущеву писатель Э.Казакевич, — необходимо, мне кажется, сейчас же, без промедления, организовать открытые и прямые выступления мастеров культуры и науки всех оттенков и специальностей в поддержку двух основных вопросов, решенных съездом и взаимосвязанных: Программы партии и развенчания Сталина... Мне кажется, что именно так может быть достигнуто то, чего нельзя добиться только официальными комментариями, переименованием городов и другими административными мерами: создание сильного и устойчивого общественного мнения и ликвидация некоторого разброда, сомнений и даже недовольства, которое, как Вы и предвидели в своем докладе, имеет место в отдельных слоях нашего народа... Народу станет еще яснее, что строительство коммунизма и развенчание Сталина — неразрывное целое, что нельзя быть за первое, не будучи и за второе, что полная ликвидация культа Сталина — необходимость” (74).

Наверку считали по-другому. Секретарь ЦК Ф.Р.Козлов, выступая после XXII съезда перед слушателями Высшей партийной школы, говорил о том, что на съезде произошел известный перекос: вместо обсуждения главного события — новой программы партии — неожиданно получилось “второе издание” XX съезда и критики сталинизма. Этот перекос, настаивал секретарь ЦК, надо исправлять (75).

О.Р.Лацис, работавший в начале 60-х в “Экономической газете”, вспоминает, как после XXIII съезда стал постепенно меняться общий тон газет и журналов — даже тех, кто до этого старался держаться на высоте и проводить более или менее самостоятельную линию. В этой удивительно дружной перемене, безусловно, чувствовалась направляющая установка, которую

вполне разъяснил в одной из проработочных бесед с журналистами секретарь ЦК Л.Ф.Ильичев. Он тогда сказал: "Почву надо удобрять, а не перепахивать!". "Где ж ему было знать, — замечает О.Р.Лацис, — что нельзя удобрять почву, не перепахивая ее" (76).

Снова, как в 1956-м, общественная мысль в своей интерпретации принятых руководством страны решений пошла значительно дальше, чем нужно было властям: "упрямые" интеллигенты не хотели видеть в сталинизме отжившее явление и настойчиво предупреждали о его возможных рецидивах. Впрочем, подобные мысли владели умами не только интеллигенции. Вот что писал в связи с обсуждением новой программы партии рабочий И.Иванов из Норильска: "После XX съезда партии, осудившего культ личности и поставившего вопрос о том, чтобы в дальнейшем ни в какой форме он не возродился, сейчас мы видим, что не в какой-то другой форме, а в совершенно тех же формах, не в меньших размерах возрожден культ личности тов.Хрущева Н.С. — не без его личной помощи, не без помощи ЦК и его президиума и не без помощи печати, радио и телевидения" (77).

Факты для такого рода выводов были очевидны: на месте низвергнутого авторитета постепенно ставился новый. Уже на XXII-м съезде КПСС имя Хрущева было окружено всеми необходимыми внешними атрибутами, которые формально возводили его в ранг "вождя" и одновременно ограждали от какой бы то ни было критики. Поэтому не все современники искренне поверили Хрущеву, когда он снова выступил против культа Сталина. Конечно, кто-то тогда с облегчением произнес: "Лед тронулся, наконец!". Но кто-то, как, например, А.Б.Левин из Ленинграда, вполне резонно спросил: "тронулся ли?.. Давайте говорить прямо. Сталина критикуют, потому что он мертв... При всем уважении к человеку, который с риском для жизни повернул руль истории.., нельзя не отметить схожих черт в обстановке. Опять "ура!", опять нет недостатков! Но ведь всякий нормальный человек понимает: без ошибок и недостатков нет никого. Почему же о них молчат? Почему опять внимают коленопреклоненно? Опять есть только два мнения: одно — Никиты Сергеевича, а второе — неправильное!" (78).

Официальная пропаганда по-прежнему ратовала за смелую критику, невзирая на авторитеты. Но при этом все чаще выражалось сожаление, что-де редко можно прочитать доброе слово о директоре предприятия, председателе райисполкома, партийном руководителе (79). Считалось, что при подобном подходе "у незрелых людей рождается пренебрежительное отношение к

руководителям вообще, недоверие к ним: мсл, все они такие! Бывает и так: стоит заговорить об авторитетах, как обыватели начинают шептаться: "Опять культ, возвращаемся к старым временам" (80).

Но люди уже не только шептались. Писатель В.Суров, вспоминая свое детство начала 60-х годов, рассказал об этом достаточно характерно: "Если бы кто-то из соседей заговорил бы так, как говорят по радио, его наверняка сочли сумасшедшим... Ну, представьте себе, что кто-то без смеха, а натурально, на полном серьезе говорит: "Наш дорогой и любимый Никита Сергеевич!". Если бы не поняли, что это острое психическое заболевание, то дали бы в лучшем случае в морду. Жрать нечего, мяса нет, за хлебом очереди, а по радио: "Полнее удовлетворять все возрастающие потребности населения"... Или кто-то (даже по пьянке) запел по-настоящему: "Будет людям счастье, счастье на века, у советской власти сила велика!" ...Наверняка не поздоровилось бы этому певцу. Даже пьяному бы изkostenяляли, хотя обычно к пьяным на Руси всегда относились снисходительно" (81).

Эмоциональность и непосредственность советского лидера, с любопытством и доброжелательством воспринимаемые его западными коллегами, "дома" раздражали. И чем более красочную жизнь обещал Хрущев своим соотечественникам, рисуя новые проекты, тем очевиднее становилось растущее недовольство людей "политикой слова", которая все труднее связывалась с "политикой дела". Обитатели политического Олимпа часто сами провоцировали негативную реакцию на свои действия, демонстрируя контраст в уровне жизни верхов и низов: газеты, радио и даже пока еще не очень привычное телевидение, соперничая друг с другом, информировали о пышных банкетах, торжественных обедах, дорогих приемах. И все это — на фоне убывающего ассортимента городских (не говоря уже о сельских) прилавков. Чтобы как-то нейтрализовать общественное раздражение от увиденного и услышанного главный редактор "Правды" П.Сатюков, например, обратился в ЦК КПСС с письмом, где предложил до минимума сократить разного рода "гастрономическую" информацию из жизни высших сфер, заражающую общество негативными эмоциями против власть имущих. (82)

В этой ситуации решение правительства повысить с 1 июня 1962 года розничные цены на ряд продовольственных товаров произвело эффект, который был совершенно не предусмотрен властями. Уже в тот же день, когда в печати появилось сообщение о повышении цен, в разных местах были обнаружены листовки с весьма характерным и в общем типичным содержа-

нием: "Сегодня повышение цен, а что нас ждет завтра?" (Москва); "Нас обманывали и обманывают. Будем бороться за справедливость" (Донецк) и др. (83). Комитет государственной безопасности ежедневно информировал ЦК КПСС о реакции населения на повышение цен. Среди негативных настроений в основном преобладали старые мотивы: недовольство политикой "братской помощи" и слишком роскошной жизнью верхов, пытающихся свои собственные просчеты исправить за счет народа. Но на фоне неизбежного в таких случаях всплеска эмоций встречались и попытки более глубокого анализа продовольственного кризиса: "Неправильно было принято постановление о запрещении иметь в пригородных поселках и некоторых селах скот. Если бы разрешили рабочим и крестьянам иметь скот, разводить его, то этого бы (т.е. повышения цен на мясо — Е.З.) не случилось, мясных продуктов было бы сейчас достаточно"; "Все плохое валят на Сталина, говорят, что его политика развалила сельское хозяйство. Но неужели за то время, которое прошло после его смерти, нельзя было восстановить сельское хозяйство? Нет, в его развале лежат более глубокие корни, о которых, очевидно, говорить нельзя" (84).

Повышение цен пришлось на тот момент времени, когда по всей стране шла кампания по пропаганде решений XXII съезда партии, призванных продемонстрировать "преимущества социализма", в том числе и по части "непрерывного роста благосостояния трудящихся". "Как же верить теперь нашим официальным заявлениям, — удивлялся, например, один москвич, — если на лекции о международном положении лектор говорил нам о том, что слухи о повышении цен в СССР — это враждебная пропаганда, распространяемая радиостанцией Би-Би-Си...?" (85). Решение о новых ценах на продукты действительно застало врасплох тех, кто призван был доносить партийную политику до народа. "Не знаю, что мне говорить членам кружка, где я провожу занятия, — недоумевала одна из них. — Все время в беседах со слушателями я опиралась на нашу чудесную программу, говорила о непрерывном росте благосостояния трудящихся. Что же я буду говорить теперь? Мне просто перестанут верить" (86).

Но то, чего так опасалась добросовестный пропагандист, уже произошло. Люди не верили. Ни Хрущеву, ни его правительству. И может быть, вообще никому. И тогда возник феномен Новочеркасска.

Долгое время трагические события июня 1962 года в Новочеркасске рассматривались как чуть ли не единственная акция протеста против решения правительства о ценах (хотя в действительности повышение цен было скорее поводом для волнений).

На самом деле рабочие Новочеркасска были не одиноки, но они единственные, кто отважился идти до конца. Что касается предзабастовочных ситуаций, то они отмечались тогда во многих промышленных центрах. Причем события развивались довольно быстро: если 1 июня сообщения КГБ о настроении населения фиксировали в основном оценочную реакцию — удивление и недовольство повышением цен, то уже со 2 июня в этих сводках начинает преобладать информация о начале активных действий — о призывах к забастовкам и демонстрациям, порой довольно резких: “Долой позорное решение правительства. С 4-го — забастовка” (Челябинск); “Нужно иметь автомат и перестрелять всех” (Читинская область); “Вы — коммунисты, что же молчите? Власть народная, давайте, сделайте переворот” (Хабаровск) (87). Вполне вероятно, что распространение подобных настроений ускорило трагическую развязку в Новочеркасске.

Очевидно одно: власти тогда по-настоящему испугались. Ситуация поставила их перед выбором: пойти на уступки или предпринять решительное наступление, чтобы в дальнейшем блокировать саму возможность повторения событий, аналогичных новочеркасским. И такой выбор действительно был сделан, о чем свидетельствует, например, появление одного документа, датированного июлем 1962 года: “Всему руководящему и оперативному составу органов государственной безопасности, не ослабляя борьбы с подрывной деятельностью разведок капиталистических стран и их агентуры, принять меры к решительному усилению агентурно-оперативной работы по выявлению и пресечению враждебных действий антисоветских элементов внутри страны... Создать... Управление, на которое возложить функции по организации агентурно-оперативной работы на крупных и особо важных промышленных предприятиях” (88). Вновь поворот к реакции, только теперь, в отличие от 1957 года, уже недвусмысленный и вполне очевидный.

1962 год. Это он открыл миру А. Солженицын. Но он же — знаменовал собой кровавую драму Новочеркасска и зыбкий баланс Карибского кризиса. А под занавес — шумный скандал в московском Манеже и не менее скандальная “историческая встреча” Хрущева с интеллигенцией. Последнее событие, пожалуй, окончательно решило вопрос об отношении к лидеру демократически настроенной части общества. Хрущев остался один, точнее один на один с партаппаратом, который вскоре решил и его собственную судьбу, а судьбу начатых в 50-е годы реформ.

А казалось бы, для успеха реформ во второй половине 50 — начале 60-х годов были созданы все условия. Общество находилось на эмоциональном подъеме. Общественная мысль сбрасывала

старые одежды привычных догм и активно генерировала новые идеи. Появился феномен общественного мнения, способного фокусироваться на узловых проблемах политики и оказывать влияние на выбор политических решений. Центр после завершения довольно длительного периода борьбы за власть, наконец, приобрел лидера-реформатора, способного возглавить процесс социальных преобразований. И тем не менее большинство прогрессивных начинаний, задуманных в те годы, потерпели полное или частичное поражение. Почему так произошло? Этот вопрос требует ответа. Особенно сейчас, когда так легко власть в соблазне мистического толка и списать все неудачи реформационных попыток за счет особенной "невосприимчивости" России к реформам как таковым.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. XXII съезд КПСС. Стеногр. отчет. Т.1. С.102.
2. XX съезд КПСС. Стеногр. отчет. М., 1956. С.115.
3. РЦХИДНИ. Ф.599. Оп.1. Д.81. Л.4.
4. Презда. 1958. 15 апреля.
5. РЦХИДНИ. Ф.599. Оп.3. Д.653. Л.199.
6. Грушин Б.А., Чикин В.В. История поколения. М., 1962. С.204.
7. Дудинцев В. Начинать нужно с хлеба // Аргументы и факты. 1988. N 32.
8. См. подробнее: Аргументы и факты. 1989. N 1.
9. Цит. по: Оттепель. 1953 — 1956. С.475.
10. Там же. С.476.
11. Известия. 1956. 2 ноября; Литературная газета. 1956. 24 ноября, 15 декабря.
12. РГАЛИ. Ф.1702. Оп.6. Д.245. Л.4.
13. Там же.
14. Там же. Л.12.
15. Там же. Л.33.
16. Там же. Л.5.
17. Там же. Л.12.
18. РЦХИДНИ. Ф.556. Оп.1. Д.603. Л.307.
19. Там же. Л.306.
20. РГАЛИ. Ф.1702. Оп.6. Д.243. Л.39.
21. Цит. по: Оттепель. 1953 — 1956. С.476.
22. РЦХИДНИ. Ф.556. Оп.2. Д.671. Л.30.
23. ЦХСД. Ф.89. Перечень. 6. Док.2.
24. Там же.
25. Оренбург И. Указ.соч. // Огонек. 1987. N 24. С.28.
26. См.: Вопросы литературы. 1989. N 5. С.210.
27. Хрущев Н.С. За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа М., 1957. С.16.
28. Вопросы литературы 1985. № 5. С.212.
29. Твардовский А.Т. Из рабочих тетрадей // Знамя. 1989. N 8. С.127.
30. Интервью с И.А.Дедковым. Личный архив автора.
31. Хрущев Н.С. К новым успехам литературы и искусства. М., 1960. С.9.

32. Цит. по: Правда. 1957. 8 окт.
33. Цит. по: Правда. 1987. 4 окт.
34. РГАЛИ. Ф.1702. Оп.8. Д.528. Л.27 — 28.
35. Там же. Л.9.
36. Там же. Л.41 — 42.
37. Слуцкий Б. Стихотворения. М., 1989. С.132.
38. Антокольский П. Поэзия и фанка // Литературная газета. 1960. 21 янв. С.3.
39. РГАЛИ. Ф.634. Оп.4. Д.2753. Л.45 — 46.
40. Там же. Л.57.
41. Глаголы прошедшего времени. Беседа с А.М.Алексеевым // Огоньк. 1989. N 23.
42. РЦХИДНИ. Ф.599. Оп.1. Д.36. Л.59.
43. Хрущев Н.С. Социализм и коммунизм. Из выступления 1956 — 1963 гг. М., 1963. С.98.
44. Петров Н.И. Один за всех — все за одного. Коллективизм как черта социалистического образа жизни. М., 1985. С.153.
45. РЦХИДНИ. Ф.599. Оп.1. Д.434. Л.108.
46. Там же. Д.174. Л.13.
47. Там же. Л.15 — 16.
48. Коммунист. 1961. N 3. С.115.
49. Там же. С.113.
50. РЦХИДНИ. Ф.599. Оп.1. Д.170. Л.13 — 14.
51. Там же. Д.174. Л.37.
52. Там же. Д.326. Л.58.
53. Бедренко В.М. Общественные начала в управлении производством. М., 1965. С. 162 — 163.
54. Волков Ю.Е. Так рождается коммунистическое самоуправление: Опыт конкретно-социологического исследования. М., 1965. С.201.
55. Ракицкий Б.В. Формы хозяйственного руководства предприятием. М., 1968. С.187.
56. Цит. по: Грушин Б.А., Чикин В.В. Проблемы движения во коммунистический труд в СССР // История СССР. 1962. N 5. С.22.
57. Хрущев Н.С. К новым успехам литературы и искусства. М., 1961. С.10, 13.
58. Грушин Б.А., Чикин В.В. Исповедь поколения. М., 1962. С.116, 128.
59. Там же. С.95.
60. Там же. С.150.
61. Там же. С.151.
62. Там же. С.151 — 152.
63. РЦХИДНИ. Ф.599. Оп.1. Д.211. Л.1.
64. Там же. Л.1 — 3.
65. Бурлацкий Ф. После Сталина: Заметки о политической отсталости // Новый мир. 1988. N 10. С.193.
66. XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стожур. отчет. Т.3. М., 1961. С.344.
67. РЦХИДНИ. Ф.599. Оп.1. Д.177. Л.45.
68. Там же. Д.170. Л.118 — 119.
69. Там же. Д.174. Л.32; Д.175. Л.6 — 7.
70. Там же. Д.176. Л.58.
71. Там же.
72. Правда. 1961. 21 января.
73. Солженицын А. Бодялся теленок с дубом. IMCA-PRESS, 1990. С.19 — 20.
74. Казакевич Э. Указ.соч. С.305
75. Интервью с О.Р.Лядисом. Личный архив автора.
76. Там же.
77. РЦХИДНИ. Ф.599. Оп.1. Д.183. Л.1.
78. ГАЛИ. Ф.1702. Оп.10. Д.1. Л.92.

79. См.: Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, 18 — 21 июня 1963 года. Стеногр. отчет. М., 1964. С.76.

80. Там же.

81. Суров В. Зал ожидания. Повесть // Невз. 1900. N 8.

82. ЦХСД. Ф.5. Оп.30. Д.43. Л.264.

83. Там же. Ф.89. Перечень N 6. Док.11.

84. Там же. Док.12.

85. Там же. Док.13.

86. Там же. Док.12.

87. Там же. Док.13.

88. Там же. Док.20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исторические аналогии — вещь обманчивая, но в общем бесполезная. Во всяком случае внимательное и непредвзятое отношение к опыту прошлого иногда избавляет политиков современности от необходимости начинать свое дело с “нуля”, т.е. идти по наиболее затратному пути программирования будущих действий. Потому что, несмотря на всю избирательность исторических судеб времени, существуют в его течении некие общие правила, соблюдение которых позволяет избежать опасности столкновения с неожиданными “подводными камнями”. В том числе и с теми, что встали непреодолимой преградой на пути прошлых попыток реформировать наше общество.

Начнем с *фактора времени*, т.е. выбора момента, наиболее благоприятного для проведения реформ. Благоприятного — значит страхующего общество и его структуры от наиболее болезненных последствий реформационного процесса. Общеизвестно, что относительно “мягкими” по степени воздействия на общество являются реформы упреждающего характера (т.е. реагирующие на негативные тенденции до того, как они приобрели черты кризиса) и учитывающие фактор состояния общественной атмосферы (т.е. возможную реакцию общества на реформы). Соблюдение первого условия зависит от позиции центра, второе связано с поведением так называемых “низов”, “народа”; но правильный выбор момента для начала реформ предполагает не просто наличие обоих условий, но и их совпадение во времени.

В послевоенной реформационной практике момент возможного совпадения интересов на уровне системы народ — власть почти всегда оставался за рамками собственно процесса преобразований. Более того — общественный консенсус часто поддерживал ситуацию “отложенных решений”, когда реформационная несостоятельность верхов нивелировалась молчаливым согласием народа перетерпеть очередные “временные трудности”. Получалось так, что весь духовный порыв общества аккумулировался в ожидании, а власти принимались за реформы, когда пик духовного подъема народа был уже пройден (такие пиковые точки можно отнести к периоду 1945 — 1946 гг., 1956 и 1961 годам). Пока ситуация позволяла, центр бездействовал, и только когда прессинг снизу приобретал характер негативной реакции, т.е. когда общество вплотную подходило к кризисной черте, центр предпринимал меры, призванные свидетельствовать о его намерениях действовать.

В направлении усиления охранительных функций власти — как это было в 1948 г., или же вступая на путь реформ — как в 1953 — 1954-м, 1956-м или после 1961 г.

Повинуясь каждый раз нажиму конкретной ситуации, центр не только не программировал результатов своих реформационных усилий (в этом плане весьма показательна третья программа партии, мало общего имеющая с реальным программированием), но и зачастую оказывался перед лицом непредвиденного эффекта собственных начинаний. Эскалация “ситуации непредвиденности” все более заставляла центр реагировать на нее — как об этом писал еще Л.Д.Троцкий — “в порядке административных рефлексов”, способом, в конце концов приведшим власть к кризису 1964 г.

Так был ли состоятелен центр в качестве инициатора и руководителя реформационного процесса? При той структуре власти, которая сложилась в стране за годы сталинской диктатуры, вопрос о роли центра в судьбе реформ является, пожалуй, ключевым. Власть ради реформ или реформы ради удержания власти — эта риторическая дилемма на самом деле несет не просто конкретный смысл, но смысл, раскрывающий главную логическую линию в поведении центра, его пределы возможного. Реформаторы 50-х годов столкнулись с необходимостью проведения структурных реформ, которые по сути своей ставили под угрозу сохранение самой власти — в том виде, в каком она держалась десятилетиями. В случае удачи они должны были уступить место у руля другой команде. Что же происходило в действительности?

В действительности в верхах постоянно шла борьба, часто невидимая для глаз непосвященного наблюдателя, который должен был принять миф о “коллективном руководстве”, но борьба настоящая и жесткая, сопровождавшаяся устранением соперников (правда, уже не физическим) и уничтожением оппозиции — в каких бы формах та ни проявлялась. Руководство, провозгласившее курс на демократизацию, сознательно боролось с оппозицией — главной гарантией необратимости начатых перемен, единственным противовесом, страхующим авторитарную власть от возвратного движения к консервативно-диктаторскому режиму. Со своей стороны оппозиция (или, точнее, прообраз оппозиции), которая в случае укрепления могла способствовать эволюции властной модели в направлении либерализации, была весьма уязвима, особенно из-за медлительности ее организационных форм, прежде всего парламентских. В условиях отсутствия парламентской традиции роль оппозиции взяла на себя литература, или, в более общем плане — печатное слово, вокруг которого фокусировалось общественное мнение. Так в общественной жизни 50-х годов проступили черты формирования новых социальных и политических институтов, развитие которых почти сразу же было заблокировано властями. Страх перед оппозицией — реальной

и мнимой — стал главным препятствием на пути реформ, ограничивающим пределы возможного условием выживания основных компонентов прежних властных структур.

В этом смысле попытки Маленкова можно считать более последовательными: во всяком случае, пройди он тогда свой путь до конца, мы, возможно, и имели бы в итоге вариант "государства полицейского благодеяния", о котором писал М.Я.Гифтер. А однажды выпустив джина из бутылки (как это сделал Хрущев в 1956 г.) надо было — если мы имели дело не со случайным порывом, а с действительной политикой — признать свершившееся как должное и приспособлять власть к новым условиям жизни, в которой начали пробивать себе дорогу основы плюрализма, где зарождался институт общественного мнения, росла сила давления снизу и т.д. В этом случае вариант структурной перестройки мог оказаться вполне реальным — тот самый вариант, который ни для самого Хрущева (вполне вошедшего к тому времени в роль "вождя"), ни тем более для его окружения оказался неприемлемым. Это очевидно, как очевидно и другой факт: свертывание реформ в 50 — 60-е годы произошло отнюдь не только по вине верхов.

За реформами всегда стоят социальные интересы. Это значит, что успех реформ зависит от качества социальной среды, на поддержание которой реформы направлены. Сущность всех послевоенных (включая современную) попыток реформ структурного характера состоит в том, что они — с точки зрения развития своей социальной базы — несли не столько укрепляющее, сколько формирующее начало. Подобные реформы неизбежно разрушают прежний баланс социальных интересов и создают новый, сопровождающийся иной, чем прежде, дифференциацией общества. Прежний баланс интересов имел главным образом бюрократическую природу, когда общество делилось — при всей грубой упрощенности этой градации — на "простой народ", с одной стороны, и "номенклатуру" — с другой. Конечно, и в этом делении существовала своя иерархия, но в большей степени она касалась внутрисистемных различий, тогда как сам фактор принадлежности к "народу" (управляемым) или "номенклатуре" (управляющим) нес в себе признаки качественного различия, потому что это было различие социального статуса. Относительное единство интересов в пределах обеих групп достаточно наглядно демонстрирует, например, общность претензий — от народа в адрес властей, — особенно острых и эмоциональных в периоды обострения кризисных проявлений. Поэтому любые реформы, так или иначе затрагивающие интересы номенклатуры, находят, как правило самую широкую поддержку снизу — даже если их суть сводится к традиционной борьбе с "бюрократизмом" или смене одних управляющих на других, что чаще всего и бывает.

Как только реформы начинают вторгаться в сферу интересов, где раньше было относительное равенство (пусть даже равенство нищеты), их социальная поддержка заметно слабеет, что и позволяет говорить о таких реформах как непопулярных. Однако непопулярность — неизбежное противоречие реформ формирующего типа. Только реформы политические способны учесть более или менее широкий спектр общественных интересов, тогда как реформы, затрагивающие сферу экономики, первоначально ориентированы на достаточно узкий социальный слой и поэтому встречают известное сопротивление в других общественных группах. В то же время, несмотря на возможную негативную реакцию, формирование социальной базы реформ является главной задачей реформаторов, если они, конечно, относятся к своей миссии серьезно. Иначе — реформационный процесс обречен на медленное (а иногда — вследствие социального взрыва — внезапное) угасание. Об этом напоминает, в частности, и опыт реформ 50 — 60-х годов: отсутствие массовой и сильной социальной опоры для проведения реформаторского курса структурной направленности значительно облегчило последующую победу консервативно-номскалтурного блока. Если в обществе возникали силы, так или иначе заинтересованные в прогрессивных переменах, они либо уничтожались в зародыше, либо подлежали нейтрализации, т.е. лишались рычагов реального воздействия на политику центра. Процесс нейтрализации мог быть осуществлен достаточно быстро и безболезненно для властей, поскольку носители прогрессивных перемен не имели экономических корней, обеспечивающих их интересы необходимой степенью влиятельности. Да и могло ли быть иначе, если в течение всего послевоенного периода не было проведено ни одной реформы, меняющей систему экономических интересов и создающей социальный слой, экономически заинтересованный в продолжении реформаторской политики (за исключением, пожалуй, попытки 1953 — 1954 годов, призванной нормализовать систему экономических отношений в деревне).

Центр не отличался радикальными, т.е. выходящими за рамки системы, инициативами. Но одновременно надо признать, что наличие подобных радикальных идей в обществе тоже, если и фиксировалось, то единицами. Процесс переоценки ценностей тогда только начался и приходил трудно, не без потерь преодолевая устоявшиеся идеологические комплексы и символы веры. В процессе реформ включилась *система ментальных ограничителей*, состоящая из набора когда-то усвоенных истины, образов, оценок, большая часть которых приобрела черты почти что генетического наследия.

Система ментальных ограничителей действовала везде — на всех уровнях выработки и реализации государственной политики. Соб-

ственно, тот же курс на ускоренное продвижение к коммунизму в гораздо большей степени, чем на известный лозунг "нам нет преград!", указывал на реальность преград действительных, мешающих трезвой оценке ситуации. Для каждого времени существует объективный "предел перемси", который может быть обеспечен, исходя из наличных условий его реализации. Однако под воздействием ограничителей субъективно-ментального порядка в замысле он может быть существенно как сужен, так и расширен. Первый случай подобной корректировки часто встречается при проведении верхушечных реформ. Второй — когда в процесс общественных преобразований включаются широкие массы, увлеченные пусть и не вполне реальной, но социально значимой целью. Однако, несмотря на разнонаправленность первоначальных установок, и в том, и в другом случае сохраняется одна опасность. Опасность, что потенциал общественного обновления окажется до конца нерезализованным.

Что же представляли собой эти ограничители, под воздействием которых объективно нереальное воспринималось как действительно достижимое? Это прежде всего утвердившийся образ политического действия с ориентацией на спрямленные результаты, и особая система мышления, в которой вера вставала над убеждением, и готовые умозрительные модели общественных отношений, под которые подгонялась живая практика.

Если говорить о мышлении эпохи в целом, но нетрудно заметить образность в восприятии существующего и будущего, характерное для времени 40 — 60-х годов (точно также, как и для предшествующих десятилетий). Причем, эта образность выступала не только как философское или художественное начало, но и как общая система организации и функционирования общественного сознания — как обыденного, так и теоретического. Поэтому в тот период мы имели дело, например, не с концепцией социализма, а с его образом, запечатленным в умах вождей и культивируемым в сознании масс. Этот образ, состоящий из набора символов, был статичен и практически неизменяем: государственная собственность, колхозы, гиганты индустрии — все это воспринималось как символы социализма, его "опознавательные знаки". Система социалистических общественных отношений, механизмы функционирования основных общественных структур оставались за рамками созданного образа. Стоит ли удивляться, что именно эти вопросы оказались наиболее непроясненными и в те ретических разработках, и в практических рекомендациях? Любые политические и хозяйственные решения, а также их последствия постоянно соотносились с действующей моделью, которую было принято называть социализмом. Вопросы совершенствования этой модели при необходимости ставились в повестку дня, но все изменения не должны были нарушать строй-

ности привычного образа. Поэтому то и дело возникали логические парадоксы, когда, например, товарно-денежные отношения получили право на жизнь (правда, с обязательной ссылкой, что они все равно вот-вот отомрут), а идея рынка в то время так и не дождалась своей полной реабилитации.

Первым прогрессивным шагом в направлении от образа существующего общества к созданию подобия концепции его развития можно считать отказ от символа врага и стратегии классовой борьбы как ее составляющих. Этот шаг был сделан, однако рецидивы старого мышления постоянно напоминали о себе — то попыткой выявления новых “плохих людей” (которые теперь назывались не “врагами”, а “ревизионистами”), то агрессивным неприятием неизбежных трудностей движения общества с наивным в своей категоричности требованием признать сами противоречия... “врагами народа”. Уже в самом этом требовании (кстати, позаимствованном из переписки тех лет) запечатлена еще одна характерная особенность мышления эпохи: неподготовленность к анализу кризисных ситуаций. Концепция “преимуществ социализма”, усиленно внедряемая в сознание людей долгие годы, рождала представления о дальнейшем — коли не стало “врагов” — движении советского общества как абсолютно бескризисном и почти инерционным, что-то в духе “от хорошего — к лучшему”. Ни “вожди”, ни “массы” не могли в силу этого воспринимать кризисные ситуации как естественную неизбежность, а значит, не могли на них адекватно реагировать, упреждая наиболее болезненные последствия кризисов. Ни лидеры, ни общество не были готовы к реформам упреждающего характера.

Подобная готовность предполагает достаточно высокий уровень развития разноплановых основ общественной жизни, которые в обобщенном виде можно выразить через понятие “культура реформаторства”. Именно культура реформаторства должна была прийти на смену революционному романтизму, а пафос штурма и натиска уступить место поступательной эволюции. Вектор подобных сдвигов наметился в 50 — 60-е годы, но потом произошла подмена понятий, а вместе с тем и подмена тенденций, когда эволюция постепенно перешла в стагнацию.

И последнее. Нереализованные в прошлом шансы, — увы, — не обходятся без потерь, самые грустные из которых — потери человеческие и потери в человечности. Может быть поэтому нынешняя реформация — несравнимая по глубине прорыва с ее предшественницей — пока еще не смогла достичь тех высот духовности, которые, несмотря на все оговорки, дала обществу “оттепель”. Или, скажем конкретнее, люди “оттепели”. Все-таки они шли в своих нравственных поисках от добра: от веры в идеалы (многие из которых были истинными) и от того потом затертого, а сейчас только

начавшего свое возрождение чувства патриотизма, которое для России всегда было связано не столько с желанием заклеить, сколько со способностью сострадать. Потому что негативизм необходим, но не созидателен. Наш собственный горький опыт подсказывает: на "разрушенном до основания" долгожданное "затем" превращается в ничто. Обществу нужно лечиться от ненависти. А для этого иногда возвращаться в свое прошлое, где были не только "упущенные шансы", но и истинные взлеты человеческого духа, на которых единственных может строиться эпоха Возрождения.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Конечно, каждый читатель вправе составить свое представление о прочитанной им книге, в данном конкретном случае первой, но надеюсь, не последней книге Е.Ю.Зубковой. И если я решился высказаться о ее содержании и тем, быть может, в известной мере повлиять на формирование читательского восприятия, то только потому, что книга эта — особенная. Она особенная, во-первых, уже в силу того, что разительно отличается от потока публицистических и научных работ, заангажированных на “разоблачение” истории советского общества, в том числе послевоенного периода. Понятно стремление публицистов и обществоведов раскрыть “черные пятна” нашей истории, показать масштабы сталинского террора, его тяжелейшие последствия для нашей страны. Но история советского народа — нравится это кому-либо или нет — не сводится только к этому, ибо были и созидательный труд миллионов, и великая Победа во второй мировой войне, и послевоенное восстановление, и многообещающие попытки реформ в 50 — 60-х гг., и подъем науки и культуры (а не распространение одной “образованщины”, как модно теперь писать). Новый стереотип “советский тоталитаризм” заслонил собой противоречивую, многогранную и полную драматизма реальную общественную жизнь страны. Другая часть публицистических и научных работ посвящена в основном отдельным деятелям советской эпохи и при всей нужности таких книг они не восполняют острого дефицита работ обобщающего, концептуального характера.

Книга Е.Ю.Зубковой как раз и является такой столь необходимой работой, причем посвящена она послевоенному, плохо изученному и, главное, плохо или односторонне осмысленному в нашей науке двадцатилетию. Автор права, отметив, что в частности, период 1945 — 1953 гг. — это “провал” в советской историографии. Значительно лучше обстоит дело с исследованием этого периода, не говоря уже о 1953 — 1964 гг., в зарубежном общественедении.

Во-вторых, книга написана молодым историком, представителем, так сказать, новейшего поколения ученых. На примере этой книги наглядно видно, почему и как каждое новое поколение людей по-своему стремится осмыслить отечественную историю и, бо-

лее того, заново написать те ее страницы, которые им в прежней трактовке не воспринимаются.

В-третьих, книга особенная еще и потому, что суждения автора — это плод ее собственных наблюдений и размышлений, свободных от конъюнктурных зигзагов и идеологической зашоренности. Привлекают логичность изложения, глубина и свежесть аналитического подхода, в особенности социально-психологического, неординарность выводов.

В общем перед нами серьезный научный труд. Без преувеличения молодой исследователь замахнулся на такие сюжеты, за которые ныне осмелится взяться далеко не каждый, даже многоопытный исследователь. Так, изучение менталитета советского общества и его отдельных слоев — едва ли не первое в нашей историографии. В книге без обиняков поставлен коренной вопрос не только исторический, но и практически-политический: почему так тяжело поддается реформированию российское общество? Прочитав книгу, видишь, что многие истоки и причины наших современных, в том числе, посткоммунистических, трудностей и проблем в области реформ восходят к тому двадцатилетию.

В большинстве своем мысли и идеи автора книги мне представляются верными. Но некоторые из них заслуживают повышенного внимания, и я счел своим долгом отметить их. Естественно, другие кажутся спорными, третьи нуждаются, на мой взгляд, в корректировке.

Бесспорно, что после великой Победы советское общество нуждалось в обновлении, а стремление к лучшей жизни, прежде всего в материально-бытовом отношении, было всеобщим. Но распространялись ли эти стремления на общественно-политическую систему? Мои представления как современника и как историка подсказывают мне, что Е.Ю.Зубкова права, утверждая, что массового стремления к радикальным общественным переменам в 1945 — 1946 гг. не было и не могло быть. “Верхи” считали, что война и победа показали жизнеспособность системы (И.Сталин постоянно подчеркивал это в своих выступлениях) и, следовательно, незачем было что-то в ней менять. Большинство народа также убедилось в прочности системы. Сомневались в этом, вероятно, лишь одиночки. Мне вспоминаются доверительные беседы с некоторыми профессорами Московского университета, из которых следовало, что даже долго критически относившиеся к Советской власти и социализму представители научной интеллигенции в результате победоносного исхода Великой Отечественной войны приняли их.

Победа резко и надолго ослабила возможность обновления политических и социальных структур общества. Но вот интереснейший вопрос, затронутый автором, — о степени дееспособности системы (речь шла о первом периоде войны) и решенный не в пользу по-

следней, за что пришлось заплатить миллионными жертвами и компенсировать духовным порывом народ. Я не хотел бы быть заподозренным в идеализации сталинизма, но, если стоять на почве фактов, то более правомерно говорить не только о жизнеспособности советской системы, но даже о ее высокой эффективности. Без этого никакие народные жертвы и усилия не помогли бы. Другое дело, что советская, сталинская система вышла из войны потрясенной и в ней были заложены очаги опасных внутренних противоречий. Вот почему деспотизм этой системы, незатронутой реформами, стала неуклонно снижаться уже при жизни Сталина.

Одни из лучших страниц в книге Е.Ю.Зубковой посвящены победителям — фронтовикам. Мне, пережившему только часть испытаний, выпавших на долю этого, по ее верному определению, “своеобразного нового социума”, приходится только удивляться, как верно воссозданы чувства, настроения, жизненные устремления и психология поколения победителей. Хотелось бы добавить к сказанному автором, что фронтовики были не только носителями “шалманной демократии”, но и принесли в общественную жизнь сильную демократическую струю. Сужу об этом по личным впечатлениям, о том всплеске демократии, который наблюдался, например, в партийной и общественной жизни Московского университета в 1945 — 1955 гг. Ожилась в первые послевоенные годы, по моим наблюдениям, благодаря фронтовикам, и деятельность сельских — колхозных и совхозных — парторганизаций. Нет необходимости умалчивать, что фронтовики принесли с собой в общественную жизнь и жесткость, и категоричность, и нетерпимость. Среди нас немало было фанатов-сталинистов.

Сталин — и это мое давнее убеждение — боялся фронтовиков и не только из-за опасения, что из их среды выйдут советские “декабристы” (“неодекабристы”, по Е.Ю.Зубковой). Он знал, что они представляли наиболее активную часть народа, способную к тому же к объединению по законам “фронтového братства”. Не случайно их вскоре после Победы перестали жаловать, немало фронтовиков оказалось за решеткой ГУЛАГа. Обращает на себя внимание, что Сталин, равно как и его преемники, не допустили фронтовиков в высшие эшелоны власти. Именно о вине “верхов” общественно-политический потенциал фронтовики не только не был реализован, но, по сути, задавлен господствующим режимом.

Более того, есть основания считать (так во всяком случае думали мои ближайшие друзья и я в те годы), что кампании против космополитизма, против преклонения перед иностранщиной и т.п. были предприняты Сталиным и его соратниками не столько с целью разжигания русского национализма и антисемитизма, но и эти цели, безусловно, имелись в виду, сколько для того, чтобы

не дать поколению фронтовиков правильно переварить, т.е. осмыслить опыт и уроки великой войны и тем нейтрализовать их устремления к переменам в стране.

Смысл рассмотренных в книге постановлений ЦК КПСС, говоря официальным языком того времени, по идеологическим вопросам, а также "творческих дискуссий" по философии, биологии, языкознанию и политэкономии социализма — последние две проходили, как известно, при личном участии Сталина, — состоял в том, чтобы, грубо говоря, промыть мозги советским людям, в особенности интеллигенции, фронтовикам и молодежи. Таков был сталинский ответ на духовное взросление советских людей, прошедших через горнило войны, на жажду перемен, охвативших страну после победы, на стремление лучшей части интеллигенции и молодежи к раскрепощению мысли и духа, в конечном счете на стремление народа жить лучше в условиях свободы и справедливости. Морально-идеологический террор, развязанный против интеллигенции, был и на этот раз в 1948 — 1952 гг. дополнен новым витком массовых репрессий против всех социальных слоев и групп общества. Вряд ли репрессии того времени носили превентивный характер, как полагает автор. Ведь, по ее же словам, серьезной оппозиции режиму в стране не существовало. Сталин и разбухший аппарат карательных органов просто не могли обходиться без массовых репрессий.

Особый интерес представляет проведенный в книге анализ эволюции общественной мысли, столкнувшейся в первые послевоенные годы с острым противоречием ожидаемого и действительного. Отсюда разочарование в действительности и политике властей, массовость настроений "обманутых надежд", первые проявления политического инакомыслия, начало понимания частью общества, прежде всего интеллигенцией и молодежью, антинародной сущности сталинского режима. Воспроизведя известные на сегодняшний день материалы молодежного движения протеста Е.Ю.Зубкова, по сути, наметила одно из самых перспективных направлений исторических исследований — движение Сопротивления сталинизму в 1948 — 1952 гг. и начальный этап формирования политической оппозиции режиму.

По части реформаторства от Сталина осталось скудное наследие. В области политической никаких нововведений проведено не было, хотя вождь ратовал за "восстановление демократических свобод"... на Западе. Денежная реформа 1947 г. лишь частично оздоровила экономическую жизнь страны, ибо не опиралась на прочную базу — подъем легкой промышленности и сельского хозяйства. Укрупнение колхозов, начатое в 1950 г., не принесло выгод крестьянству. Деревня по-прежнему подвергалась сверхэксплуатации и пришла к 1953 г. в полнейший упадок. Страна, хотя и была в состоянии по-

литической стабильности, задыхалась в тисках острейшего кризиса. Для выхода из него нужны были реформы "сверху".

Немало познавательного в главах (3-я и 4-я) о хрущевском десятилетии. С именем Н.С.Хрущева справедливо связан целый реформаторский период в истории нашей страны (1954 — 1964 гг.) Но переход к нему на первых порах был не прост не только в "верхах", но и в "низах". Общественная атмосфера формировалась под влиянием главной психологической установки тех дней: не надежды на перемены к лучшему, а опасения "как бы не было хуже". Нынешнему поколению молодежи эту ситуацию, вероятно, трудно понять, также как и то, что смерть Вождя вызвала шок. Но что было, то было... Радовались втихую лишь узники ГУЛАГа. Автор, на мой взгляд, удачно сьяснила причины этого, на первый взгляд, исторического парадокса: вместо вдоха облегчения по случаю смерти тирана — шок.

Послесталинистское руководство страны (его на первых порах формально возглавлял Г.М.Маленков — председатель Совнаркома) понимало и необходимость преобразований и их неотложность. Несмотря на завершение послевоенного восстановления, страна находилась в тяжелейшем положении. Разрыв между отраслями тяжелой (группа А) и легкой (группа Б) промышленности, между индустрией и сельским хозяйством возрос, грозя превратиться в пропасть. Сельское хозяйство переживало жесточайший кризис, деревня хирела, стране грозил новый голод. В городах острейший характер приобрела жилищная проблема. Жизненный уровень народа оставался низким. Политическая апатия масс, с одной стороны, и жесткий полицейский пресс — с другой, глушили любую инициативу. Народ перестал верить победным реляциям прессы. Советская демократия оставалась чистой формальностью. Миллионы людей томилась в застенках ГУЛАГа. Добавьте к этому некомпетентность управленческого аппарата, его громоздкость, произвол и злоупотребление чиновников. О международном положении страны достаточно сказать, что "холодная война" была в самом разгаре.

Между тем процесс роста политических сил, хотя и начавшись, но в 1950 — 1955 гг., по справедливой оценке автора, проходил вяло. Выход из тупика могли дать только реформы сверху, пробуждая активность народных масс и заручаясь, в случае успеха, их поддержкой.

Вынужденное вступить на путь реформ, руководство страны попыталось — впервые в истории советского периода — осуществить ряд социальных программ, переориентировав экономику на удовлетворение нужд людей, человека. Что из этого вышло, читатель узнал из книги. Мне бы хотелось в этой связи обратить внимание на роль сентябрьского (1953 г.) пленума ЦК КПСС и взятого им курса на развитие сельского хозяйства. Именно после

этого пленума по инициативе Н.С.Хрущева были повышены заготовительные цены на сельхозпродукцию, больше внимания стало уделяться укреплению села кадрами, снабжению его техникой, были облегчены налоговые тяготы для колхозников и т.п. Эти и другие крупные мероприятия, включая начало подъема целинных земель в 1954 г., ликвидацию МТС и передачу их техники колхозам, привели к положительным сдвигам в сельском хозяйстве. Заметно возросло производство зерна, особенно кукурузы, технических культур, мясомолочной продукции. Эти реформы, однако, оказались половинчатыми, а некоторые носили волюнтаристский характер (вроде массового преобразования колхозов в совхозы). В конечном счете они не привели к ожидаемым результатам, так как не затронули систему производственных отношений в сельском хозяйстве, а также порочную практику партийно-государственного руководства им. Забегая вперед, следует сказать, что в 1964 г., в год смещения Хрущева, сельское хозяйство опять оказалось в состоянии тяжелейшего кризиса: в 1964 г. пришлось закупать зерно за границей.

Как верно отмечает автор, главной политической и нравственной проблемой 50-х гг. была проблема преодоления сталинского наследия. К слову сказать, проблема эта не решена до сего дня. Медленная десталинизация началась еще до XX съезда КПСС, в 1953 — 1956 гг. Началась реабилитация репрессированных, менялся в сторону смягчения политический климат в стране. Он характеризовался началом перехода от "чрезвычайщины" к более или менее нормальной жизни. Думается, что определение в книге этого периода как перехода от гражданской войны к гражданскому миру менее точно.

Общественность задумалась над причинами и характером сталинизма, над путями его преодоления. Очень верно схватила автор основные направления поисков: одни увидели их в реформировании существующей системы с целью ее улучшения, другие стали на путь отторжения ее, заложив тем самым, основы будущего советского диссидентства.

После всего того, что сказано и пересказано и у нас и за границей о XX съезде КПСС подступиться к этой теме невероятно трудно. Надо было жить в то время, чтобы представить себе меру потрясения от разоблачений преступлений Сталина и одного перечня невинных жертв в "закрытом докладе" Хрущева на XX съезде партии. Тем не менее в книге живо воссозданы и это событие, и всенародный шок, вызванный докладом, и довольно разнообразная реакция на него разных слоев общества.

"В отличие от многих наших публицистов и обществоведов, охватывающих без разбора все и вся в истории КПСС и страны, Е.Ю.Зубкова, проявив гражданскую и творческую смелость, сумела

по-своему оценить, и главное, в значительной мере по-новому проанализировать предысторию, место и роль XX съезда в отечественной и мировой истории. Она не только не умаляет его значение, а, напротив, рассматривает как кульминационную точку в истории десталинизации, а его документы как первую серьезную попытку осмыслить и оценить суть пройденного этапа и извлечь из него уроки. Развенчание Сталина, несмотря на ограничители, поставленные самим Хрущевым и партийными идеологами (личностные особенности вождя), стало необратимым. Началась массовая реабилитация политических узников ГУЛАГА — жертв сталинских репрессий.

Что хотелось бы добавить к сказанному автором, да и в нашей литературе по этому вопросу? Нельзя недооценивать того, что органы госбезопасности утратили свою бесконтрольность, были поставлены в центре и на местах под партийный контроль, их аппарат (особенно в сельской местности) несколько сокращен, а былое всевластие ограничено. Но и эта реформа оказалась, как и следовало ожидать, половинчатой. Карательные органы остались вне контроля общества в лице его законодательных учреждений. (Правда, таковых, если говорить по существу, тогда и не было).

За кровавые злодеяния была наказана лишь горстка высших чинов — сподвижников палача Берия, а основная масса работников карательных органов, виновных в преступлениях против своего народа, отделались легким испугом, а то даже продолжали делать карьеру. Общественность того времени это хорошо знавала и поэтому, пожалуй, преждевременно считать, как это делает автор, что во 2-й половине 50-х гг. была разрушена система страха.

Ценными представляются наблюдения автора об общественных настроениях, о новом общественном подъеме, о зарождении общественного мнения, о формировании движения “шестидесятников”. Последняя тема, хотя и выполнена на локальном примере (факультета журналистики МГУ) отражает общие черты поколения “шестидесятников”. Оно, как показано в книге, мучительно пыталось доискаться до истины, выработать свою систему ценностей и стремилось из статистов истории стать ее деятелями. И только нынешние публицисты из числа экс-коммунистов и экс-комсомольцев, ревностно обслуживавших брежневский режим, теперь позволяют себе свысока третируют это поколение, без которого, наверно, не было бы дня сегодняшнего. А тогда на волне нового общественного подъема действительно рождались новые литература, живопись, театр, чего не скажешь об эпохе 2-й половины 80 — начала 90-х гг. Как ни горько сознавать, но автор права, что нынешняя реформация не достигла тех высот духовности.

Но главное достоинство книги в том, что в ней показаны возможности и пределы коммунистического реформаторства Хрущева

и, если угодно, его обреченности. Отталкиваясь от авторских суждений, обратим внимание читателя на главные моменты.

Первое. Для выработки программы реформ, а реформы нужны были коренные, структурные, а тем более для их успешного проведения необходим был объективный анализ прошлого, в первую голову глубинных причин феномена сталинизма (и руководители боялись этого понятия, не идя далее формулы "культ личности Сталина"). Ни Хрущев, ни другие руководители в силу своей аппаратной ментальности, логики коммунистического мышления, интеллектуального уровня не могли дать такого анализа и потому скользили по поверхности. Поэтому реформам суждено было выродиться в полуреформы, в утопические проекты и начинания, нередко в бюрократическое прожектерство.

Второе. У Хрущева в силу этого не было и не могло быть развернутой концепции реформ, предусматривающей как "набор" несложных мероприятий, так и их последовательность и, главное, механизм реализации. Неудивительно, что его реформы предстают как реакция на те или иные проявления кризисной ситуации или, если брать стратегические замыслы (например, о построении коммунизма в СССР до 1980 г.) как утопические по своей сути. Что касается механизма реформ, то он лишь в малой степени включал в себя развязывание народной инициативы, а в основе своей носил аппаратно-бюрократический характер. Отсюда же вытекала и неперемнная установка руководства на форсированное проведение любых преобразований — от посевов кукурузы по всей стране до перехода от министерско-ведомственной системы управления к регионально-совнархозовской. Форсаж со времен Сталина стал стилем государственного руководства. И в попытке приблизить "светлое будущее" его использовали Хрущев, в годы перестройки — М.С.Горбачев, а теперь Б.Н.Ельцин. Все это в совокупности заранее обрекало любые реформы на неудачу и не только из-за сопротивления консервативно-бюрократического аппарата, а просто потому, что как подтвердил опыт реформ М.С.Горбачева, а теперь подтверждает опыт Б.Н.Ельцина, наша бюрократия генетически неспособна на серьезные реформы.

Третье. Для успеха реформ нужны не только серьезность намерений и инициативность "верхов", но и готовность общества их поддержать. Во второй половине 50 — начала 60-х гг. общество находилось на эмоциональном подъеме, но в нем не было организованных и мощных политических сил, способных на самостоятельные действия в поддержку реформ, на конструктивную критику властей, т.е. на оппозицию. А отсутствие массовой социальной опоры для осуществления реформаторского курса, да еще при колеблющейся, противоречивой позиции "верхов" (центра, по автору) в конкретно-исторических условиях того времени

резко снижало шансы реформ на успех. Нечто подобное мы видели во времена реформ Горбачева, и нельзя сказать, что реформы Ельцина имеют под собой массовую социальную опору.

Четвертое и последнее. В любых реформаторских преобразованиях первостепенное значение, и это справедливо подчеркивает автор, имеет "фактор времени", т.е. правильный выбор момента для проведения реформ, учитывающий совпадение интересов "верхов" и общества. Наши "верхи", начиная со Сталина и при Хрущеве, не проявили умения его угадывать и использовать. Вероятно, именно из-за невосприимчивости" верхами "фактора времени" для проведения назревших преобразований общественные противоречия и проблемы в СССР десятилетиями своевременно не разрешались, а, напротив, накапливались и затягивались в тугой узел. Так создается та "невосприимчивость" России к реформам как таковым, к пониманию природы которой приближает читателя книга Е.Ю.Зубковой.

Рассмотренные в книге реформы Хрущева, а их следовало бы разделить на два периода — 1953 — 1957 гг., когда они проводились "коллективным руководством", и 1958 — 1964 гг., когда он стал единоличным лидером партии и руководителем правительства, — несут на себе печать переплетения реального и утопическо-бюрократического, а также ограниченности.

Так, прокламируемая демократизация советского общества свелась к некоторой временной либерализации режима. Возросшую политическую активность масс он попытался направить в привычное производственное русло. А когда недовольство масс ухудшением благосостояния из-за повышения цен на мясопродукты в 1962 г. прорвалось стихийным выступлением рабочих Новочеркасска, режим ответил на них в духе "лучших" сталинских традиций кровавой расправой.

Идеократический характер режима, сохранившийся и при Хрущеве, привел к острому конфликту между частью творческой интеллигенции и руководством партии в области идеологии. Он, испугав последнее, а в особенности чиновников партийного аппарата, также не способствовал успеху реформ.

Восполняя авторский пробел, отмечу, что коренным пороком всех преобразований в области экономики было лиловое сдерживание, а то и подавление развития рыночных отношений в 50 — 60-е гг. За такой курс мы расплатились сполна: несмотря на достижения в космосе, страна была обречена на возрастающее отставание от развитых капиталистических стран.

Если реформы первого периода правления Хрущева, прежде всего начавшаяся десталинизация политической жизни общества, восстановления "социалистической законности", а также аграрные реформы имели положительное значение, то этого при всем же-

лании нельзя сказать о его реформаторской деятельности второго периода. О ее плачевных результатах в области сельского хозяйства было упомянуто выше. Апогеем утопизма было внесение во вторую программу партии как якобы реально достижимой цели построение коммунизма в ближайшие 20 лет. Как современник могу засвидетельствовать, что мало кто принимал всерьез это обещание. А вершиной волюнтаристско-бюрократического творчества было разделение партийных и советских органов на местах по производственному принципу — на промышленные и сельские. Став объектом многочисленных анекдотов (тоже примета времени), оно показало, что у реформатора иссяк потенциал конструктивных идей. Сопротивление же партийно-государственного аппарата политике своего лидера нарастало день ото дня.

Жаль, что Е.Ю.Зубкова не дописала биографии Хрущева последних месяцев его руководства. Преданный соратниками, ненавидимый аппаратом, с народом, повернувшимся к нему спиной, он запутался в тенетах создаваемого собственного культа личности и бессилия.

Такова поучительная судьба первого послесталинского реформатора в нашей стране, как она воссоздана на страницах книги.

Знаю, что немало читателей обычно не читают авторского заключения или бегло его просматривают. В данном случае читатель ошибется. Заключение написано очень сильно, на одном дыхании, а главное, содержит четкие теоретические выводы, побуждающие к новым размышлениям.

Но книга Е.Ю.Зубковой не только анализирует прошлое, в ней история звучит как предупреждение. Хотелось бы, чтобы с этой талантливой книгой познакомилось как можно больше читателей.

Академик П.В.Волобуев

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА I. 1945—1947: надежды	16
1. Война как социально-психологический феномен	16
2. Победа и победители	25
3. "Как жить после войны?": противоречия ожидаемого и реального	33
4. Денежная реформа 1947 года: взгляд "сверху" и "снизу"	45
5. Политика "жесткой руки": возможности трансформации	51
ГЛАВА II. 1948 — 1952: репрессии	63
1. "Дальше невозможно терпеть": социально-психологический перелом, 1947 — 1948, гг.	63
2. Молодежное движение: попытки формирования оппозиции	69
3. Механизмы организации борьбы с инакомыслием (на примере дискуссий конца 40 — начала 50-х годов)	77
4. "Кто виноват?" или "Что мешает?": эволюция массового сознания и общественной мысли	89
ГЛАВА III. 1953 — 1956: оттепель	103
1. Ситуация "без Сталина" и изменение общественной атмосферы	103
2. Социально-психологические проблемы реабилитации	115
3. Поворот к человеку: путь "сверху" и "снизу"	120
4. Решения о "культе личности" и их влияние на общество	127
5. Генезис движения "шестидесятников": опыт микроуровневого анализа (на примере факультета журналистики МГУ)	137
ГЛАВА IV. 1957 — 1964: колебания	147
1. Общественное мнение и "венгерский синдром"	147
2. Космос и коммунизм: некоторые особенности мышления современников	157
3. Начало 60-х: общественное мнение и политика центра	167
Заключение	182
Послесловие	189

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА ЗУБКОВА

ОБЩЕСТВО И РЕФОРМЫ 1945—1954

Художник *А. Иванов*
Технический редактор *О. Крайнова*
Корректор *М. Джалишвили*

Подписано в печать с оригинала-макета 01.10.93. Формат 60x84 1/16.
Бумага офс. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,6.
Усл. кр.-отт. 11,97. Уч.-изд. л. 12,0. Тираж 1 000 экз.
С 11 Заказ

Издательский центр "Россия молодая".
129344, Москва, ул. Радужная, 13.

Типография комитета торговли РФ
103084, Москва, ул. Мясницкая, 47.

Типография КТРФ. Заказ 681 Тираж 1000

Издательский центр "Россия молодая"

и

Ассоциация исследователей российского общества XX века
представляют
серийное издание "Первая монография"
под редакцией Г. А. БОРДЮГОВА

Издание включает в себя оригинальные исследования ученых академических институтов и университетов России. Критерии отбора рукописей довольно свободны. Важнейшие из них: новые подходы, использование неизвестных архивных материалов, объективное освещение малоизученных проблем отечественной и мировой истории XIX—XX вв.

В 1993—1994 гг. в серии выйдут книги:

А. И. УШАКОВ. История гражданской войны в литературе русского зарубежья.

В. П. ФЕДЮК. Добровольческая армия: антибольшевистское движение на юге России в 1917—1920 гг.

А. М. РЫБАКОВ. Проблемы насилия и террора в Октябрьской революции и гражданской войне: левозсеровская альтернатива.

Ю. В. СОКОЛОВ. Красная звезда или крест? Жизнь и судьба генерала Брусилова.

А. В. КВАШОНКИН. Политическая элита советской России. Очерки по истории неформальных отношений. 1917—1940 гг.

С. В. ЦАКУНОВ. В ловушке доктрины. Судьба России в политических и экономических дискуссиях середины 20-х годов.

В. Ю. ВАСИЛЬЕВ. Народ и власть Украинское общество в 1927—1937 гг.

С. В. КУДРЯШОВ. Коллаборационизм в годы Великой Отечественной войны.

Д. Л. БАБИЧЕНКО. Несостоявшаяся оттепель. Литература 1940-х годов под контролем идеологической цензуры.

Вышедшие в серии "Первая монография" книги

А. Ю. ВАТЛИНА "Коминтерн: первые десять лет".

Е. Ю. ЗУБКОВОЙ "Общество и реформы. 1945—1964 гг."

Л. С. ГАТАГОВОЙ "Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XIX веке".

Э. ВИШНЕВСКИ "Либеральная оппозиция в России накануне первой мировой войны".

можно приобрести в читальных залах Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), на кафедрах истории Отечества гуманитарных факультетов МГУ и ИПиПК при МГУ.

Предварительные заказы, предложения по финансированию серии, проспекты предлагаемых к изданию научных работ направляйте по адресу: 129344, Москва, ул. Радужная, 13.

